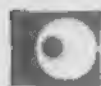


АНДРЕЙ БЕЛЫЙ  
МАСНИ



WILHELM FINK VERLAG

XBO  
Bug Ym

UNIVERSITY  
OF OTAGO  
LIBRARY

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ • МАСКИ

SLAVISCHE PROPYLÄEN  
TEXTE IN NEU- UND NACHDRUCKEN

Herausgegeben von Dmitrij Tschizewskij  
in Zusammenarbeit mit Dietrich Gerhardt,  
Ludolf Müller, Alfred Rammelmeyer  
und Linda Sadnik-Aitzetmüller

Андрей Белый  
МАСКИ

Andrej Belyj  
MASKEN

Nachdruck der Ausgabe  
Moskau 1932



# VORBEMERKUNG

Andrej Belyj glaubte offenbar, in seinem Roman die Vorgeschichte der Revolution von 1917 geboten zu haben. Dabei entfernt sich seine Darstellung der revolutionären Kreise ebenso weit von der Wirklichkeit wie bei Dostoevskij in den „Dämonen“ oder in anderen „antinihilistischen“ Romanen derselben Zeit. Das galt auch schon von manchen Seiten von Belyjs „Petersburg“, was freilich die dichterischen Qualitäten dieser Werke im ganzen nicht wesentlich beeinträchtigt.

DIE REDAKTION

UNIVERSITY OF OTAGO LIBRARY  
3 0020 09921639 4

70-3704  
UNIVERSITY  
OF OTAGO  
LIBRARY

© 1969 Wilhelm Fink Verlag, München  
Satz und Druck: Graphischer Betrieb Eder & Poehlmann, München  
Buchbindearbeiten: Verlagsbuchbinderei S. Wappes, München

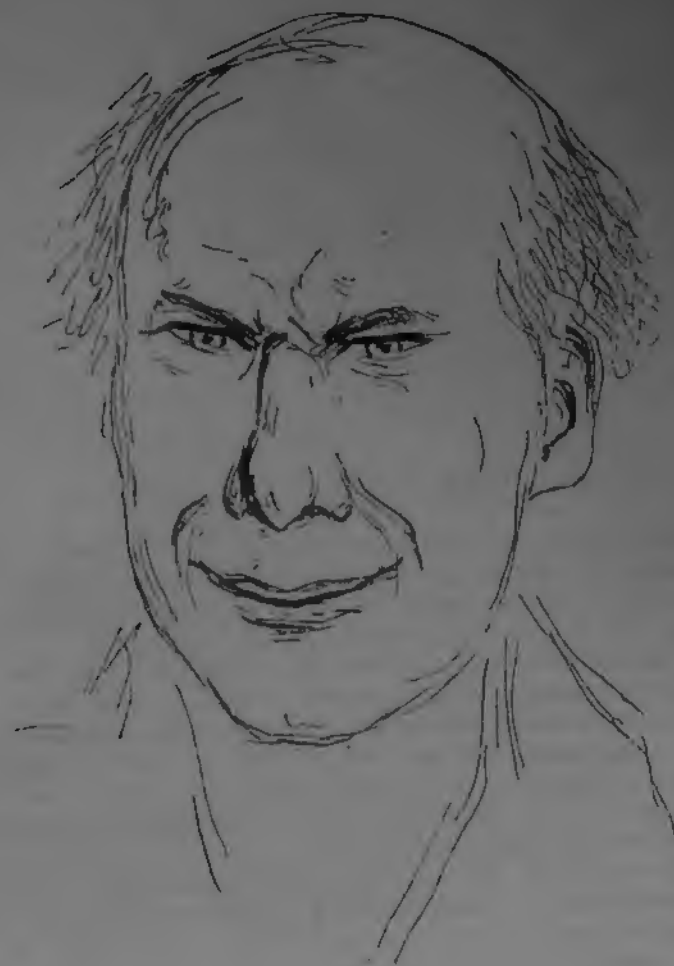
Андрей Белый

# МАСКИ



Рисунок Н. В. Кузнецова

ГИХЛ  
МОСКВА  
1932



Андрей Бельи

Портрет работы  
худ. В. А. Мичашевского

#### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Роман «Маски» есть второй том романа «Москва», обнимающего в задании автора 4 тома. Второй том рисует предреволюционное разложение русского общества (осень и зима 16-го года); третий том в намерении автора должен нарисовать эпоху революции и часть эпохи военного коммунизма; четвертый том обнимает эпоху конца нэпа и начала нового реконструктивного периода; таково намерение автора, который должен оговориться: намерение—не исполнение; тот, кто намеревается, мыслит механически, рассудочно, количественно; процесс написания, т. е. процесс обрастания намерения, как абстрактной конструкции, образами есть выявление тех новых качественностей, в которых количественное мышление, так сказать, заново вываривается; мышление образами—качественно; мышление в понятиях—количественно. Художественное произведение есть синтез обоих родов мышления: и как всякий конкретный синтез, оно является порой сюрпризом для автора.

Таким сюрпризом явился для меня второй том романа «Москва», долженствовавший включить февральскую и октябрьскую революции. Но в процессе организации текста тема разрасталась; и подход к революции автора усложнил значительно для него ту художественную платформу, с которой он хотел показать своих героев в революции; сюжет разросся; и часть второго тома неожиданно

выросла в том; действующие лица, которых истинный характер развертывается лишь в революции, остались в судьбах метаморфозы сюжета второго тома,—в подпольи; они показаны сознательно в задержки, в полумолчании; они заговорят лишь в третьем томе; такая фигура Тителева; лишь в третьем томе определится роль и других действующих лиц в революции: братьев Коробкиных, Се- рафимы, Лизыши; во втором томе они даны в самопротиворечии; особенно это имеет место относительно профессора Коробкина, который показан, как антипеза первого тома, т. е. как отрицаю- щий свою прежнюю жизнь и как еще не осознавший своего места в событиях, которые властью его вырывают из той среды, в которой он жил.

В третьем и четвертом томах автор надеется показать своих героев в синтезе того диалектического процесса, который протекает в душе каждого: по-своему; второй том—антипеза: как тако- вой, он есть сознательно заостряемый автором вопрос: как жить в таком мире? «Быть или не быть» (бытие, небытие), созна- тельный гамлетизм, размышление над черепом уже сгнившей дей- ствительности, морочащей, что жива, есть планомерное заключение второго тома; он—диалог без триады: поэтому-то второй том— «Маски»; революция уже рвет их с замаскированных; личности, в первом томе показанные в своем самостном эгоизме, уже—лично- сти-личины. Второй том сознательно кончается фразой: «Читатель— пока: продолжение следует». Диалог воли триады; антипеза вос- ходит к синтезу.

Что касается до сюжетного содержания, то оно является пси- хологически продолжением первого тома в постоянном повёрте ви- зания на события первого тома и в новом освещении их (в показе по-новому); но автор старался писать так, чтобы для читателей второго тома «Москвы» роман «Маски» был самостоятелен; те из читателей, которые не прочли первого тома, в процессе чтения постепенно знакомятся с его содержанием, подобно тому, как герои ибсеновских драм постепенно в диалоге вводят зрителя в событие, бывшее до начала драмы; некоторая сюжетная незнкость первых глав (для не читавших первого тома) не препятствует чтению второго тома, ибо она введена как интрига, сознательно задерживающая внимание, чтобы удовлетворить любопытство; пусть не знают о случае с профессором (первый том); остается интри- гующее: «Что это значит?» Недоумение проявляется; пусть интри- гуют псевдонимы (Домарден, Тителевы); маски слетают с них. На- помню, что такой прием закономерен; напомним, что весь роман

Диккенса «Наш взаимный друг» построен на любопытстве, выра- стающем из недоумения.

Все же в двух словах восстанавливаю здесь содержание первого тома, фабула которого весьма проста.

Рассеянный чудак-профессор наталкивается на открытие огром- ной важности, лежащее в той сфере математики, которая соприка- сается со сферой теоретической механики; из априорных выводов вытекает абстрактное пока что предположение, что открытие при- меняемо к технике и, в частности, к военному делу, открывая воз- можность действия лучам такой разрушительной силы, перед кото- рыми не устоит никакая сила; разумеется, об этом пронюхали военные агенты «великих» держав; действуя через авантюриста Мандро, своего рода маркиза де-Сада и Калиостро XX-го века, они окружают профессора шпионажем; Мандро плетет тощую паутину вокруг профессора, который замечает слежку, не зная ее подлинных корней; и проникается смутным ужасом, что патриархальные устои быта, вне которого он не мыслит себя,—не защищают его, и что стены его кабинета—дают течь.

Между тем Мандро, пойманный с поличным как немецкий шпи- он и как развратник, изнасиловавший собственную дочь, Лизашу, вынужден скрыться; припертый к стене, он решается на крайнее средство: силой вырвать у профессора все бумаги, относящиеся к открытию, чтобы их продать куда следует (в этом залог его ненаказуемости); загримированный, он проникает в пустую квар- тирку профессора, в которой профессор, приехавший с дачи, почует один; последний отказывается выдать бумаги, и с абстрактным до- кихотизмом пытается силой своих убеждений бороться с физической силой Мандро, которому ничего не остается, как... прибегнуть к попытке профессора, во время которой он в умонаслаблении, почти в безумии, выжигает профессору глаз; но пытаемый выказывает силу воли; он сходит с ума во время пыток, но бумаг, зашитых в жилете, не выдает.

Мандро случайно пойман на месте преступления; он не бежит, как потерявший сознание; его увозят в тюремную больницу, где он и умирает—де не опознанный; профессора везут в сумасшедший дом. Вот основная линия очень простого сюжета.

У профессора есть друг, Николай Николаевич Киерко, тайный революционер, действующий в подпольи и мимикрирующий лукавого шутника, шахматиста, бездельника; Киерко видит драму профессора и понимает, что истинная почва драмы—не аферист Мандро, а весь строй; он случайно узнает об ужасной драме, пережитой дочерью

Мандро, Лизашей, после того, как Мандро использовал ее дочернюю любовь для того, чтобы ее обесчестить; в Лизаше среди хаоса болезненных, чисто декадентских переживаний есть и нечто, роднящее ее с утопиями о социалистическом городе Солнца; приняв участие в несчастии Лизаши, Кьерко дружески с ней сближается и старается выпрямить в ней до марксизма ее утопические представления.

Вот все, что нужно знать читателю романа «Маски», чтобы интрига второго тома была понятна без первого; пожалуй, следует ему знать об отношении между профессором и женой, Василисой Сергеевной, фразеркой, имеющей старинный роман с гимназическим товарищем профессора, фразером, академиком Задопьятовым; жена Задопьятова, узнав об измене мужа, устраивает профессорше скандал, во время которого ее постигает апоплексический удар; и фразер Задопьятов, движимый раскаяньем, старается искупить своего вину, ухаживая за больной женой. Профессор знает о связи жены; и—равнодушен к ней, как равнодушен он к дому, равнодушен к обществу, равнодушен к его сыну; он любит лишь дочь, Наденьку: хрупкое, хилое, милое создание.

Повторяю: суть не в овладении всеми этими деталями фабулы первого тома «Москвы», а в ретроспективном взгляде на первый том из второго; для этого взгляда достаточно усвоить воспроизводимую мною здесь схему фабулы; она восстанавливается в ходе второго тома.

Предлагая вниманию читателей второй том «Москвы» под заглавием «Маски», я должен в двух словах показать свой художественный паспорт, т. е. поставить читателей в известность относительно того, чего я добился, как эффекта (добился, или не добился,—другой вопрос). Каждая картина имеет свой фокус: одни картины пишутся для взгляда с близкого расстояния; другие—предполагают дистанцию.

Когда добиваешься новых средств выражения, надо сказать об этом читателю, чтобы не получилась картина всей истории русской литературы, а именно: великого ученого Ломоносова, предварившего открытие закона постоянства материи, твердого азота в небесном куполе и т. д., оплевывает пошляк Сумароков, как непонятного, бессмыслицы пишущего поэта; он-де пишет для звукового грохота, а не для мысли (воображаю мину мыслителя-ученого при таком наскоке «пошлячка»); Пушкина, создающего в 35—36-х годах прошлого века лучшие произведения,—не читают, предпочитая

ему зализанную пошлость Бенедиктовых и Кукольников; далее: попеременно оплевывают «современники»—Лермонтова; Гоголя Толстой-американец предлагает сослать в Сибирь; и Гоголь с ревом почти бежит за границу от современных ему изъяснителей его; далее: проплевываются—Достоевский, Гончаров; замалчивается Лесков; плевать продолжается весь XIX век,—вплоть до оплевания Брюсова, Блока (в 1900—1910 годах), гогота над Маяковским (1912 г.) и т. д.

Не все рождены быть популяризаторами завоеваний в сфере техники слова; напомним: всегда достается тем, кто в процессе написания романа открывает при романе еще лаборатории, в которых устраиваются опыты с растиранием красок, наложением теней и т. д.

Из этого вовсе не следует, что я себя мною открывателем путей; я, может быть, жалкий Вагнер, фанатик, праздно исчисляющий квадратуру круга; не мне знать, добился ли я новых красок; и, извините пожалуйста,—и не Булгарину XX века, при мне пребывающему, дано это знать; лишь будущее рассудит нас (меня и поплевающих на мой «стиль», мою технику); допускаю, что я всего-навсего лишь... Тредьяковский, а не Ломоносов; но и Тредьяковские в своих лабораторных опытах нужны; самодельные приборы, весьма неуклюжие, предваряют усовершенствованные приборы будущего. Моя вина в том, что я не иду покупать себе готового прибора слов, а готовлю свой, пусть челепый.

Я могу показаться необычным; необычность—не оторванность; необычное сегодня может завтра войти в обиход, как не только понятное, но и как удобное для использования.

Импрессионисты были непонятны до момента, пока кто-то не подсказал: вот как их нужно смотреть; с этого момента—вдруг: непонятные стали понятны; Ломоносов Сумарокову (как и иному из сегодняшних критиков) непонятен без внятного, краткого урока о том, что звуковой жест вот в каком смысле играет роль в культуре художественного слова; теперь всякому понятен термин Шкловского «остраннение»; но применять сознательно принцип «остраннения» (в учении о «далековатости» в выборе сравнений) начал Ломоносов за более чем 150 лет до Шкловского; непонятый в XVIII веке, он ясен—в XX-ом.

Все это—вот к чему: я пишу не для чтения глазами, а для читателя, внутренне произносящего мой текст; и поэтому я сознательно насыщаю смысловую абстракцию не только красками, гамму



которых изучаю при описании любого шитожного предмета, но и звуками до того, например, что звуковой мотив фамилии Мандро, себя повторяя в «др», становится одной из главнейших аллитераций всего романа, т. е.: я, как Ломоносов, культивирую—риторику, звук, интонацию, жест; я автор не «пописывающий», а рассказывающий напевно, жестикულიчно; я сознательно навязываю голос свой всеми средствами: звуком слов и расстановкой частей фразы.

Периодическая речь—речь для произнесения; она распадается на своего рода строчки, прерываемые паузами, после которых—голосовой подчерк; произнося, я могу и подчеркнуть союз «и», и слизнуть его; я могу скороговоркой оттенить побочность длинной части фразы, как обертона, ассоциации; и могу выделить два слова, если в них—смысловой удар; не одну и то же: «х о р р ђ а я... югода»; и—«хорошая пог ђ да».

Из чисто интонационных соображений там, где мне нужно, моя фраза разорвана так, что придаточное предложение, оторванное от главного, вылетает на середину строки.

Когда я пишу: «И—брень-брень»—отзывались стаканы, то это значит, что звукоподражание «бре нь-бре нь»—случайная ассоциация авторского языка.

Когда ж я пишу:

«И —

— «бре нь-бре нь» —

— отзывались стаканы...» —

— это значит,

что звукоподражание как-то по-особенному задевает того, кто мыслит его; это значит,—автор произносит: «ии» (полное смысла, обращающее внимание «и»), пауза; и «бре нь-бре нь», как западающий в сознание звук.

Кто не считается со звуком моих фраз и с интонационной расстановкой, а летит с молниеносной быстротой по строке, тому весь живой рассказ автора (из уха в ухо)—досадная помеха, претяжение, которое создает непонятность; непонятность—не оттого, что непонятен автор, а оттого, что очки, т. е. специальный прибор для ношения на носу, не ведающий о назначении читатель (как читатель Ломоносова Сумароков) начинает нюхать, а не носить на носу.

Мую прозу надо носить «на носу», а не обнюхивать ее по-сумароковски; и тогда она понятна, как понятна нам песня (для жителя Марса, быть может, «песня»—наидичайшая бессмыслица).

Моя проза совсем не проза; она—поэма в стихах (аианест); она напечатана прозой лишь для экономии места; мои строчки прозы слагались мной на прогулках, в лесах, а не записывались за письменным столом; «Маски»—очень большая эпическая поэма, написанная прозой для экономии бумаги. Я—поэт, поэмник, а не беллетрист; читайте меня осмысленно; ведь и стихи в бессмысленной скандировке—чепуха; например: «Дух ђ риц ђ ня, дух ђ мн ђ ня»; вместо: «Дух отриц ђ ня, дух сомн ђ ня».

Любое место «прозы» я слышу в строчках; например:

Бывало—смеркнется:

Тени запрыгают черными кошками;

Черною скромницей

Из-за угла

Обнажает Леонюшка глаз панпрюшки.

И т. д.

«Маски»—огромная по размеру эпическая поэма, написанная экономии ради прозаической расстановкой слов с выделением лишь в строчках главных пауз и главных интонационных ударений.

В-третьих: я очень много работаю над жестом героев; жесты даны пантомимически, т. е. сознательно утрированы, как бываюти утрированы, когда сопровождаются музыкой; главное содержание душевной жизни героев дано не в словах, а в жесте, как и в действительности; в действительности интонация, мина, жест важнее слов; я старался, где можно, стереть литературщину с литературного изложения: в целях реализма. Наконец: право автора раскрывать душевное содержание героев предметами их быта; оговариваюсь: цвета обоей, платья, краски закатов,—все это не случайные отступления от смысловой тенденции у меня, а—музыкальные лейтмотивы, кропотливо измеренные и взвешенные. Кто не примет этого во внимание, тот в самом смысле не увидит смысла, ибо я стараюсь и смысл сделать звуковым и красочным, чтобы наоборот звук и краска стали красноречивы.

Кроме того: считаю нужным сказать два слова о сознательно введенных словечках; мне говорят: «Так не говорят». И я согласен, например, что крестьяне не говорят, как мои крестьяне; но это потому, что я сознательно насыщаю их речь, даю квинтэссенцию речи; не говорят в целом, но все элементы народного языка существуют, не выдуманы, а взяты из поговорок, побасенок.

Мое право типизировать, отбирать слова по линии максимального насыщения: «ядренный», «пересыщенный» язык мне тем более нужен в иных сценах, что «Маски»—драматичны по содержанию;

а драматические моменты нуждаются в темперировании их парочкой грубою солью народного языка: это — прием, мною взятый у Шекспира (Лир и шут, Гамлет и могильщики и т. д.).

В завершение скажу, что, пишучи «Маски», я учился: словесной орнаментике у Гоголя; ритму у Ницше; драматическим приемам — у Шекспира; жесту — у пантомимы; музыка, которую слушал внутреннее ухо, — Шуман; правде же я учился у натуры моих впечатлений от Москвы 1916 года, поразившей меня картиной развала, пляской над бездной, когда я вернулся из-за границы после 4-летнего отсутствия.

Считаю все это нужным сказать, чтобы читатель читал меня, став в слуховом фокусе; если он ему чужд, пусть закроет книгу: очки для глаз, а не для носа; табак для носа, а не для глаз. Всякое намерение имеет свои средства.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Кучино. 2 июня 1930 года.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

## БРАТ НИКАНОР

### ОСОБНЯК, БЫВШИЙ ХАППИХ-ИППАХЕНА

Кознев Третий с заборами ломится из Гартагалова к Хаппих-Иппахена особняку (куплен Элеонорой Леоновной Тителевой); остановился: вот дрянцеватая старь!

И Солярник-Старчак с Неперепревым думали, что покупалось пространство двора, а не дом: для постройки.

Репейник, да куст, да лысастое место — большой буерачащий двор, обнесенный заборами от Гартагалова, Кознева, Фелефокова и Слюнкишенского переулков, которые вместе с Жебриным и Дриковым — головоломка сплошных загогулин, куда скребачи-скропидомы, семейные люди, за скарбами сели, где улицы нет никакой, и в тупик выпирает перинами толстое собство.

Задергаешь здесь, — чортов с двадцать; и пот оботрешь двадцать раз, как теленок, Макарами загнанный в Козневу, сказать можно, спираль.

От нее — тупички, точно лапочки сороконожки. Заборчики, криши; подпрыгивает протуварик; скаряясь, пройдешь — кое-как; коли прямо пойдешь, — разлетятся берцовые кости; и будет разбитие носа о дом Неперепрева: красный фундамент на улицу вышел.

Другие дома не доперли; лишь крыши кривые крыжовниковых красноржавых цветов, в глубине тупиков поваляся, трухлеют под прины «сам» с пятипалой рукою и с блюдечком чайным, из окон своих рассуждают.

Напротив заборчик, глухой, ослабляясь ржавыми зубьями; сурик, листья сметает; подумашь—сад.

Здесь когда-то стояла и кадка-дождейка; и, куст подрезной был; латук, лакфиоль разводили; цвела центифолія; ныне же тополь рябою листвою шумит да склоняется липа прощепом—сучьистое, мшистое и заструпелое дерево; коли кору оторвешь,—запах прелн; скамеечка: «Хаппих-Иппахен, Ипат»—на ней вырезно.

Домик, —

— весь в отколуплинах, ржавооранжевый, одноэтажный, с известкой обтресканной, с выхвatom, красный кирпич обнажающим, —

— нет, неказист этот дом, шегольнувший бы кремовобледным веночком фронтона, кабы не огадила птица его; с журавлем, без синиц, — негoзмoжнoе дело ремонт! Неперепрев тебе отслонявит синиц этих, синих, а Тителев—и не семьяк, и не скарбник: на книге без денег сидит, а какая-нибудь неприметная личность стоит под воротами, ждет, чтобы дворник, Акакий Икавшев, пошел на звонок.

Бледнокремовый, очень высокий фундамент с нестертою рожей. Ипатом примазанной; надпись подтерли бы; видно, соседи-то—зубры: Психопержицкая, домовладелица; с ней—Гнидоелов, Егор.

Вышел дом в полтора этажа: с причердачным окном; крыша, серозеленого выцвета, ржавая, как кружевная,—труха; а синь дымная гонит свое перегорелое облако на эту крышу: под ропотень капелек. Так же оранжевы: дворницкая, помещенье конюшенное средь бурьянов, уже деревянных (у Хаппих-Иппахена и у Зербадной лошади были; у этого—нет лошадей); крытый дерном ледник—при сарае для дряни с приваленной тачкой, гнильцом, с корневищем: торчит в буераке.

А далее—флигель оранжевый, сдаденный Хаппих-Иппахенами Щелдачку, Родиону Ионычу, за Таганрог уезжавшему и привозившему груши да дули,—замокный; и рябь расколуплин, как сып.

Дальше—встало лысастое место, откуда неслись сухоплясы пылей и откуда смотрели за город: на притопод, как перехвачен он балками, как, еле видная, искреню светит река; тут и скат буерачный, с ростени кустиков, вплоть до забора.

А наискось —

дом Непососько —

— торчит с Фелефокова.

Если же дальше идти, будет сверт и расперстный заборчик, с подпором: крылечко—с пошатом, в репьях, выходящее в дворик, где бревна, расколычатые, крепко рублены: в угол и в лапу; плеснеет фундамент; с протрухой стена, где—протек на кофейной, оржавленной крыше; рудеет под нею земля; и—веревка: на ней—платок репсовое.

Еще дальше—еще тебе будет заборчик, себя повторяющий желтым столбом (через десять жердей), с начертанием, углем приписанным: «Голубоглазова Лидия—не Листолалова, Лиза»; беданно еще доцветали подсолнухи желтые там с георгиною синею; кладка березовых и белорозовых, еще не сложенных дров, где молочного цвета коза забодалась с щенятами и где свинья походила на мулу. Колодезек, но без воды, ехал набок года, припавшая вышкою, как часовой, задремавший с ружьем и обнюхавший кошкой.

Из-за заборика приподнималась порой голова, чтобы бросить: в пространство соседского домика:

— «Я те кулак-то приляпаю к морде; дугой согну спину; заставлю копать носом хрен: да еще—пришью к пятке нос; да еще—взбочь: вперевёрт, коловёртом».

И—пряталась.

И—наступало молчание.

И—голова, уж другая, в ответ подымалась:

— «Пой, пустослов,—пой; кусаются и комары: до поры!.. Сам бью больно!»

И—пряталась.

Это Егор Гнидоелов, хозяин, с жилищами соседнего дома беседовал.

По вечерам здесь под лепет деревьев какое-то — «пл-пл-пл» — вцеплено в ухо, как тление, —

— как оплевание,

как оскорбление, —

— и как

удары дубины по пыли!

И ветер,—как вырыв песков сизосных.

Какое здесь все—деревянное, дрянное, пересерелое и перепрелое: перераздряпану и расшарапану; серые смеси навесов всех



колеров,—перепелных и пепельных,—лялятся в пыли и валяются в плевелы, как перепонцы, —

— сизые, сизые,

вшивые, —

— валяются —

— в дизентерии и  
тифы!

И—дом: цвета перца; и—дом: цвета персика; пепельны плевелы; клейкого берега красные глины; заречные песни; и истречные вострепы ветра.

И домик Клеоклева —

— в пепельных плевелах, пепельно вlep-  
ленный в пепельном воздухе!

## ТИТЕЛЕВ

— «Тителев, Тителев!» — у Никанора Ивановича вырвется — «Этого не то, что другие: он — вывод загнег».

Его комната—строгая очень: здесь дерево—дикого цвета; сук-  
но—сизосерое: кресла, стола; на нем дикие, пятнами, папки; такого  
же дикого, сизого цвета процветы обой; задержанный, карий ковер  
темносиними каймами пол закрывает; и книжные полки; и—штор-  
ная штопань; колпак ремингтона; с пружиною сломанной, кожаный,  
старый диван; под него туфли втоптаны.

Наисветлейшее, передвигающееся пятно в дикосизом своем ка-  
бинетике,—Тителев.

С голубоватым отливом короткая курточка-спенсер, с изюсами:  
в зелень и в желчь; брюки—дымного цвета, а галстук, носки и  
подтяжки с блестящими пряжками—сиверко сини; малиновый, яр-  
кий жилет.

Тюбетейка, в которую лысину прячет, — зеленая, с зологом  
Желтая, жесткая очень его борода, как лопата; недавно ее  
отпустил; лицо с правильным носом, с глазами, стреляющими из  
прищура, когда просекаемый черной морщиною лоб передрогами  
держится; юркие юморы из-за ресницы; но и криво поджатом, сухом  
очень редко растопнутом, скрытом усищами рта, — оскорбленная го-  
речь.

Все то выявляло в Терентии Титовиче человека загадочного

Он, бывало, взяв трубку из желтых усов,—на окно: в буера-  
чищи:

« — «Душемутительно это: смотрите...»

— «В глаза не глядят: износились; мешаю материи щупают».

— «Как им иначе, юли подтиральная тряпка—не юбка; шта-  
нина—дранина; как зеркало, локоть».

— «И задница даже зеркальная: вся!»

Перелуплен карниз; мостовая—колдобина; в воздухе—много-  
этажные браны; двор—дребездень; пригород же—гниловище; в из-  
рощах поле; фронт—фронда.

Россия!

И жители Дрикова, или Жебрового уж не глядели друг другу  
в глаза.

— «Зато фортику в Европу открыли в редакции «Русские  
Ведомости»: это все — для Европы-де, в пику Атилле и гуниам;  
зеркальная задница—против немецких манишек!»

Взглянув на Терентия Титовича, становилось понятным, что—  
штука, что птицу в лет бьет:

— «Приусиливать надо себя!»

Укрывает усищами сталь, а не рот; но пускает, как блошек,  
свои фигли-мигли; и делает вид, что—калина-малина.

При этом он скрыть не старается вовсе, что эта малина есть  
мигля, а вовсе не корень:

— «Эге!»

— «Ну-те!»

— «Вылечи!»

— «Тут—операция. и—тяжелейшая..»

Видно готовился он оперировать что-то, без речи над всей  
безмозглянной перетирав сухие ладошки: до остервенения.

Раз с инвалидом, на дворике он рассуждал:

— «Лошадина! Поди,—десять немцев убил своим видом; а вы-  
шел глазами в оленя.. Обратво Варшаву возымеешь?»

— «Из Москвы-то легко брать Аршаву; вот нам было близко,  
да—скизюко; да—ух!»

— «Ты, послушай,—не ухай, а пушкой бухай!»

На что инвалид (глаза—ланьи, а с пуд—кулаковина):

— «Чортову куклу, Распутиня, мы—улакаем!»

Тителев:

— «В плеточки плетъ расплетаете: обуха ими не сломите; обух  
на обух; таран на таран».

И уж песенка слышалась:

«Дилим-буллит пулемет:  
Корпус на Москву идет».

Все, бывало, сидит; тарарыкает громко диванной пружинкою, прилокотнувшись к столу.

Что-то вымыслив, выскочит.

Чем промышляет?

Скорее откусишь язык и скорей тебе нос оторвет, как от красного перца, чем промышлет этот поймешь; доживает достаток, ухлопанный в розвалье,—не в дом; в кошеле—не ремонт; там накукулись кукиши; пляшет язык трепаком приговорочным; фертиком руки; словами, как пулей, садит: убивает—без промаха: экономический, шахматный, или логический это вопрос; а Карл Маркс, Вернер Зомбарт со Штамплером, с Мерингом (четыре тома)—томищами пыжаты с полок.

И сам Фейербах, уже листанный,—там.

Подменяет дебатами книжными он материальный вопрос о домовом ремонте, о том, сколько он ассигнаций тебе отслюнявит.

## КОРОБКИН

Бывало сухие ладошки свои перетрет:

— «Этот культ ощущения под вывеской опыта,—мистика».

И бородою нестриженой—под потолок, где журавль, паутина, повешен; карман—без синиц.

Никанор же Иваныч ладонь—под пиджак.

— «А по-вашему—чч-то есть материя?»

Весь в паутинючках: тоже—материя.

Тителев снимет «материю» эту.

— «Да вы не сигайте под угол: его баба-Агния не обмела».

— «Сформулируйте-с!»

Тителев в бороду смотрит, в лопату свою; ее цвет—фермам-буковый: желтый; ответит резонно:

— «Немыслимо определить материальную сущность в понятиях, ибо понятия—ну-те—продукты вещей».

Никанор же Иваныч оспаривает:

— «Это ж Кант говорит,—с тою разницей, чч-то: он считает понятием, точно таким же, принципность; материя, определяемая эдак,—идея».

Но Тителев спину подставил: блестит тюбетейка зеленая: зототцем; вдруг—впереверт: пальцы сбросив за вырез жилета, схватясь за него, ими бьется:

— «Материя? Это ж—понятие базиса экономического: с диалектикой спутали идеализм, сударь мой».

Указательным пальцем, как пулю, тычет:

— «У вас—диалектика: где?»

— «Диалектика,—пляска превратностей смысла».

И—в бороду:

— «Пфф!»

Но и Тителев—в бороду: с «пфф».

— «Снова в Канта-с заехали: бросьте,—стоялая мысль; поп Берклей вас прямее».

Как мяч, языком отбивает слова: и смешок, и уютно, и—за душу дергает; фертиком руки:

— «Ишь—вскипчивый; ну и скакало же, и—хорохор же: устроил мне вскоку... Оять, сударь мой, перегусты: табачную нюхает синь—«тут развесили».

Вдруг:

— «Сядем в шахматы?»

Или: рукою взмахнет—щелкануть; но—растиснуты пальцы; за-тиснется рот:

— «Да,—дела...»

А какие?

Стоит «Ундервуд»; раздается звонок; появляется в шарфе небесного цвета расклоченный дядя с огромной калошей, таращась очком,—Каракаллов, Корнилий Корнеевич: кооператор. Являлись: какой-то Зеронский, иль —

— Брюков, Борис, —

— иль

— Трекапкина-Щевлих,

— Мардарий Муфлончик,

— Бецович,—

... иль —

—доктор Цедос: со статьей Химияклича.

И перекуры растили.

Статистики, люди легальные, к интеллигенту и домовладельцу ходили; такие, провоя укладом, становятся желчными от пересиды и заболевания нерва глазного; держа Уховухова в дворниках, куксятся над сочинением Штирнера; это от желчи.

Сюда ж—каждодневный заход Никанора Коробкина, брата профессора, севшего в дом сумасшедших; ужаснейший случай (в газетах писали о нем): покушение на ограбление, бессмысленно-дикое, дико-жестокое, с выжигом глаза; грабитель же был полоумный.

Так—братец: все юркает, спорит, юлит, рассуждает о брате; занятен весьма: пиджачук—коротенек: с протерами,—серенький, реденький, рыбенький; штанишки в пятнах, в морщинах, с коленной заплатой: сам штопал; серявый, дырявый носок на ноге: лучше даже заметить,—над каменным ботиком, а не штиблетом-гигантом, в котором юга замурована прочно; пролысый, с клокастым ершом; и проседый; ерошит бородку: ерш, ежик—колючий, очкастый и вскидчивый.

Вскочит, встав взаверть, ногами восьмерку легчайшую вывагит, выпятив левую сторону груди и правой рукою захватив за спину: с видом протеста:

— По-моему брата, Ивана,—так чч-то—из лечебницы брать: по-домой ли? Домой, обстановка такая, что... Яд для больного».

И югу поставит на стул сапогом:

— «Впрочем—неприязнителин брат: брат Иван! Мы, Коробкины, так сказать, без предрассудков...»

Брыкнувши ногою (со стула)—пойдет писать: диагоналями: все-де полны предрассудками,—только не мы, не Коробкины: не брат, Иван.

Никанор был во многом, как брат, брат Иван; только: вместо ершей тормошащихся пролысь с хохлом: верно годы да горе лысят человека.

Он был леворукий; и был левобоким; все левое вылезло: клетка грудная, плечо; и вломилось все правое; шея не вылепнута, как у Ивана, у брата; на широкожестом лице из-под лбины, как пуговка,—носик.

А впрочем—как брат: брат, Иван.

Те же фыки и брыки, ю—едче и метче: стремительней; ежелл брат—

— брат, Иван, ---

— сиганет, все — грохочет: как гиппопотам: Никанор, хоть сигает, а — не зацепляется, напоминая морского конька, предающегося переюркам средь водных стихий: он, как рыба в воде, средь предметного мира, иль как... балерина: в припрыжку живет.

Но и Тителев—тоже чудака: десяти месяцев высиел в собственном домике наперекор Неперепреву; паискошь сел Непососько.

Сидят—очень многие, но—в разных смыслах; кому это—задние мысли.

Кому—заключение.

## ЭЛЕОНОРОЧКА

Брат, Никанор, ежедневно являлся к Терентию Титычу.

Этот рассеянно встретит бывало:

— «Скачите себе: я-то—занят...»

Фальцет «Ундервуда» дрежжит.

Или,—хлоп по спине его: к Элеоноре Леоновне, в голубоватое поле стены, где повешено зеркало с круглой каштановой рамой; стекло, туалетик облещивая, отражает гребеночки, белые щеточки, зеркальце в сереньком кружевие, густо осыпанном меленьким пятнышком, точно снежинкой; за серенькой ширмой, усеянной крапом,—постель.

А с постели, бывало, всклокочится дамочка: в желтом халатике, с крапом—и серым, и черным—стриженной шапке каштановых мягких волос полосатая шапочка цвета каштанов, растертых на пепле; а черт—не видать, потому что из ротика выфукнет дым перевивчатый: срослые брови увидишь из дыма; а вместо лица—сизоватое облачко в сиверкой комнате.

Слушаешь струнчатый голос:

— «Ты, Тира?»

— «Леоночка,—я: с Никанором Иванычем; он там сигнал: ты би с ним!»

— «Извините: такая я снаха».

И ручкой покажет на старое, черное кресло в серых, как дым, перевивчатых кольцах.

Дивана же нет; лишь подушка зеленая брош на в сизые, сизые крапы ковра, ковер карай; усаживаясь на диванчик, люточком продавит подушку; калачиком ножки.

И юбочкой кроется.

— «Ляжет с опущенной шторой: валяется день; так же бродит себе неумытой зашлепой; а то проработает сутки, без отдыха,—Тителев скажет.

И после:

— «Сигайте же с ней!..

И—бежит.



Никанор же Иванович вместо того, чтобы сесть, ногу бросив, подтяжку подтянет; и вдруг пролетев мимо пепельницы, мимо кресел, в прощелок, и не зацепившись никак,—к подоконнику: в чашную пальму окурком:

— «Вот пепельница!»

— «Не трудитесь,—так что: я и—так!»

И воткнувши окурком, поправив подтяжку, обратно выюркиет.

Никанора Ивановича поразила она с первой встречи же: выслушав что-то, без предупреждения, меж ножками юбочку стиснула, чтоб не отвесилась, тотчас же взвесила в воздухе: ножки (головкой в подушку).

— «Я вот что умею».

И вновь запахнувшись,—в пунцовую тальму:

— «Она—неизносная: с детства!»—в позы свои, свесив голову, сухенькой ручкою в сухенький ротик, зажимуриваясь, папирску засунет; и—ручкой к берету, другую—в подушечку:

— «Текера, американского авархиста,—читали?»

И—резво, и—дельно.

Привздернувши ногу на ногу и ногу ногой обхватив, балансирует стулом, поставленным на одну всего ножку, весьма ужасая, что хлопнется на—пол со стулом.

Не падал.

Пускалась с ним в споры; но не отрываясь от спора, за полуторагодовалым младенцем своим, Владиславом, бывало, следит.

Так с ней встретился.

### ТОЧНО РЫДВАН ОПРОКИНУТЫЙ

Элеонора Леоновна—очень забавна.

Почти еще девочка; верить—нельзя: развивала двумыслие; рот—про одну, а глаза—про другое совсем

То—дикуша; то—тихая.

Очень немногие терпят стяжение подтяжек с отбросом ноги, сбросы пепла в штаны, притыканье окурков, прожжение скагерти, ну и так далее,—то, без чего Никанору Ивановичу невозможно общение с застенчивым полом.

И мало его он имел.

Но в Ташкенте сходилась с девицею без предрассудков,—в штанах и в очках,—рассоряющей пепел себе на штаны, он на этом

на всем собирался жениться; но раз доказала девица зависимость органов деторождения от фактора экономического; тогда с фырком ужасным поднялся на это на все; с «извините пожалуйста» сел, грань увидя меж пеплом, очками, штанами—ее и своими; с подерзвом на цыпочках, чтоб не скрипеть сапожищем, ушел; его ждали: заканчивать спор.

Человек с убеждением,—исчез он навеки.

С немногими ладилось.

С Элеонорой Леоновной ладилось — очень: дымила сама за троих; на подтяжки, на скок с перекладками, свесится личиком в вечном берете, прикурит и стелит дымок по волосикам сизеньким юбочки снзвой, яль пальцами дергает пуговку очень уютно, но зло; юмор — сам по себе, грусть — сама по себе; неувязка какая-то: мысль, оковавши ей чувство, несла ее к цифрам статистики.

Осоловелый сыченыйш ее, Владислав,—не сосал: откормила сама. Ну а прочее,—как на луне: освещает, бывало, лучами своей юмористики злой все земное, на все отзываясь хохотом, с диким привизгом: до кашля, до слез; перегорклого ротика перегорелое горе бросалось; и ротик свой красила, чтобы не видели: маленький, горький.

А крашеный — маской вспухал на лице.

В плечах — зяблы; руки — придержи; глазки же — с искрами: перебегаючи; поступи туфельки кошью, — до бархата.

А топоток каблучков — не поступочки ль аховые?



Но добряш Никанор любил злость, юмористику: Тителевы были злые (хоть... добрые).

Было в обоих — свое, недосказанное и смущающее, переглядное слово; и даже — не слово, а блеск красок радуги, но... без луча; точно азбука глухонемых: дразнит знаками.

Осоловелый младенец — нисколько не влек: такой черный и плотный; глядел исподлюбья; не плакал, а трясся, сопя, сказав свои кулачечки; Элеонора Леоновна:

— «Тира,—боюсь я».

Отец, сам светляк, кинув на спину, с ним притопатывал, точно кощек; оборвавши итру, ставил на пол, бежал к своим цифрам.

Обязанность матери Элеонору Леоновну не увлекала: без ласки несла.

И бывало: из фортки, с лысастого места, бьет песней.

Часами сидят они с Охленьким, гостем, когда-то бомбистом, себе самому отрезавшим мороженный палец: дымочек, клочася синьками в спокойно висающие волны, объятыем распахнутым вьется.

И — слушают песню.

Бывало —

— смеркается: —

— тени запрыгают черными кошками; черною скромницей из-за угла обнажает «Леоночка» глаз папироски; блеснет золотая браслетка; лицо, как клопная шкурка: сквозное оно; черноглазый сыченыйш сидит на коленях.

И Охленький — с нечего делать:

— «Мы сделали немцами».

Он — обороновец.

Тителев, переблеснув тюбетечкой, выставит верткие глазки из кабинета; и — выкрикнет: прочное, жуткое слово.

— «Русь — Рюрика? Что?.. Не неметчина?.. Самая... Штюрмер, Распутин — двуглавые стервятники».

В ряби тетеричные коридорчика с «нет, я не русский» вон вылетит.

Элеонора Леоновна — Владе: а пальцем — в окно:

— «Штюрмер съест!»

Из окошка же — оранжеватый косяк, расколуленный красною сыпью, в силь сумерок снится.

И снится —

— Россия, —

— застывая, синяя, —

— там грохотнула губер-  
ниями, как рыдван, косогорами сброшенный.

Ветер по жести пройдет: в коловёрты!

Перед тителевским домочком являлось сомнение: есть ли еще все, что есть здесь: Москва—не мираж? Под ней вырыта яма; губерния держится на скорлупе; грузы зданий проломают ее; Никанор же Иванович с Элеонорой Леоновной, с Тителевым, с Василисой Сергеевной и с братом, Иваном, —

— провалится —

— в яму!

И креп грохоточек пролетки.

Но дворник, Икавшев, всем видом гласил, что о.т то, чем он выглядит: стало быть все, что есть—есть-таки?

## ВЕТЕР СИГАЕТ ОБРАГАМИ

Ты о весне прощечечешь ли мне, синегузая пташечка?

Небо—сермяжила; середозимок—не осень, а сурики, листья, — висят: в силе сиверкие; туч оплывы,—свечные, серявые, в голубоватом нахмуре; туда—сукодрал, листочес, перевертнем уносится, из-за заборика взвевявши пыль.

Надломилась известка, а где—села наискось крыша; и ломаной жестью, и дребезгом скляшек осыпалось место, где строился дом; поднялись только грязи; и снизилось прочее все.

Никанору Иванычу делалось жутко, когда он, бывало, бросался отсюда домой, лупя—

— свертами,

— свертами; —

— плещет полою пальто разлетное;

потеют очки; скачет борзо под выезд пролегок и под мимоезды трамвая; цепляет зонтом, так не кстати кусающим, за-руку: чудак-овато, не больно; обертывались, провожали глазами его: гоголек, лекаришка уездный!

Расключенный лет бородачочки — в ветер!

На лицах — тревога и белый испуг; и —

— шаги: —

— шапка поль-  
ская: конфедератка; рот — стиснут (его не растиснешь до сроку);  
и с ним —

— рздерганец —

— летит с реготаньем; пола с бахромой;  
лицо — желтое, точно ячбяр; в кулачине излапана шапка; — и —  
серь: скрыла рот разодранством платка; —

и

— под дом: почтальон:

— «Тут у вас...»

А ему:

— «Ты скажи-ка,—Россию на сруб?»

Почтальон:

— «Тут у вас проживает Захарий Бодатум?»

— «Нет, ты нам скажи-ка,—на сруб?»

— «На обмен: расторгнемся!..»

— «Нечего даже продать...»

Почтальон,—не стерпев, шваркнув сумкою:

— «Души свои продавайте, шпионы ерманские: души еще по-купают!»

И шмыг под воротами...

Высверки вывесок; искорки первые; льет молоко, а не дым, дымовая труба; слышно: издали плачет трамвай карекарсными рельсами; в облаке у горизонта—расщепина, ясность,—предельная; даль—беспредельна.

Сверт: —

— уличный угол, где булочный козлоголосит хвостнице:

— «Нет булок: война».

— «Не пора ли?»

— «А что?»

— «Знаешь сам!»

Поднималась безглазая смута

от очереди черным чертом расту-  
щих хвостов:

— «Рот-от—не огород: не затворишь; соорожа—вороне; та—курице; курица—улице; и ни запясть, ни уняты! Когда баба забрешет, тогда и ворота затывакуют».

Бабы чрез улицу слухи ухватами передавали; как ржа ест железо, Россию ел слух:

— «Нет России!»

Трарр —

— раррр —

— барабан бил враздроб передрогами: прапорщик  
вел переулком отряд пехотинцев —  
— раз, здрав, равв, рва, ррр!

В пуп буржуй, вилымбей, —  
Пулей, а не дулом бей!

Улица, точно ее очищали от пыли, замглев, просветилась; а  
пыль—в переулочный свертыш; и свивок, винтяся, бумажкой за-  
игрывал; месяц, оранжевый шар, тяготеющий в небе, не падая  
с неба на землю,—висел.

Никанор в перебеги прохожих нырял, и выныривал: носом же—в  
шарф; шляпа—сплюснута: срезала лоб; два стеклянных очка, как  
огни паровозика; под руками рука в руке—лед; сзади  
—кто-то несется очками

за ним

в перепыхе: затиснуты пальцами пальцы;

и — запоминает.

Ему невдомек, что он память свою потерял!

Свертом: —

— первый заборик, второй, третий, пятый; и выкупил  
первый снежишко; и нет ни души!

Гниязубов второй, Табачихинский; дом номер шесть, с трех-  
оконой надстройкою, с фризом, с крылечком, откуда Иван, брат,  
бывало, бросался на лекцию.

Грибиков, распространяя воняние рыбной гнилятины, там с го-  
ловизною бледной прошел.

Еле помнили: бит был профессор Коробкин два года назад,—  
сумасшедшим, который музей поджигал; и тогда же обоих свезли  
на Канатчикову; а сама проходила под окнами: серое кружево на  
сероперлевом; синяя шляпа, обвязанная серой шалью, зонт серо-  
сиреневый, сак.

И какой-то старик к ней таскался.

Все пялили глаз на проезды купца Правдобрадина, Павла Пэр-  
феныча; штука: под видом консервов заваливает астраханскими  
перцами он интендантство; а брюхо? Так дуется клещ.

Коня—бледножелезистые, с бледномедным отливом; раздутые  
воздри; и—ланы глаза.

Интересом своим переулочек жил, став спяной к допотопному  
дому, к которому раз проявил интерес: хоронили профессора доч-  
ку, Надежду Ивановну: от скоротечной чахотки скончалась.

Во всяком семействе—свое.  
А в окопах-то?  
То-то: не плачь!  
Так и ломит заборами ветер, летя на Москву; плющит крыши:  
Плющиной, Пречистенкой, Пресней —  
— сигает оврагами!

## ТЕ Ж СТАТУЭТКИ

Те ж статуэтки.

И точно лепной истукан Задопатов, Никита Васильевич, наш  
академик известнейший, в сереньком,—с вечной улыбкой добра  
возвышался из кресла и ухо котенку чесал: не несут ли ему ман-  
ной кашки? И с уса висела калашная крошка.

Он к дому привадился после кончины жены.

Те ж коричневожелтые книги пылились; с поверхности ста-  
рых убранств кто-то налицемерил жильё: не профессора; пепель-  
ницы содержали окурки; за шкафом—пятно бурочерное; видно,  
что терли, скоблили; и нет—не затерли.

Что?

Кровь.

Тот же кожаный, старый шлепок на углу подоконника: им бил  
по мухе профессор.

Мух—нет.

— «Ну куда его брать?» — мотивировала Василиса Сергеевна;  
во-первых: Никита Васильич ходил; и—так далее:

— «Ему спокойнее там».

И скучающе забормотав голубыми губами, шла к зеркалу: ей не  
носить ли шиньон? И косицу увертывала (это—лыска ширилась).

— «Ну, а по-моему—брат: эдак, так!» — мотивировал брат  
Никанор.

— «Он же там с Серафимой своей: как за пазухой!»

У Никанора Ивановича мысль, как морской конек, ерзала:

— «Поговорите-ка с Тителевым!»

И пошел писать: диагоналями.

Тителев этот вынырнул в разговор неожиданно; но Василиса  
Сергеевна думала: «Тителев» выдуман им в знак протеста, как  
фразы, которыми больно кололся он:—

— «Лоб иметь — еще не вначит: быть уным...»

— «Кирпич написать, или — сделать из глины, нет разницы...»

— «Раз бы пришел этот Тителев к вам; а то — «Тителев, Тителев»; что-то не видно его...»

— «А зачем ему праздню таскаться?»

Тут пальцем мотая пенсне, Задоятов восстал, захромавши из кресла: он ногу себе отсидел за листанием иллюстрированного приложения:

— «Довольно, друзья» и хромал от залистанной книги к еще недолистанной; но Василиса Сергеевна его увела; вслух читала ему его собственное сочинение: «Бальзак».

И Никита Васильич забыл, что он — автор: не вынес себя; встал: простерши ладони, как Лир над Корделией, он возопил:

— «Что за дрянь вы читаете?»

А вечерами они благодушно садились за карты; и резались в мельники: сам академик семидесятилетний с ташкентским, заштатным учителем: но из-за карт вспоминали жильца этих комнат:

— «Я Смайлса ему приносил!»

— «Незадачником был брат, Иван!»

Получивши в Ташкенте письмо с извещением о «случае» с братом за подписью «Тителев», брат Никанор с этим Тителевым переписку завел; из нее вырастал его долг, бросив службу, явиться в Москву; и сюрприз за сюрпризом открылся: заботы-де и обстоятельная информация принадлежали не Тителеву, а весьма состоятельным читателям брата, профессора, не пожелавшим открыться; он, Тителев, есть подставное лицо для сношений: в Ташкент были высланы средства; мотивы же вызова — тайна открытия брата и связанные с ней заботы, которые и поручались: Терентию Титычу и Никанору, ему.

Телеграммою вызванный, он появился: полгода назад; но узнав кое-что об ужасных подробностях случая с братом, блеснувши очком, резанул:

— «Так...»

— «Чч-тб...»

Перевернувшись, подставил лопатки; и — трясся, стараясь скрыть слезы; но тут же, собой овладев, неожиданно:

— «Дифференцировать, еще не значит...»

Очками блеснул он; себя оборвал; и ходил гогольком, будто случай его не касается; он объяснял всем домашним — профессорше, Ксане Босуле, курсистке, поэтке заушнице, Застрой-Копыто, что-де собирается в банке служить, ждет вакансии, и пока что — околачивается.

Босуля, Копыто, — жилички профессорши.

Тителев взвинчивал:

— «Вы уж до срока держите язык за зубами: коли посягательство на мировое открытие, — что тут...»

Сразил Никанора!

Последний, ариши проглотив, был готов заговаривать зубы себе самому; но заметив же: он, выбирая моменты, обшаривал пыльные полки, расхлопывал толстые томы и листики, в них находимые, тайно к Терентию Титычу стаскивал, но не вводил Василису Сергеевну в занятия эти; он ждал, когда следствию собранная им коллекция листиков будет дана; это будет тогда, когда брат, — брат, Иван, — с восстановленной силою явится первым свидетелем.

Он выздоравливал; и Никанор приставал к Василисе Сергеевне:

— «В лечебнице брат, — брат, Иван, — как бумага на складе: сгорит».

Раз придрался:

— «Бумаги — сгорели ж!»

Свалили бумаги наверх; они — вспыхнули: сами собою; пожар потушили.

— «Поджог!»

— «А кому есть охота палить — антр ку суа ди — эту пыль!» Неприятною дамою стала профессорша.

Скажем: «поджог» относился к подробностям, — тем, о которых:

— «Держите язык за зубами: до срока».

А он не сдержал языка.

И поэтому за Никанором Ивановичем в этом пункте последует автор.

## У ЗИНКИ, УФИМКИ...

Где сверт перед площадью, сеном соримый, шарами горит Турчиксона аптека; и рядом грек Каки года продавал деревянное масло и губки, лет двадцать гласит.

— «ЕЛЕОНСТВО» —

— почтенная вывеска с места того: «Мыло, свечи, лампадное масло, крахмал»; и само Елеонство сидит за прилавком, пьет чай с по-



стным сахаром, мажет сапог русским маслом и дочь выдает за купца Камиллакина (сын тысяч семьдесят за Христомучиной взял); Елеонство недавно еще подписался с купцами соседнего ряда (Дреолениным, Брисовым, Катенькиным, Желтоқвасовым) под монархическим адресом.

Далее, свертом,—заборик; и—двор, где жил форточник и видел фортку из дома, стоящего задом к забору; к ней крыша вела; от нее—ход к забору на свалени дров; дряни форточник тибрил; но тибрить в районе прописки нельзя, потому что здесь тибрят захожий.

Но мучили зубы; ходить—далеко; фортка—рядом: от дров—по забору, по крыше, к окну; кладовая для всякого хлама—лафа (многоценные вещи—грабителю); вылез, пролез, перелез, заглянул; и увидел, что—дряни.

Как вдруг открывается дверь; и—в исподней сорочке какая-то: в комнату; он же—под фортку; едва прищепся, выглядывает: что же? Барышня, соры полив, спичкой—чирк!

Человек, на такие дела не способный, он чуть было не:

— «Караул,—поджигательница!»

С крыши—в садик чужой; и—под куст; дым из фортки, свет, голоса; а назад—не улезешь: народ; по чужому двору, в Табачихинский; дом тот заметил: дом шесть; прямо за-угол; так в палестины родные вернулся; весьма не мешало в участок сходить, где он числился добропорядочным, с правом прохода сквозь фортки,—в районе от Крымского Моста.

Коли донести, пристав скажет:

— «Такой-сякой: значит под форткой в районе моем ты сидел; так и быть уже: у Нафталианика лазай, в кондитерской; чтоб у меня!»

Все же справился: что и какие... Сама (сам сидит в желтом доме), да шурина, да барышня (комнату сняли, мудреный народ).

— «Поджигательница!»

Коли встать на дрова, виден садик, террасочка, форточка и мостовая с напротив домочком, откуда два года назад к Селисвицину в угол вселился известнейший всем карлик Яша, рехнувшийся.

Все-то с рукою стоит на Сенной.

Вечерами же песни немецкие жарит; за песни такие народ убивал, а с блаженного не спрашивали; передразниватель, Фрол Муршилов, на свой, иной лад, переигрывал песни.

In Sünde und in den  
Genuss gehn wir ab  
Zum sinken, zum Niden  
Den traurigen Grab.

Муршилов—сейчас же:

Изюму да синьки  
За узенький драп —  
У Зинки, уфамки,  
Татарченко: грабы!

— «Жарь, Муршилов!»

С карлишкою форточник в дружбе; ему и открыл этот случай; карлишка же:

— «Готт!»

Да и Жоничке, горничной Фразы, «мамамы» сенатора Бакена (наискось от Гурчиксона жила); Фраза-ж...—

Словом забрали, допрашивали, собирались упечь, отпустили:

— «Помалкивай: не твоего ума дела».

Карлишка исчез. Слух пошел, что он служит в разведке.

Неясно: как Тителев это узнал и какие такие сношения с жуликом?

## ВЫХОД ЕДИНСТВЕННЫЙ

Тителев смачно замазывал окна стаканчики с ядом, замазка и вата.

— «С чем скачете?»

Выложил. братъ, а—куда? На квартиру? Никите Васильевичу на колени? В отдельную комнату?

Тителев с перетираньем ладош плеском пяток затейливое винтовое движение вычертил, а Никанор сапожками диагонали выскрипывал.

Снять,—так два случая: неподходящая комната, и—подходящая комната; коли не снять, тоже—два; значит. шесть вероятных возможностей.

— «Неподходящая комната»—пяткою вышлепал Тителев—«и—подходящая комната».

Твердо на локти упал, подчеркнув невозможность найти помещенье; и—светлым лянком, точно солнечный зайчик по стенке,

он вылетел; с папкой обратно влетел, бросил папку,—чертил, херил, бил и хлестал по ней пальцами; вдруг оборвал; и жилетом малиновым бросился:

— «Ну, а по-моему, коли снимать—у меня: флигель пуст».

И повел прямоходом чрез копань: под флигель, к охлопочкам пакли; и—видели: лаком флецуют, фанерочками обивают; и есть электричество.

Тителев что-то рабочим твердил, по фанерам ладонью всдя; Никанор же Иванович думал:

— «Три!.. Но—сыроваты, без мебели; всякие —ну там—харчимарчи выйдут; да и: крышка гроба,—не рама: при двери».

Как хины лизнул!

Видно, Тителев это весьма деликатное дело простряпал давно в голове, потому что обмолвился им, как решенным:

— «Мне—что: даровые; не я оплачу: поручители; я получаю работы: статистику всякую,—ну-те!..»

Какие работы, коль сиднем живет!

— «Поручители—препоручили: эге! Мне и некогда».

Вдруг:

— «Церемонии—в сторону; выход единственный—дан: шах и мат!»

Никанор же Иванович двинулся армией доводов: пенсии явно не хватит; квартира, прожитие: при Василисе Сергеевне; да—здесь; да—сиделка. Все духом единым, чуть-чуть обоняемым, луковым, выпалил: сесть на шеях у вполне благородных, допустим-таки, псевдонимов...; всучившись в карманы, и ногу отставив, его доканал независимым видом.

Но Тителев крепкие зубы показывал:

— «Ги-ли-то, пыли—на сколько пудов разбросаете мне, Никанор?»

И как плетью огрел:

— «Коли выписал вас из Ташкента и высказал ряд оснований несчастье с братом считать угрожающим—есть основания мне поступать—так, как я поступаю, а вам поступать—так, как я предлагаю... Пошли?»

Разрываяся трубочным дымом, как пушечным,—в копань шагнул; Никанор же—в протесты.

И лила у дома оплакала: каплями.

Когда вернулись, Тителев о переезде—ни звука; он чистил бензином свои рукава: переерзаны.

Тупо в гостиной забили тюками; а—нет никого.

— «Вы—не слушайте: дом с резонансами...»—Тителев морщился—«Сядемте в шахматы?»

Вдруг, отзываясь себе: в рукава:

— «Основательная перебранка нужна: переерстка масштабоз... Так,—брат, Харахор?»

«Харахор», вставши взаверть, и вынюхав кончик борздки, пихаемой в носик,—восьмерку ногами легчайшую вывинтил, пята всю левую сторону груди и правой рукою заехавши за-спину; бросился из-дому—

— свертами!

Бросив курсисточку, кинулся он под трамвай: сам едва не погиб, пролетевшись по свертам, кидался сквозь уличный ряд; и кидался за ним через уличный ряд —

—кто-то—

— свертami,  
свертами!

## МИТЕНЬКА

Горничная, Анна Бабова, дверь отворила корнету, его пропустив в локтевой коридор, дрябенёвший заплатою:

— «А?»

— «Ездуневич!»

— «Го!»

— «Ты-брат?»

— «Чорт!»

— «Я-брат!»

— «Гого!»

— «Брт... Чрт!»

Так, чертыхался в верблюжьего цвета исподних штанах, подмышку подтянутых (видно изделия из офицерского общества, что на Воздвиженке).—Митя, профессоров сын, здоровяк: ржа ражая; дернул рукой из верблюжьего цвета штаны свои:

— «Так вот на фронте мы!»

И—за сапог.

На побывку вернулся с корнетом, с приятелем: «йгогого, Ездуневич» да «йгогого, Ездуневич»; и пахнул весьма: сапогом, табаком; неуверенно громким баском еготал о проливах, о чести военной; совсем трубадур! Из корнет-а-листона, который с собою возил, совсем трубадур! Из корнет-а-листона, который с собою возил, вечерами выстреливал—режущим скрежетом; а Ездуневич пощел-

кивал шпорой,—пришпоривал шутками; он же стихи писал (но—потихонечку) вроде подобных:

Невинно розов и влюблен  
Над мраморною лестницей  
Отшелкает мазурку он  
С веселою престлестницей.

Здесь поселившись, пришпорил за Ксаной Босулей, курсисткой, подрукою Нади, которая после кончины последней, сняла ее комнату вместе с подрутой, поэткой-заумницей, Застрой-Копыто; и можно сказать, что профессорша с Анною Бабовой, толстой прислугой, укупорились—кое-как; Митя с другом—сам-друг; с Никанюром Ивановичем заночевывал дряхлый Никита Васильич порою.

Хотя б один Митя: походкой урывистой все-то бродил, затолкав их; он производил такой грохот, как будто четыре копыта тут били; передние—в пол; а два задних—о стены; и все от него: в нос несло табачищами; в глаз лез погон; в ухо была армейщина.

Репортовал он—о полчке с фронта, с которой он будто бы...

— «Чрт!»  
— «Брт!»  
— «Гого!»  
— «Игогò!»

И выстреливал режущим скрежетом под потолок из корнет-а-пистона.

— «Патриотизмы, романтика!.. Армия наша созрела в окопах. Все—полчка: с фронта»—ему Ездуневич.

— «Гого!»  
— «Игогò!»

— «Рррв... ррра... рррвый»—в окне раздавалась какая-то рваная часть: неохотой шагать двумястами тяжелых своих сапогов.

Никанюр же, на все насмотревшись:

— «Сюда брата брать,—дико; даже—немыслимо!»

## ШАМКАНЬЕ

Первые дни октября; мукомолит, винтит; буераки обметаны инеем; странно торчат в свищоватую серь.

Почталыон—из ворот; он—в ворота; и—видит он: Элеонора Леоновна бегаёт по-леду в тоненьких туфельках, носом—в конверт василькового цвета, с печатью; и юбочку темную с розовым отсветом выше колен подобрал,—озирается; в очень цветистенькой кофточке сизосеризовой: с пятнами рыжими, с крапом; она, как цейлонская бабочка,—в крапе снежинок.

Но как же размазались губы?

— «Эк!.. С гриппиком вас поздравляю: простудитесь!»

Тителев, в шапке-рысинке, в своей поколенной шубеночке,—вырос в подъезде—с «Леоночка,—ты бы обулась!»

Тут,—

— синие листики в скóмок: за юбочку;—

— два пальца в рот,

как мальчишка, махающий через забор за соседскою репой; и—свистнула.

А—про письмо-то, письмо ему?

Тителев мимо прошел.

Тогда вынула листики, на буерак ткнула глазками: в спину:

— «Ему—ни гугу!»

Безо всякого—юбочкой: фпр! По ступенькам; и прежде, чем он,—обернувшись, язык показала: такая «мальчишка»!

Такая коза!

Серебёрны!

И как шапками сахарными, пообвисли заборы.

С Икавшевым, мырзавшим носом, они, взяв по ломiku, в руки себе поплевав,—с удареньем, враскачку: о лед! А подумалось: мучу она про письмо—хоть бы что! Без стыда! Она—дикая кошка, ию с бархатной лапкой.

Набросит на сталь лезвия, чего доброго, тальму свою; и предложит ему посидеть на ней.

Вскочаешь!

— «Работа славнецкая!»—Тителев ломик подкинул.

В испарину бросило.

Вдруг ему Тителев:

— «Мебель заказана: можете переезжать; харахорику бросьте; смахайте домой; и—валите сюда с чемоданчиком; почка ремонт—забирайтесь ко мне: на чердак; он, чердак,—не дурак».

И запрыгал с захожей собакою: щелк да пощелк!

— «Собака!»

Собакарь!

Это место—лысастое!

Осенью не городской, не людской—деревенский здесь шум от деревьев, чуть тронутых, или—еще от чего? И уже—вырывается: и выше выпри глаголет, как... шамканье страшных старух.

Это — шаркает шаг с бесполезным бесстрашием сердцебиенья,— шаг —

— смерти, —

— в давно не сметенные листья,

в давно безглагольное сердце: под вывизги рыва планеты швыряемой.

И,—с бесполезной жестокостью больно катаемое и усталое сердце,—разрывчато бьется.

Ты ищешь чего же, душа моя? И ты чего надрываешься, под колесом Зодиака, песком засыпаемая? Здесь все то, чего ищешь,—костнеет.

Здесь —

— домовладелица, —

— Психопержицкая —

— и Непососько —

— отклонивают ассигнации.

Шелест их слушаешь ты.

Успокойся, душа моя, что тебя нет в том, чего тоже нет, что в деревьях, чуть тронутых, шаркает шаг пешехода на Козиев Третий, что ветер с возвышенной лыси отчесывает взвивы пыли, охлестывает пустоплясом песков, вырываемых из буераков —

— плешивую площадь —

— с заржавшим трамваем!

Так—что!

Не попрешь на рожон: с чемоданчиком притарарыкал; и—сел к ним на харч.

## «ПЕРЕВЁЗЕНЕЦ НАШ»

— «Перевёзенец наш!»

Повели на лысастое место, откуда винтил пустопляс дуновеньем окраин; смотрели на пригород; как перехвачен он балками; слей пылевой, где обоз ползал издали; медное небо и бледное поле.

И сирая, сипяя Русы!

Отобедали: луком томленьем несло.

Позвонил Тиссертацкий: с короткой бородкою, но без усов; обвел камешным глазом; и выбритый череп пронес монотонно в гостиную.

Сколько было здесь, именно здесь, пережито впоследствии!

Входишь,—и тотчас снимаешь очки, потому что — рябит: рои черненьких мух, как охлопочки жженной бумаги, на кареоранжевом выцвете — выются винтами в глазах.

Это кrapy обой и горошины желтых протертых кретончиков креселыных; ржаворыжавые шторы; их карие кrapy; и—пляска предметов дешевеньких, ношеных, замути зеркала; скос его рамы; растреск потолка обвисает лохмотьями сметанной копоти; ящик под лапистым ситцем; китаец качает фарфоровую головою на яркий пестрец, на китайские лаки, на синие птицы, на всю эту старбень; пол—крашен под рваным ковром, на котором затерты рябиновые, голубые и ярко-зеленые лапочки.

Элеонора Леоновна аховым взглядом следит (с раздраженьем) за действиями Никанора Ивановича, севшего к пепельнице и копающего пережиги листков, не дожженных до тла; вот он вытащил синий задырыш; и силится буквы прочесть.

Любопытно: «пше-вже» получается.

Тут он глазами наткнулся на глазки: как радуги!

Палец она приложила ко рту; и—пустила дымок, перевивчатый, легкий; прошла сквозь него; повернулась,—какая-то вся возбужденная.

Вдруг, ухватив рукоять разрезального ножика, вытянув шею и вытянув руку, она острием проколота пространство пред носом подпрыгнувшего Никанора Ивановича.

Разумеется,—в шутку.

— «Леонючка, брось-ка ты ножик!»

Бубнил Тиссертацкий про синие лица солдат, про трахомы, которые распространяются противогазовой маской; а черные кrapy стались мушиною стаей на стекла очков Никанора Ивановича; по каким-то своим перемигам между Тиссертацким и Гителевым, выяснилось, что он, Никанор, им мешал, что именно в пятницу частное здесь заседание статистиков; и зазвонились: Зеронский, Трекашкина-Щепных, Мэрларий Муфлончик и доктор Ценкос.

Никанор же Иванович пошел: затвориться; постельной пружи

ной скрипел: без огня; кавардачило; мухи летали в глазах, а сквозь них—синелищный солдат в черном шлеме расстреливал облако хлора.

— «Ну и разговорчики же!»

Сон укачивал.

И, —

— как —

— под ушами бухавших пушек, — привзвизги разбитых дивизий!

Но это дытело и фыркало: под-полом; и, разбиваясь на дрызги —

— дивизий, —

— дрезжал: «Ундервуд».

— «Нелокотный дом: дом с резонансами!»

## ДОМ С РЕЗОНАНСАМИ

Бита мастистая карта, которой рука Никанора Ивановича собиралась ударить...

Как?

— «Тителев, Тителев!»

А переехал, и Тителев стал—«тилили́к»; чудеса в решете, как сказал духовидец!

Воспитанный Бюхнером, сам нигилист, невесомостям сим в решете он не верил, а яйцам, в нем спрятанным; как они сквозь решето могли просто утечь в его мозг головными абстракциями, чтоб из уха вторично родиться?

Он слышал:

— «Тилик... Тилили́к!»

Стрекотало, тиликало.

Элеонора Леоновна на-ночь умеркла; Терентий же Титыч, в халат запахнувшись, со свечкой стал «ничто», с той минутой, как он пожелал доброй ночи под лесенкой; Агния-баба—хрпела.

Не червь древоточец ли?

Ухом прилипши к стене, он открыл слуховую вторую действительность; есть ведь в домах аберрации, приоткрывающие развороти далекой квартиры, коль ухом случайно коснешься стены.

Как ударится:

— «С кем ты спала?»

И в семейную драму уткнешься: вопрос только—в чью?

Мой вопрос к архитектору:

— «Вы, гражданин, понимаете-ли, что у вас—телефонное место, откуда все то, что страдает и любит, проходит в ушную дыру через пар отопления? Взяли ли вы на учет этот факт, гражданин?»

Переюркивая по стене, ловил звуки он: перебитные, с прохватом молчанья; и ухом нащупал он центр звуковой: голос, перебиваемый сипами, шлепом шагов, дрекотаньем машины, жужжанием валиков, передвиганием косных туюков; вместе взятое—ревы далекого мамонта, бьющего лоботом в камень веков.

Сердце ёкнуло в нем, когда эта действительность стала поступками, если не шкурой одетых людей, обитающих в каменном веке, то шайки отпетых мошенников, вышедших из-за репейников.

Тут он —

— в исподней сорочке, —

— босыми ногами, —

— на пол; чтоб

осиливать лестничный винт над ничто, о которое нос обломаешь,—ползаком, как оранг, помогающий в беге себе парой верхних конечностей.

Слушал густое молчание, перебиваемое всхрипом Агнии.

Так он вторично влип в стену, чтоб выслушать ревы с пиле-нием ребер Терентию Титовичу, и не выдержав этого, ринулся с лестницы, пав, как на меч, охвативший его броском светом, стреляющим из приоткрытой гостиной, откуда услышал—падение попеременное гирь, —

— а не —

— треск половиц под подошвами тапав-

ших: —

— пуча каменное, налитое страданием око, и бросив пред пу-вищем ярко кровавую кисть, из которой клеваля зажженная свечка в проход —

— прочесал толстопаятый толстяк; лицо с вобом, болта-вшимися, перекошилось от муки бросания толстого брюха; скакала в плечах седи́на, когда он прочесал коридором; и сообразилось: взгляд —, мину́ты; вид — композитора, может быть: выбритый, ро-зоволицый, в коричневой паре.

Червило, не кровь,—на руках!

Никанор же Иванович—в угол, чтоб срам голоножия скрыть: еще скажут, что крадется он с ферлакурами к бабушке Агнии. Тут же был пойман с поличным Терентием Титовичем: пятно голубоватого спенсера бросилось прямо из двери, со свечкой в руках; и—с тючком перевязанных накрест бумаг.

— «Вы?»

— «Я».

И с перепугу он выпалил: просто неправду:

— «Желудочный кризис».

И пяткой прошлепал в уборную.

Тителев выждал, укрыв выражение глаз в разворошенно желтую, бразилианскую бороду.

— «Попридержите язык пока... Шероховатости», верткие глазки проехали в рябь коридорчика — шероховатости всюду.

И, перевернувшись, бежал дв кабинет.

И бежали за свечкою зги.

И стопа толстопятая: тяпала.

Еле осиливши лестничный винт, кое-как влез в штаны; мозг—враскок: муравейник; дерг жил, дробь пальцев; и—туки сердечные; этот страдавший толстяк, пробежавший из стен и ножницей своей трепака отчесавший как бы в тарарыке машинного грохота—

— сон, отщербленный от смысла?

А Тителев — сон?

— «Придержите язык» —

— было сказано, было воспринято твердою памятью, трезвым умом; кто он? В прах перетертый, чтоб с пылью московскою — выметнуться: из ума и из памяти?

Топы: он — в дверь; и — над лестницей свесился: это — толстяк, прочесавший в уборную.

К фортке,—проветрить себя.

Переискры огней из молчанья: вдали.

И,—как перепелиные крики—куда-то, откуда-то: в ночь.

Взлопоталася липа: под домом.

Шаги; фонарек закачался; Акакий Икавшев под ним; и — Мардарий Муфлончик; в руках у него чемоданчик; к глухому забору пошли—буерачником; там фонарек постоял; и вернулся; Акакий Икавшев вернул; Мардарий Муфлончик исчез с чемоданчиком.

Чудо?

Где яйца? Спрятаны!

Вновь, как перепелиные крики, из ночи в ночь за переискры слышались.

Утром пролеточка, затаракавши, встала в воротах; он слышал два голоса: доктор Цецос и Трекашкин; стало быть, заночевали: где?

## ЧТО ОНИ ДЕЛАЛИ?

Тителев—темная личность, скрывающая атамана фальшивомонетчиков и приложившая руку: к чему?

И себя оборвал: усомнился.

Как, Тителев?

Тителев—умница: полки, набитые Марксом; за шиворот выволок из Туркестана, глаза открывал на шпионскую организацию; все это—так; и однако: в компании с этим отпетым мошенником.

Вспомнилось, —у Честертона описано, как анархисты ловили себя, став шпиками; и как полицейские, бросившись в бегство от ими ловимых персон,—настигали: бежали, все вместе,—по линии круга.

Что ж, мина доверия,—крап, передержка, чтобы, усадивши в репейники брата, Ивана, с открытием,—

— брата, Ивана,—

— похе-

рить: открытие,— брата, Ивана; и — брата, Ивана!

Тут—корень всего!

А насильственно вырванное обещанье мотыль-паутина, которую выплел толстяк.

Осторожнее, брат, примечай!

Остается единственно: бегство —раз! С братом, с Иваном,—два! Повод? Его подыскать. А Ивану в виду обстоятельств подобного рода—продлить пребывание в больнице; пускай там сидит; Никанор—сидит здесь: усыплять подозрения; вот положение: преподавателю русской словесности —сыщиком сделаться!

Что это значит?

Разыскивать след толстяка из гостиной; и —стало быть: эту гостиную взять под обстрел; во-вторых: изучить тот участок забора, куда уводил фонарек, где Мардарий Муфлончик из твердого тела стал—газ испарившийся; и в голове—рой стремглавых решенный; вот только: харчи то марши; он на них сидит; и за

ними ж подглядывает? Как же может он эдакую негодяину вымочить?

Вымочит: долг в отношении к брату ведь—есть?

Есть.

Так—вымочит!

.....

Сухость сказалась с катанием вориков-глазок, когда поздоровался с Элеонорой Леоновной и отошел полистать преддиванный альбомчик; сигнув коридорчиком, носом—в гостиную: там—не толстяк?

Не толстяк.

Ну-те!

Элеонора Леоновна шла одеваться; Терентия Титыча не было: ерзает видно с фальшивой монетой своей.

Сигнул он в гостиную, странно оглядываясь; и рой мушек, как хлопья, на фоне рыжавого выцвета вился, так докучно жужжа, пока комнату он на коленях не выползал; носом—под ящик, под кресла; исследовать нечего; след негодяя—не видим; следы таракана открыл; неприятная комната—с мухами, с коготями над рыжавым кретоном.

Вдруг—шарк.

Пристыдил карапуз, Владислав: он приполз на карачках и трясся перед тараканом в пороге.

Едва ли не стал объяснять карапузу, зачем он тут ползает, но успокоился; этому не до него: что за гадости,—он придавил таракана!

Теперь—в буерак!

## ПЕРЕЮРК

И закапали желчи на смоклую крышу: под оттепель; свистами снуются сурики, листья; и крукает воздух сырой: воронье улетает над силой осиной сквозь синюю просинь: неясною чернью—в неясные черни.

На лысый подхолмок привстав, опустился в колючие кучи репейников, в сростени кустиков; цапкие лапки раздвинув, ощупывал доски забора: высок; и ясно, что не осилил Мардарий Муфлончик железные зубья; здесь след; здесь стояло весомое, твердое тело; здесь стало оно невесомым и газобразным; ага,—доски спилены: на перегибах гвоздей еле держатся,—две; отогнув, обнаружил проход в переулочек:

— «Ловкр!»

И—нос в Гартагалов: пустой, так что можно нос выставить:—

— юрк,

— переюрк,

— выюрк,

вьюрк,—

— под защиту доски, потому что пред тумбой, спиной на нее, лицом—в прорезь, стоял офицер с бороденочкой рыженькой, с присморком, при эксельбанте; и шпорой бренча, свежей лайкой, белей молока, папиросу выбрасывал; глазки, как рожки улитки, наставились на Никанора Иваныча с юмором: интеллигент на волне европейских событий в дыру за «проливами» лезет; что ж,—стреляной дичи не мало.

Ага,—не пролезешь!

А знать интересно, как выглядит эта лазейка снаружи; и гвоздь повернув,—

— через Козиев Третий:

— не сыщик —

— артист!

Но у входных ворот—в офицера, того же,—шляпенкой своей:

— «Извиняюсь!»

Опять офицер усмехнулся: де интеллигент—куда прет? Да и многие пёрли: за Львовыми, за Милюковыми: выйдут в тиражи, за Врангелем,—в Константинополе!

— «Вовсе не стоит переть»—упрекнули глаза офицера; он носиком, с присморком, вынюхал: к Фёфову перевозили капусту.

Всей статью знаком офицер.

И еще раз сцепились глазами:

— «Вы ль это, Иван Никанорович?»

Сухо Иван Никанорович скажет в ответ Никанору Ивановичу:

— «Извиняюсь, — какой я Иван Никанорович!» —

— чтоб не случи-

лось подобного казуса, частого в практике встреч с незнакомцами, принятыми за знакомцев, он — прочь, гребанувши рукой, на крутейшем винте переулка за изгородь, — дернулся на Гартагалов; и там под лазейкой поюркал, косясь на нее: доски — здорово пригнаны.

Вновь, загребая рукой пустоту, на крутейшем винте неся, о комзиев Третий; за ним, загребая рукой пустоту, кто-то неся, о ком мне не стоило б упоминать: паразитики, таксой оплаченные, или шубная моль; вьется, — хлоп ее: нет; только желчь золотится на пальцах!



Где видят загибают на дом, номер два, из ворот—разодетая дамочка; широкополая шляпа грачиного цвета с полями распластанными, как грачиные крылья; и—черное, током, перо; и закрытое черною мушкой вуали лицо; офицер, цокнув шпорами, локти расставивши,—к ручке: мазурку отшпорить.

— «От нас, а у нас—никого; я же, — только что из-дому!»

Холмсом: за ними; —

— и кто-то — за ним —

— разглядеть эту да-

мочку!

Стриженная; волоса цвета темных каштанов; как в масочке;

губы на полулице ее слишком знакомо припухли; безглазо разъехалось.

— «Как-с?»

С этой «как-с-ой» — назад, меж собою и нею, поставив заборик, — шагах в сорока: и — шагах в сорока от него, точно так же, назад, между ними поставив заборик — очки: без лица; носом — в шарф, задвигаясь полями — без «как-сы, но —

— с «таксою».

## БЕЗЫМЕНЬ

— «Как-с?» — относилось к открытию в дамочке Элеоноры Леоновны.

Степку-Растрепку ломала она из себя; а, скажите пожалуйста, — в эдаком блеске!

Следя за супругами, он не сказал бы, что спрятан в релях, офицер, что он ходит торчать под забором, что так вылетают к нему: удаляться куда-то; и — при-пере-при-оттопатывать: —

— при-пере

— при-пере —

— прр

фрр — !

И — вывинтили в Гартагалов, пошли писать; задроботал офицер, точно щелчком мазурочным; и с топоточками, выпятив грудь, пируэтцем бойчил Никанор; и бахромышем, точно репейником, перецеплялся он.

Смутные смыслы рвались в подсознание танцующей ассоциацией над здоровой правдой, чтоб жуткими пульсами тукать — так точно, как бледная светлость редвиних дерев самосветом выхватывалась и растрепывалась, чтобы дождики листьев танцующих все покрывали, и всюду сквозь ноги прохожих летели взвешиваемой желтою массою.

Рывом в скорозлые слякоти, в скоросилье листьев помчались все трое под доминком дикого камня; церковная, белоголовая башенка: улица первая.

Вот галлопада!

Ездишка; бежит безалтынный голыш; битюга бьют в ноздрю; и — селедочный запах.

«Они» — впереди: в перетолк; офицер перед дамою локтя не выпятил: не офицер с ферлакурами; дама — не цель; оба — средства.



Сверт:—

— вляпан в пнях, берендейкой, локтями пихаемой; все — скоробранцы: они — стародранцы; и краповый ситец, и пестрый миткаль; и — столб башни; взболтнулось шагами, подгрохотом, шарками, ржаньем коней и трамваями; автомобиль, точно бык бзырил<sup>1</sup> издали.

Как останавливались друг пред другом с поджатием и распрямлением рук, как неслись в перетолки потом: не интрига хорошенькой дамы, не флирт офицера, а дело, связавшее их: против воли!

Отстал, снял очки, став таким слепооким, усталым; и тут, их утративши,—

— эх, слепендряй —

— взаверть,

— в цыпочки —

— боком, — прокурки-

вал: легкими скоками.

Улица третья!

Свернули в кафе под огромную вывеской: «У Сивелисия»; ожесточаясь очками, он — к стеклам; свет — пущен: вот старец безвласый — за столик: пальто — цвет сигар; вот — к ближайшему столу Элеонору Леоновну рывом ведет офицер; и навстречу им рывом встает сухошавая барышня в великолепиях: с плеч — соболя в кошках, с хвостиками; а стеклярусы быют — водопадами; волосы — белые; стрижка — короткая; вздернутый носик; повидимому, — иностранка.

И — Элеонору Леоновну ручкой усаживает.

Офицер с эксельбантами, слева не сев, а сломавшись, на столик руками упал, чтобы слушать, как барышня эта чеканит головкой и скатыми бровками (крепко, должно быть).

Вдруг Элеонора Леоновна —

— с перекосившимся диким испугом, с оскаленным ротиком — вскакивает! —

Тут он носом — в блистающий лаком «таксй»: столб бензинового дыма, как таянет скрежещущим щипом; подпрыгивает и выписывает легкий росчерк ногой — перепуганный брат Никанор.

А? Машина?

Для барышни?

<sup>1</sup> «Бзырить» — раздраженно мычать (про быка).

Новая, чищенная; и шофер парикмахерской куклой сидит, обвисая рысиной; из сизобагрового облака лепится хмурь; сухо сумеречит; синей видится сивая лошадь с угла.

Куда деться?

И шарки, и бряки; топчут в притоны: там песнями сипнуть; безгласные бряки; и мир — безвременствует; все — сели в пропасть!

Беспроем галопом несется обратно: —

— беспроко бежит за  
ним —

— бэзымены!

## СУДЬБА ТОЛСТОПЯТАЯ

Под изгородливым местом дворная собака, вцепившись зубами, ему лепестила пальто; едва вырвался в Козиев он.

Вышел Тителев, став узкоглазым и бросивши в воздух ладонь. Никанор же Иванович, ожесточаясь очками, — к ладони ладонью — с отвёртом, с поджимом, с прохватом молчания, без «тарары», возникавшей меж ними, — с посапом: в усы!

Друг от друга они наутек; этот — на чердачок; этот, с кепкой в руке, — в буерак, в темень, в темноту ночь.

Как медведь, она — лаптит.

Везде людогрыз!

Отношенья людские — измарчивы; и — как зыбучий песок; то насыплется куча, то — выпечет: сквозь решето!

Отбивал чердачок каблук, жить приходится с татями! Что ж, коли надо. для брата, Ивана; Иван, брат, — беспомощен.

И в толстолобые стены раскашлялся он: до привзвизга; стой, брат, Никанор, под судьбой толстопятой, свой пост защищая от потов ночных! Видно, — туберкулез вскрыт кавернами; не засыкало: ту-туту.

Топала —

— туком —

— судьба толстопятая!

Элеонора Леоновна! Вы ли?

Леоночка! Ты ли?

Перо шляпы — набок: растрепанная; весь изыск, как на палке

повис; не нарядная дамочка,—выраженный шут гороховый, с личиком, точно с клеймом, раскривленным следами позора и злобы, и пересытелым, с губами, размазанными красной краской, глотавшей слезинки.

— «Ты, Тирочка?»

Тителев из табаковки набитой щепоть табаку урывнул, свирепейше вдакнул ее в трубочку; трубочку—в рот; и в разрывы табачного дыма:

— «Леонючка!»

А из-за дыма не глазиком—глазом расплавленным: тяжеловесным топазом:

— «Ты что?»

Она ручками, как не своими, а краденными, искромсала перо снятой шляпы; и—переюркнула: на ключ; головою— в подушку: медведь темнобурый, как мгла косолапая, лапил.

В темки заиграли: все троел

.....

Ночь, полная собственным словом, которого днем не услышишь,—слепцово безбóче, —разорвана в клочья!

Тень,—в день обеднению смаялся, села в щелях: косяками; уже выглавлились беспрокие сутолочи всех предметов: из слабых объятий склоненных теней; выглавлилась постель белоснежной подушечкой;—

— личико синее —

—с ручкой, вздетой и выбросившей лезвие, засверкавшее над занавесочкой в сивые рыжины туч.

Лезвие разрезального ножика сверком своим прокололо подушечку смятую.

## ЧОРТ ВАС ДЕРИ!

Утром выскочила разбитной и вертлявою девочкой, смехом икливый стараясь стереть впечатления.

Тителев неоткровенно борзил перебегами глазок с очков Никанора Ивановича на безответицу... даже не глаз ее; видел в себя убежавшую бель да круги синезеленоватого личика с ярким раздергом безглазого рта.

Никанор же Иванович, навись сев, сеял табачные встречи, смекая, что Элеонора Леонюна —

— тайно была на свидание с барышней

приведена офицером; и это — комплот против, может быть, мужа; и — кавера его; ей, пожалуй, довериться можно, чтобы ей —

— эдак-так, —

— приоткрыты!

И—так далее.

Тителев, от двоемысли!,—в дверь.

Никанор,—

— эдак, так:—

— да болезни есть разные; зоб-де растет; толстякам неудобно — и эдак, и так,—коль утек под заборы от глаз полицейского — жизненный модус фальшивомонетчиков; —

— все, разумеется,

тст, тонко: намеками!..—

— Элеонора из желтой, сквозной своей шали подбр:сила ручку в берет, и вертела своей папиросочкой; ткнулась со смехом икливый: в пестрятинку.

— Вы посмотрите... Узорники—в клетку: зеленое, красное... Шашечки... В каждой, как солнечный зайчик,—желток.. Поле — дикое... Это—материя кресел и штор брату, вашему: в комнату!»

В рот папироску, за дым облетающий и перевивчато легкий прошла, как в свой сон.

И—оттуда: в дымочек:

— «Не стоит, голубчик, допытываться!»

Да, слова—арабески: дымки—занавески; как чертики в форточку, в Кознев Третий взвиваются; Кознев Третий взвивается — в рок!

Все—взвилось!

Глазки,—как лезвия: блески резкие! Не доверяйтесь: предательница!

.....  
— Едва сели за стол они, Тителев, бросив салфетку, откинулся; и в Никанора Ивановича глазом, как тяжеловесным топазом—

—ударился—

—яростно!

— «Чорт вас дерни!»

## КАТАСТРОФА

Взяв кепку и очень жесткую трость, его вывел он:

— «Слушайте!» — трубочкой; а харахорик, ведомый в репейник, кусался словами.

— «Садитесь!»

Ткнул тростью в бревнину:

— «Не перебивайте меня!»

Усмир!

— «Я не сяду, — так чч-тò!.. И не стапу...» — хлоп, хватъ: скорхватная лапа какая!

— «Не спроста во мне катастрофа с Иваном Ивановичем» — силой усаживал Тителев — «вызвала мысли о вас: зная ваши прекрасные» — бил по подтяжке, привздернувши бороду, «свойства, естестволю, я...»

Харахорик, сорвавшись, писал по колдобинам витневатые скорописи, чтобы свойства такие отвергнуть.

И гулькали сивоголовые голуби.

— «Дайте сказать... Ну-те: мог положиться на вас!»

— «Перебыю!» — сиганул Никанор, и руками в карманы всучился — «Во первых: вы с братом, Иваном, — знакомы?»

Мелькнуло, как издали: «Не удержусь и все карты открою!» И — выехав левым плечом, по отъехавши правым: взапах — «Во-вторых: вы утанвали много данных, их мне обещав: вышла ж — фиго со сливками!»

— «Эк!.. Сколоколили!»

— «В-третьих», — и палец загнул ему в бороду — «вы-то откуда узнали, чч-тò... факт нападения на брата, Ивана, еще неизвестен полиции в ряде подробностей... Вы-то кто?.. Сыщик?.. В-четвертых», — расшарк иронический — «где основания думать, что здесь» — бросил руки направо, налево, очками поблескивая — «брат, Иван, в безопасности?»

Взавертъ: оглядывал с победоносной иронией Тителева: тот — за вырез жилетника: пальцами бить:

— «И на это ответу... Но мы отвлекаемся: сядьте... И бросьте саркастику эту...»

Проидясь:

— «Зная лично...»

— «Да я вас не знал-сь!»

— «Мы встречались лет двадцать назад... Ну» — развел он руками — «я ж не впопнат, что меня позабыли вы; неудивительно:

я — изменился... Потом надрыгаетесь: слушайте!.. Зная, из братниных слов вплоть до случая с шубой и с клаком, которыми... Дрыганец бросьте-ка: хò!»

Трубку выхватив, белыми он разблнстался зубами; и снова приблизил лицо узкоглазое:

— «Думаете, что подглядки ушибли меня? Да ни капли... Сидите... Мотивы-то были ль подглядывать?» — встал он на цыпочки — «Были» — присел и губами воосался, «шох-пох», дымом в нос.

— «Были, — спрашиваю?»

— «Были...»

... «Я говорю — то же самос...»

И указательным пальцем — в плечо:

— «Стуки слышали?.. Стуки-то — были?»

Пождал.

— «Так подглядывать право имели... я вас проводироваз. Вы суетник; много стреляной дичи валяется; бойтесь стремглавых решений...» — ушел он в усы. — «Пока все по программе; а что сверх программы, — придите; и — спрашивайте...»

Никанор, рот раскрыв и колено свое обхватив, растирал подбородок с волнением; тяжесть молчания сбросилась; вспыхнула искра доверия.

Вдруг —

— улыбулся: пленительно!

... «Вашего брата я знал; и Надежду Ивановичу... Скрыл же до сроку» — задумался Тителев, вскидываясь в передерги мушиные, снежные: с неба зареяли; плечами — в уши, а пальцами — в боки.

Стоял, вздернув трубочку:

— «Ну-те... Открытие брата, разрыв всего дела военного, о чем бедняга не думал: другие подумали... Кто псевдомек? Все еще?

Ткнулся пальцем в плечо:

— «Генеральные штабы!»

— «Что: чч-то?!» —

— Впереборку задренькала где-то струна; голос, перебираемый сипом, задренькал за ней:

— «Плугубб-йли... меньн-ня. тва-аан. бчч-хи...»

— «Ляля... погубили... меня!»

— «Понимаете, что это значит: не штаб даже, ш-т а б-ы!» —

— «!» —

«Трындыри!» —

Звуки, перебитные с прохватом мол-

чанья, — взрывались еще; сипом перебиваемый голос:

— «Змээйяа... ладкал-хооо-д-д-ная ттхы!»

— «Трыни!» —

— струна в переборку!

Теперь только понял!

За братом, Иваном, — охота великих держав!

Тут — в испарину.

Брат, —

— брат Иван, —

в Табачихинском с зонтиком черным, в проломленном, косо надетом своем котелке улепетывает; а за ним —

— Китченер,

— Фош, —

— грохочут тяжелыми танками; падают с треском заборы за братом, Иваном!

И все занавески взвились: Гартагалов, взвизгивая с Фелефоковым в небо, — лишь хохлины выпуклого, чернубурого дыма из дыр — не Москвы — в свет красных, занявшихся зарев!

## И БЗЫКОМ И МЫКОМ

— «А — брат: брат Иван?»

— «Подозрение — было.. Бедняга — догадывался; и листочки распечатывал: в томы свои... Победил — Вашингтон».

— «Вашингтон?»

— «Вашингтон».

— «?»

— «Потому что интрига велась Вашингтоном под флагом Германии; американская организация — ну-те — использовала сеть германских шпионов в России: еще до войны... Удивляетесь? И — удивляйтесь: эге!.. Предложение брату продать им открытие шло — от частной компании; он — отказал... И... стряслось!

И —

— в халате подпрыгивал: под боковыми ударами,

дико истерзанный, брошенный, с выжженным глазом —

— О! —

О! —

— И —

— «брень-брень!» —

— отзывались стаканы

в буфете: в квартире пустой, окровавленной<sup>1</sup>.

— «Немудрено, что рехнулся... Все ясно: грабитель пришел, мучил, требовал выдачи... Частью, — бумаги пропали; чердак поджигали потом, чтоб скрыть, вероятно, следы... Суть не в этом: грабитель, германский шпиончик, не знал, что работает на Вашингтон; он — надутая кукла... Я, — ну-те, — случайно знал его в молодости: это — некий Мандро, спекулянт... Имя не говорит — ничего?»

— «Ничего!»

Вдруг дрожа, — с разволнованным шопотом: Тителев:

— «Вы при Леоночке имени этого — не повторяйте...»

И снова с небрежностью:

— «Суть же не в этом!»

В воротах, шагах в тридцати, в переplexе, и прячась под шляпой с полями, — блеснули очки: без лица; носом — в шарф:

— «Извиняюсь...»

— «Вам что?»

— «Комнат нет?»

Носом мырзает: с холоду.

— «Вы объявление читали? А?.. Нет его?.. Значит и комнат...»

Спиною к очкам.

— «Извините».

— «Пожалуйста».

И — нет очков под воротами.

— «Суть, повторяю, не в том, что истерик развинченный, схваченный, был не в себе, а суть в том, что его подменили в тюремной больнице, запутавши номер, и похоронивши под номером — да-с: сумасшедшего; где-нибудь прячется он!»

И увидя, что брат Никанор, подставляя лопатки, трясется от плача:

— «Придите в себя... Вы не маленький... Я ж отвечаю на пункты, на ваши... Второй пункт: откуда я знаю? Ячейки: в России, на западе: всюду-с!»

— «Так вы — политический?»

<sup>1</sup> См. Первый том «Москвы» (2-ая часть, глава шестая).

— «Кто же еще? Ну-с, а дом с резинапсами? Ну, а--чеканка монет: хохох!»

Никанор от стыда стал малиновый:

— «Вы—так чч-тò: вы—не подумайте!»

— «Я и не думал, а я выяснял, на вас именно, чисто ль работаем; ну-те, допустим, вы—шпик; и, допустим, живете у нас; и, допустим,—не видите, не замечаете... А вы заметили, как Химняклич, в ту ночь ночевал, проезжая из Перми: в Лозанну...»

«Толстяк»—Химняклич? «Толстяк»—псевдоним, знаменитейший,—Якова Яклича Химникова, и большого, и старого, все же гремевшего шпо статьями. Да кто ж их не знает? Кто их не читал?

А он-то, он-то?

— «Простите меня!»

— «Мы себя проверяли на вас».

Тут же—с горечью:

— «Здравствуйте»,—руки разбросил «фальшивомонетчики: милости просим...»—раскланялся, кепку сорвав.—А по-моему,—мы-то и боремся против фальшивых монет всего мира... Пункт пятый: Ивану Иванычу здесь—безопасней всего...»—И рукой охватил буераки он: «Организация будет следить... Око зоркое—тоже появится, как эти самые—из подворотни: являлись сейчас... К тому времени мы ликвидируем стуки: уже типография переезжает: выносятся шрифты: прокламации,—не ассигнации... Тоже—хорош! Впрочем,—к этому времени руки шпионов «оторваны будут; и это все»—трубкой в репейники—«рухнет».

— «Что?»

— «Все».

— «?»

— «Ставка, армия, ну-те,—судопроизводство, Россия, Германия, Франция, Англия: все!»

Десять пальцев разинулись:

— «Мы возьмем власть!»—десять пальцев зажалися.

— «Ясно?»

И кепку надвинувши, руку засунув в карман, Никанора Иваныча—носом на землю с луны он швырнул; и—пошел с перевальцем, обидным таким: под ворота.

Тут щелкнул подъезд: точно мыщерка,—

— черная дамочка —

— с плоским листом, как у кобры, конечности, а не с полями увенчанной черным пером черной шляпы, закрыв лицо муфточкой—

— вылизнула,—

— как змея,—

— на змеящемся

хвостике,—а не на шлейфе.

— «Куда, Леомиюрочка?»

Бледный, как мел, подбородок ее показал—лишь улыбку: безглазую; черным пером черной шляпы боднула, как козочка: преграциозно:

— «Не спрашивайте!»

— «К офицеру»

— как эхо,—

— в мозгу Никанора мелькнула от-

куда-то шальная мысль.

— «Муж не знает, куда».

До нес ль?

Трески трестон о тресты: под панцырем цифр; мир—растрещина фронта, где армии,—

— черни железного шлема,—

— ормора:

— в рой хлора;

где дождиком бомб бьет в броню поездов бомбомет; и где в стали корсета одета—планета!

Терентий же Тителев, встав с Фелефэковой лысины, перетирая сухие ладошки, все это—в бараний рог выгнет! Как если б из серого неба над серою Сретенкой, ревом моторов и лаем трамваев, отсыявши небо, повесилась над дымовую трубою бычья морда—

— и бзыком, и мыком!

Не вынесши ассоциации, бросился брат Никанор через двор, за забор; но и тот дом дубовый, и этот дом, с розовым колером, угол забора и купол собора, и трубы, и улицы с окнами, стеклами, с каменной башней,—вовсе не то, чем молчали, а то, чем вскричали в распухшие уши:

— «Мы рушимся»,—

— rrrrruuu:—

— это «Скорая помощь»

проехала...

Поздно спасать!

Да и нечего: все—развалилось.

Серафима Сергеевна Селеги-Седликина бедно жила; и ходила на службу: в лечебницу; ростом—малютка; овальное личико—беленькое, с проступающим еле румянцем: цвет персиков!

Ветер—порывистый, шквалистый, шаткий; калоши, зонтик,—пора! И—всесетя: кой-как, через двор, под воротами,—одолевать серокарий забор, закричавший под ветром, под палевый домик; ух—рвет! Покраснел кончик носа! Винтятся, с бумажкою свитыши пыли играют, ввиваясь за-угол; от трех колов—рвет рогожу под домом, где писарь лентяит в пустом помещении (часть разошлась по Москве, чтоб висеть на подножках трамвая).

Вот крепкий, как крепость, забор: перезубренный; гнется береза в окрапе коричневосером: и—зашебуршало, как стая мышей из бумаги; в воротах сидит инвалид, в прыщах красных: Пупричных: глядит в глубину разметенной дорожки, с которой заваялись с красной гирляндой летающих листьев—и шали, и полы пальто; лица—краснокоричневые (с ветра); юбчонку охватывает вертохват.

Но яснее, под небо встав, яркий жарч кровель и крыш; из расхлестанных веток является розовобелый подъезд; два окна; вот—под ветви уныривают; но расхлещутся ветви,—и вновь выплывает карниз с подоконным фронтоном; туда Аведик Дереникович Тер-Препопанц поведет, точно стадо баранов, больных интеллектом людей с исключительно нервными лицами, с жестом, в котором—подчеркнутость брошенной позы.

Сюда приходя, волновалась; там, за воротами,—точно в водянке оплывшие рожи коптителей Девкиного переулка; здесь—мысль в напряжении; здесь—острота, пылкость, смысл!

Но не то полагал Пятифифрев:

— «И бродят, и бродят!»

Пупричных, привстав, и плечо на костыль положивши, отвечивал:

— «От мозголома... А «тот»,—и он показал на мужчину с заколотым розовым галстуком, в фетровой шляпе и в сером пальто с отворотами,—«тутовый он?»

— «Пертопаткин,—родными посажен за то, что войну отрицает!»

— «Резонно»—Пупричных насытился зрелищем; и под воротами отколтыхал костылем.

— «Фатализм—очень вредное верозанье, развращающее наши

нравы, как и шовинизм, наступательный патриотизм»—приставал Пертопаткин, Кондратий Петрович, к Пэпэш-Довлиашу.

Пэпэш-Довлиаш, Николай Николаич, профессор, толстяк, психиатр, вид имел добродушного лоса; подрагивая и как будто паркет растирая ногою, с приплясочкой, вытянув челюсть и губы напучив, как для поцелуя,—спросил Пертопаткина.

— «Как самочувствие?»

— «Прямо божественное!»

Николай Николаич рукой с карандашиком, глазками и котелком—к Препопанцу:

— «Клистир ему ставили?.. Ставьте!..»—и прочь отбежал, чтобы оцепенеть: глаз—бараний, пустой.

Аведик Дереникович знал: диагноз устанавливает; интуиция действует с молниеносною силой; почтенное имя, профессор:

— «Плох, плох—гулэ ву?»<sup>1</sup>

Поговорку, которой кончались прогнозы,—«плет'иль<sup>2</sup>, «гулэ ву»—говорил ассистенту, больному, себе самому, задрожавши игриво ногою и спрятавши руку в карман; «гулэ ву»—означало: составлен научный прогноз; и теперь место есть для стечения мыслей игривых о ближнем, который и есть—«гулэ ву», потому что нормальная мысль пациента и так, вообще, человека,—блудлива и ветрена. Сам Николай Николаич глумился над ближним, «Тонкиннуаз»<sup>3</sup> распевая и ровню в двенадцать часов по носам с Львом Михайловичем воскресая в Кружке, где в железку он резался с князем Сумбатовым-Южными.

Вставив клистир в Пертопаткина, целился он: на кого бы напасть.

— «Вышел за карасями: удить»—говорил Пятифифрев,—«червя им покажет; разинут рты, —цап: и сидят с пузырем на башке они».

— «Каждый—в позиции»:—мыслил Пупричных—«тот—козырем ходит, а этот сидит с пузырем!»

Николай Николаич—нацелясь на бледного юношу, из-за куста к нему—ястребом:

— «Вы, Болеслав Пантукал, —кто же собственно?»

— «Я—конехвост!»

<sup>1</sup> Вместо «вуле ву» — по смыслу: не угодно ли.

<sup>2</sup> В точном переводе: привится ли вам; в обычном употреблении — во-просительное «что» с оттенком «не угодно ли», «извольте видеть».

<sup>3</sup> Французская шансонетка, бывшая в моде в начале столетия

Николай Николаич—трусцою, трусцой: в карекрасные листья. Огромное поле для всяких разглядов; к примеру: Хампауэр старик, в седилах и в халате: крещеный еврей, состоятельный, но—паралитик, влачащийся на костылях, с фронтовой полосы по доносу захваченный, чуть не повешенный,—явно рехнулся; с усилием перевезли его дети в Москву; ходит здесь; проповедует—свое пришествие.

— «Нам хорошо с вами, батюшка: мир-то—во зле!»

Так он овощь откусывая, приговаривал; стибривая несъедобные овощи, их называл «мандрагорами».

— «Бросьте: опять с мандрагором»—его урезонивали.

С сожалением редьку гнилую бросал.

Серафима Сергеевна себе улыбалась: осмысленность службы в сравнении с тем, что свершалось за розовым этим забором,—вставала; там—злю; пробежала в подъезд, коридорами, за нарукавничком, за белым фартучком; звали больные снегуркой ее; как повяжется, так день—взапых; всюду бегают: чистые скатерти стелит; и знает, что можно окурочку просыпать на стол,—не на скатерть: конфузю; и делалось как-то за скатертью крупное дело. Больные себя не засаривали.

## ОН ГУБАМИ ПИСАЛ, КАК ГУБЕРНИИ

Дым из-за труб; разъяснение, растменье редующее, синсизис, голубосизис; встали малиновые и оранжевокарные пятна деревьев, не сваявших листья; дом розовый белоколонным подъездом и белою лепкой гирлянд поднимал расширения окон, как очи, вперенные в голубоватый прозор.

Распахнулся оконный квадрат: чье жилье? Штора, веко,—открылась; но—мгла из-за шторы глядела; и кто-то к окну подошел, как зрачок, появившийся в глазе; старик коренастый—в халате: фон—голубосерый, с оранжевокарею, с кубовою игрой пятен; он кистью играл; а на глазе—квадратец заплаты безглазился.

Каждое утро—окно открывалось; и в нем появлялся старик этот пестрый: на черной заплате вселенной стоять.

А позднее больные валили в открытые двери подъезда; их вел Аведик Дереникович Тер-Препюпанц, ординатор и доктор по первым болезням; с ним шли: Плечепляткин, студент, сестра в белом и унтер в отставке, седой Пятифифрев, с седым инвалидом, с Пупричных,—влачащихся на костылях.

Новички под окном—старiku и халату дивились: расспрашивали:

— «Кто такой?»

— «Он—профессор своей знаменитости: глаз ему жгли, колодили; ум выколупали!»

Неприятный толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, паранюк,—учил их:

— «Сиди под кустом, за листом: не стучи, гром убьет!»

— «Да смирней он теленка!»

— «А били за что?»

— «За открытие видов».

Толстяк, шут гороховый, рыло в пуху, паранюк,—подмигивал:

— «Видывал виды!»

— «Кто бил?»

Пятифифрев:

— «Остались пустые штаны; показали—на труп: в живодерне...»

— «Труп был?»

— «А не брюки же... Чьи они?.. Воздух в штаны не залезет...»

И Тер-Препюпанц, это слыша, поежился:

— «Глуп Пятифифрев!»

Раз он Николай Николаевичу про нелепые сплетни скажи; Николай Николаевич слушал протянутой челюстью, вытянутой за тугой воротник, опущенной проседой бородкой, напучивши губы, как для поцелуя; лишь глазки, присевшие в белых, безбровых мясах, стали—тигры малайские, взял котелок, трость; и—в сад; к Пятифифреву:

— «Клади—метлу, бляху, фартук: готов? И туда»,—показал головою на улицу—там: гуля ву?»

Ему в ноги старик:

— «Ни-ни-ни, чтобы я!»

— «То-то же...»

А больные—подглядывали: за профессором.

— «Дурень?»

— «С большим рассуждением, а—без головы: голова только гуловнице занимает».

— «Она—отрастет: наживная...»

Матвей Несотвеев, солдат,—объяснял:

— «Стоголовую, брат, головою мозгует он: что ему там—без одиной голыжи, без друтой: как губерния, пишет словами!»

Солдаты, Пупричных, толстоцев любили больного; его называли: «профессор Иван», «брат Иван»; свой, родной.  
Значит,—битый!

Став в пару, и парой сходя по ступенькам подъезда, старик одюглазый, распятив венец седины надо лбищем, ловящим морщинами мысль, точно муху, поднявши щетину усов,—точно граблями, ими кидался; и был—вне себя; разрезалку держал он прижатой к груди, как державу.

И шел, как на бой:

— «В корне взять, человек!»—поднимал разрезалку.

— «Есть мера вещей!»

Рассекал разрезалкою воздух, плеснув пестроперым халатищем, где разбросалось по голубому, пожухлому полю столпление пятен—оранжевых, кубовых, вишневых и терракотовых; пятна, схватясь, уходили в налет белосерый: в износ.

А с профессором шли: Николай Галзаков и Матвей Несотвеев; все прочие пилили глаз—на изъятие красное, скрытое черной заплатаю; глаз же другой,—за тронх: огонь выдохнув, сжался, став точкою, искрой; пузырь из плевры—человеческий глаз; так откуда же—огненный фейерверк?

Он говорил—вне себя:

— «На носу неприятель: сидит!»

Николай Галзаков и Матвей Несотвеев—ему:

— «То есть,—в точку: у нас на носу!.. Как возьмут Могилев,—нам могила».

— «Пустая!..»

А в спину им:

— «Волосы дыбом!..»

— «Ум дыбом: от этого—волосы дыбом!..»

Старик, лудяв нос, как осетрий (ноздрею жару выдыхал), на кустарники красные и рогозоргие, пяткой своей верещал, в сухолыстьях,—шел.

## СКВОЗНОЙ СВЕТ

Лучезарно встал сад пурпуреющими, просвещенными кленами: в неизъяснимое небо; боярышник яростный—рой леопардовых пятен; лилово-вишневый—вишневый лист до... золотистого воздуха: яснился, слетом ложась под зеленое золото бледных берез, где

оттенками медными ясени нежили глаз цветом спелого персика, перерождаясь в карь гари.

Присев к Пантукану с охапкою листьев сухих, Серафима Сергеевна учила разглядывать колеры:

— «Ясени—красные; вишня—сквозной перелив; посмотрите-ка, что за листок? Но в два дня облетит: колорит; как бумажка сгорающая,—грязью станет».

В сиреневосером своем пальтеце, в разлетевшейся шали, книсьелносиреновой, пляшущей в перемельканиях листьев, вся милый задор,—улыбалась; и—сравнивала:

— «Вот—боярышники; лист,—смотрите-ка,—вычерчен точно и прочно; крап—красный, в коричнево-черном и в темно-зеленом, бледнеющем до перламутрового; как полотна Грюневальда, немецкого мастера! Это ж перловое поле в коричневом мраке—Рембрант!»—отдала она от себя сухой лист; и, склоняясь головкой, разглядывала:

— «Настоящее масло! Вот яшень—сангвина, а коли желаете без галлерей изучить итальянцев, то, миленький, глазом улавливайте—земляничные листики: легкие листики эти даны нам—в сквозном рафаэлевском свете!»

В глазах закатившихся—только белки от разгляда: себя же—в себе; диагноз устанавливала, на каких колоритах лечить этот глаз, чтобы глаз лечил душу.

— «Романтика: без воли к мысли»,—шутил Николай Николаич,—«вполне безобидная глупость... Работает, больных не портит: плэ т'иль?»

Ошибался: раскал добеза интеллекта влагала в сознание: играми в листики; личико с мило малиновым ротиком, с очень задорным и розовым носиком тихо скосила; глаза—лазулитами стали:

— «И вот: собирайте, разглядывайте; колориты, в глаза излитые, из глаз разлетаются: наукой видеть, чтобы без истории живописи самому узнавать, что важнее, чтобы точно понять, для чего надо—знать!»

Не кругла, но не нитка: овальное личико; носик не выделялся: произведение Праксителя,—правильный, легкий, прямой; прямою дышала.

Из зелени светлой ожелченных светлых деревьев, в белосером и в белосеребряном небе—день делался вечером; листьев набухшая пуча: в набухнувших кучах; вон—дерево темно-зеленое, с отсверком, серосеребряным, бросило желтооливковый плац своей тени на вы-



ступ деревьев, ярчеющий, солнечно желтый; за ним—уже розово-ржавое дерево: в сером тумане вставало; оно стало розовым, как запарело от пруда: едва.

## НОМЕР СЕМЬ

Серафима Сергеевна выслушивала Никанора Ивановича; он прикуривал; наискось виделась комната: склянки, пробирки, пипетки, анализы, записи; кто-то, весь в белом, над банкою с «acidum»<sup>1</sup>; даже—«сепела»<sup>2</sup>: из шкафчиков надписи.

— «Что ему нужно? Да комната! Я—нужен: с комнатой; что? Да какая-нибудь обстановка; уход нужен; нужна сестра—что: чч-то?»

Тут улыбнулся, пленительно, севши на стуле верхом, снял очки, чтоб очковой спицею в ухе копать; казался усталым и вдруг без очков постаревшим архаровцем; вид—протестанта: в очках:

— «Согласились бы вы—за приличную мзду состоять: при Иване, при брате?»

Она—занялась.

Крик:

— «Хампауэр!»

— «Простите...»

На крик—вон из комнаты.

— «Лампу-то, лампу зачем ему дали!»

Дверь—настежь; через коридор; там из двери открывшейся—черными хлопьями красный столб ламповой копоти бил; в центре очень неясно стоял кто-то в тихом пожаре, кого унимали, и кто объяснял:

— «Этот остров впал в грех: я его наказал извержением!»

Выяснилось: население острова, или стола,—муравьи: в мешке с сахаром.

Семь номеров на ее попеченья: хлопот-то,—хлопот!

Серафима Сергеевна развесила висмут; с лекарствами стол—в световых косяках; ей же в спину глядел коридор; и там слышалось, как выключатели щелкали; в ламповых стеклах выскакивал белый, холодный, отчетливый блеск,—не огонь.

<sup>1</sup> Кислота.

<sup>2</sup> Яды.

Порошок рассыпала, вздрогнув; и белище что-то вдруг выступило на лице:

— «Плечепляткин,—меня испугали вы»—личико стало котеночком.

— «Вас—Пантукан зовет: лист он бумаги размазал».

Невидная глазу улыбка:

— «Размазывал прежде он ужасы: красками; и оттого—ночь не спал; я просила его счернить ночь простой тушью, чтоб глаз успокоился...»

Ставши улыбкой самой,—к Пантукану пошла: топоточком.

Предметы прозрачные глазу не видятся; и Серафима не виделась: вовсе: следила за жестом руки, зачерняющей лист:

— «Тушевание—важное дело!»

Нельзя было прямо понять: красота от добра, или добро красотою рождалось; но то и другое—путем становилось путем фельдшерницы.

Шурк, топоты: ближе и ближе.

И—видели: по коридорам, ломаясь броской походкой, бежал Николай Николаич за пузом своим; за ним—пять ассистентов, подвязанных фартуками, со всех ног удирали; влетев, Серафиму Сергеевну,—застигли врасплох.

— «А, рисунки?» гнусил Николай Николаич—«сердечность—за счет интеллекта?»

— «Так—клизму: научное знание, бром, чистый воздух, физический труд восстановят ему друа де л'оми»<sup>1</sup>—напевал Николай Николаич; и пяткою терся о пол:

— «Гулэ ву?»

Подливав приговор, имел вид добродушного лося.

Бедром и игрою ноги нервно вздрагивая, точно кожей лошади, сгоняющая оводов,—припустился бежать; и все пять ассистентов, как оводы, с жуем и с шуршем,—за ним припустились: бежать и влетать в номера—

— номер два,

— номер три!

— «Ну теперь, Пантукан,—вы уснете!»

В своих нарукавничках, в фартушке беленьком, малой малюткою—светлым, пустым коридором пошла, где направо, налево захлопнули жизни средь стен сероватых (с каемкою синей), про-

<sup>1</sup> Права человека.

странство пласталось планиметрически; знала, что плющились люди, воссея на постели; я плющились рядом халаты их; днями бродила в мертвецкой: свершать воскресенье.

Не виделось, что, интеллектом и волей владея, в них делалась вовсе невидимой: вот —

- номер пять,
- номер шесть,
- номер семь!

Это — номер профессора.



ГЛАВА ВТОРАЯ

## ПУБЛИЦИСТ ИЗ ПАРИЖА

ТЕЛЯТИНА, МЕЛДОМЕДОН, СЕРБОРЕЗОВА!

Ах, как пышнели салоны московские, где бледнотелые, но губоцветные дамы являлись взбеленными, как никогда, обвисая волнением кружев, в нисколках сверкающих, или цветясь горлицевыми шляпами; и, как шампанское, пенилась речь «либеральных» военных сквозь залп постановочный из батарей Таирова: яркой Петрушкой; в партерах сидели военные эти, ведомые в бой Зоей Стрюти, артисткою (Ольгою Юльевной Живолгой).

Армия — отвоевала.

Земгор — воевал — дернул армию мальчишек, чистеньких, блестящих — в прифронтовой полосе, куда ездили дамы под видом раздачи набрюшников — воинам нашим.

И невразумительно, пусто, в белясые лысы просторов означился путь наших маршевых рот. до окопов, где вшива, не зная, что делать. По знаку ж руки от Мясницкой и мимо Арбата фырчала машина, несущая Усова, Павла Сергеевича к... Константинополю: сам генерал Буцаков не поехал туда, потому что от фронта был

явный попят: на Москву; и—попят на гуляки веселые Митеньки-свет-Рубинштейна.

Сгибалась под бременем всех поражений Москва; загрузела она шаркатней тротуаров, но лезла с Мясницкой в приветствие: ликом великого Львова; и—криком афиш:

«Шестневский. Публичная лекция. «Шесть дней на фронте!»—участвуют в прениях: Каперснев, Нил Воркопчи, Серборёзова, Мелдомедон...»

— «Примадура!»—

— «Из Эстремадуры!»—

— «Труа па!»

Тарантелла из-под кастаньет.

«Вундеркинд! Сима Гузик! Рояль фирмы «Донперк...»

Лет десять в те числа концерт объявлял.

Крик афиш, семицветие света!

Москва семихолмие!

— «Фрол Детородство: Плуги, сохи, ломы, мотыки, железные ведра!»—на синем на всем.

И—«Какухо: Бюро похоронных процессий»—серебряным. в черном.

«Синебов: Телятина»—с изображением быка.—«Нафталишник Кондитер» и «Слишкэс: Настройщик»—и «Гомеопат: Клеопат» и «Оптическое заведение Шмуля Леровича».

Вывески!

Группа французских туристов приехала нас изучать; молодежь: Николя Колэнб, Пьер Бэдрэ, Поль Петрбэль, Онорэ Провансаль, Антуан де-Дантин, Жан Эдмон Санжюпён и Диди Лафурнэг; Катаками Нобури, японский профессор, сидел: и учал символизм; Суроварди, мечтательный индус, гандист, приезжал, чтоб помочь Станиславскому.

Лорд...

— Ровоам Абрагам —

— соби́рался пожаловать к нам!

## ЦУПУРҰХНУЛ

С конюшнею каменной, с дворничкой, с погребом,—не прилипающий к семизэтажному дому, но скромным достоинством двух этажей приседающий там, за литую решеткою, перевисающий ка-

риатидами, темнооливковый, с вязью пальмет «жобняк: в переулке, в Леонтьевском!

Два исполина подперли локтями два выступа с ясно зеркальными стеклами; глаз голубой из-за кружева меланхолически смотрит оттуда на марево мимолетного мира; блистает литая, стальная доска:—

— «Ташесий!»

Там асфальтовый джорик, где конь зноуенный и бледножелезистый,—с медным отливом, с дергавой губой и с поздрею, раздужой на хлеб,—удила опеченные перья ртзжываает, ланым оком косяся на улицу, на подъезжающий быстро карет черполаковый роф.

Котелок, иль цилиндр из квадратного дверца выскакивал и выволакивал веющих перьями дам: прямо в двери подъезда; глядели мальцы, Петрунки и Кокёшки, дивясь: на пачьто Петрункевича, на котелочек Кокёшкина.

Над вестибюлем профессор Цецесов, пыхтя, волючится: под бюстом; Пэлэш-Довляш, -психиатр и профессор,—проходит—в простертые бархаты барсовых шкур.

Тертий Чечернев,—

— соединение умственных смесей  
в процентах —

из Розанова—двадцать во-  
семь, из Ницше—пятнадцать; и—десять  
из Шеллинга (прочие тридцать—из «Утра  
Росси и»); вполне европейский масштаб —

поднялся.

Худорусев: он славянофильский журнал издает; и—другой, музыкальный, сливая Сазарина и Хомякова со Скрябиным и Дебюсси: истерическая патриотика, лю-артистическая библиотека; шелкает с фронта: при клюкве и при позументах серебряных.

Доктор Кишечников: —

— водолечением лечит, а лечится сам —  
настроеньем; собачник, охотник; те-  
перь—гидропат: скоро, волей судь-  
бы —

— генерал-губернатор Москвы!

Он—прошел!

Академик ста лет, знаменитость космическая, Цупурұхнул,—несет глухоту, багаж знания.



Юнец, земгусар, Гога Боско, серебряной шпорою щелкает пред Доротеей Иоанновной Шни: платье — кремовый фон; в нем — пляс палевых пятен, прохваченный дикою сизью.

Шлеп, шопоты, шварк, шепелястящий странными смыслами.

Голос хозяйки:

— «Выиманье, — мадам и мэсье!»

Арфу вынесли: ставят.

Почтенна, как «Русские ведомости», к этой арфе выходит профессор, мадам Айхенвальд, Палэндикэ, в смесь сизых и чернозеленых тонов и в них тонущих пятен: над чернолиловым ковром.

И — подюсики с чашками, бирюзоватыми, тихо носимыми (два белобаких лакея).

И Питер Бибаго — притронулся к чашке; какая-то дама дотронулась всею до — я не знаю чего.

Кто-то робкий, в визитке бесхвостой, визиткой обтянутый, тихо вошел: прошел в угол.

### НА ФРОНТ: В ГОРИЗОНТ!

Пред столиком, крытым рыжавою скатертью, в клетчатой паре (кофейная клетка) стоял психиатр, Николай Николаич Пэпэш-Довлиаш, озираясь на карие полки с кирпичною книгой, и желтую кожу с дюшеса счищал; он двум юношам, бросившим фронт, Казе Ляхтичу и Броне Бленди, горчайшими, правокадетскими правдами сыпал, — в обстанин кресел кирпичного цвета, дивана, такого же цвета и полок с такого же цвета подобранными переплетами.

Пухвиль из кресла ему поговоркой, его же, с которой он в «Баре-Пэаре» являлся:

— «Вулэ ву гулэ?»

Николай Николаевич выставил нос из-за груди с обиженным фырком:

— «Дела-дела» — ножик фруктовый приставил он к шее:

— «Тут вот!»

И усы стал обсасывать, видя, что «князь» с поновесием, с ласкою выпуклых и водянистых прищуренных глаз приближался; хозяйка, две дамы — за «князем».

«Князь» в мягкие руки взял руку Пэпэш-Довлиаша и с долгою задержкою жал эту руку, — руками, — стараясь, как в душу проникнуть, но... но... не глазами, которыми щупал он полки за лысиной; и рассыпался в почтительной просьбе: хотелось бы «князю»



своими глазами увидеть то дело, которым гордилась Россия — лечебницу.

Но Николай Николаич, чтобы не казаться польщенным, гримасочкою кисло-сладкою:

— «Милости просим!»

И тотчас с подчеркнутою груботцею, которой так действовал он на больных, быстро выкатил тусклый, бараний свой глаз и, уставившись им в полновесного и белотелого «князя», подсвистывал и подтопывал толстою ножкою.

— «Вы — что?»

— «На фронт?»

— «Гулé ву!»

«Князь» же, выпростав руку свою и убрав комплимент, посмотрел на него синевой под глазами, вперяясь в огромные функции руководимого им механизма; и пафос дистанции вырос. Пэлэш-Довлиаш, подавившийся грушей до слез, ощутил с перхотой неуместность вопроса о фронте, пред этим вперением глаз мимо кожаных кресел рыжего, ржавого цвета и мимо обоев, тоже ржаво-рыжего цвета, —

— во фронт, —

— в горизонт —

— над волной желтоватого газа, над черным перекием шлефов железных, над ушами бухавших пушек, над. . . —

— И Николай Николаич Пэлэш-Довлиаш, подобравшись пред строгим достоинством этой личности — «лик», — взяв нежно за пуговицу «лик», стал выкладывать плод размышлений своих о войне.

«Князь» же, давши урок поведения и спрятав дистанцию: раз о больнице, которой гордится Россия, в которой теперь восстанавливает свои силы профессор Коробкин, то с паузой долгою, после которой профессор, трудами которого тоже гордится Россия:

— «Он — вверен вам!»

И Николай Николаич, московский массон, ощутил в оконечности пальцев, — знакомый, особый нажим: нажим... лондонский.

— «Можно надеяться?»

И... Николай Николаич... почтенное имя, как пойманный школьник, — с протянутой челюстью, выпучив губы, припал всей проседой бородкою, точно девотка на грудь исповедника, к белым крах-

излам и выложил принцип лечения: на основании психологического силуэта, или данных вопросов — вопросов...

— «Болезнь все же есть; но... физический труд, чистый воздух, бром, клизма и...»

«Князь», не услышав ответа, — с хозяйкой, хозяином, с дамами, — твердо прошел, как сквозь стены — в историю —

— мимо Москвы,

мимо Минска и Пинска —

— на фронт,

— в горизонт, —

— попирая ковер, на котором скрещались темные и серосизые полосы в клетчатые, темносизые шашки.

Пэлэш дожирает свою грушу, как тигр полосатый: с обиженным видом; но тут Цупурухнул к нему подошел с анекдотом: не с мыслью, которою не удоставил молокососов седых; анекдот повторяли в Москве, Петербурге, Стокгольме и Праге; и даже он был напечатан Корнеем Чуковским в известнейшей книге. «Великие в малом», в главе «Экикики у старцев».

Как столб телеграфный гудел Цупурухнул; но зло приседали за блеском очкоз желтоватые глазки Пэлэша.

## В ВИДУ ЭТИХ СЛУХОВ

Сюртук распашной.

Кто такой? Куланской

Со вплеченной большой головой; лоб — напукиш, излысый; в очках роговых, протарашенных борзо и бодро

Такой молодой математик.

Мадам Ташесю:

— «Что, зачем, почему», вопрошала глазами мосье Ташесю.

— «Ах, — почему знаю я», ей ответили издали плечи мосье, — потому что: с той самою мягкою задержкою князя, придержал Куланского — руками за руку! И несколько брошенных генером фраз: о тяжелых годах: об ученых трудах, о научных потерях, о случае зверском с известным профессором, о неизвестных интригах, о методах, тоже известных, в известной лечебнице, о перспективах здоровья, но лишь при условии полного отдыха, и не депрессии порабощения воли, гипноза, который порой практикуется даже по-

чтением психиатрии; ими гордятся Раксия; но методы есть и юные

И вдруг,—уведя Куланского за складки драпри:

— «Ввиду слухов, досаждающих проникших уже в иностранную прессу,—позвольте же мне...» с мягкой задержкой. Это вопрос деликатный, но—ухо из складок драпри!

«В международном масштабе... Военное время... «Земгор»... И политика!» —

— «Что?»

— «О политике!»

— «Да: Николай Николаич... почтенное имя... Но есть увлечения; есть заблуждения» —

— «О чем он?»

— «Певички».

— «Ввиду этих слухов»...

И, не дорасслушавши, выразила ухвертка дама глазами тяжелый вопрос свой:

— «К чему?»

— «Да отстаньте»,—ответили издали плечи.

Расскажут из верных источников, что Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш, увлеченный каскадной певицею, Эммой Экземой, бросает лечебницу и что Земгор расширяет лечебницу эту

«Мясницкая» выразила пожеланье: с осмотром лечебницы соединить и визит, нанесенный больному профессору; кстати: составим свое представление о твердости памяти; кстати: составим о ходе болезни отчетец со слов Синепапича, тоже профессора нервных болезней; условлено: вместе явиться, втроем, с Куланским, с Синепапичем—

— «и а м!»

Кому—«и а м»?

Куланскому?

Он—преподаватель: не «мы».

Синепапичу?

Что может знать Синепапич? Оттенки психозов, маний

«Князю»?

Значит.

Рука с той дистанцией, с тою душой, от которой сходили с ума, поднялась, и оправила галстух сиреневый; четкий пробор жидких, добела бледных волос и овал бороды, и глаза, голубые

и выпуклые, как стекло, поднялись надо всем; и летели уже—и горизонты—

истории..

Мимо прожекторов, оркестров, танцев, и мимо молочного цвета борзой, поспешно расстегнутой, он по коврам за стеклянной руладою Лядова шел с выражением царственным—

— там —

— в веер дам —

— благодарственный!

## ГУЗИК, ПАН ЯН

Адвокат Пироковский пленил перспективами: слажено, сглажено, схвастано, спластно, намылюковено,—запротоколено, при резолюции: мы —протестуем; и мы умоляем,—всеподданнейше: Львова, русского,—дать; и убрать лемца, —Штурмера.

Подписи: —

— фон Клаккенклипс, Пудопадэ, Клопакер, Маврулия Бовринчинсинчик, Амалия Винзельт, Пепардина, Плигезев, Лев Подподольник, Гортензия де-Дуро-приче, Жевало-Бывало, Жижан Дошан (Ян), Педерастов (Иван).

Сели: слушали: и «вундеркинд», Сима Гузик сидел: слушал,—тоже...

Щелк, дзан: капитан Пшевжепанский, пан Ян!

Эксельбантом блистает и шпорою цокает, в вечной мазурке,—летит кенгуровой походочкой; ротик, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зажаться,—зажался: перед патронессой, хозяйкою, в голубопепельном платье, голубоседою, она, не прервав разговора с Пуклатичем, руку ему —с перепудром, с курсивом ресниц:

— «Ну?»

— «И?»

— «Мы?»

— «И—мы: заняты?»

Тут же лакею, с курсивами, с теми же:

— «Боде-Фетянову чаю».

Лакей полетел.

На курсив отзываясь окаменением мгновенным весьма погруженного в «весьма дела» человека,—пан Ян «откурсивил».

Отмечено: тем же куржикам рожниц.  
И немедленно к Павлу Сергеевичу Усову взглядом, лениво приуроченным к мебели.

— «Ну?»

— Мы начнем?»

Патресса, она- интонировала без единого слова, лорнеткой, губами, глазами, курсивами.

А капитан Пшевжапанский курсировал: курсами, ставя брам-сели, снимая марсели: на всех парусах отлетел, рот, готовый все-гда смехотнуть, но и скорбно зажаться, едва смехотнул, про себя, перемигиваясь на иные какие-то курсы; он свой оборонцам и свой пораженцам, и красненький с присморком носик, и тихие дихики, глазки, с думцами врунцы, с распутищем путинцы, с Душеем Черевининой и с Мунеем Головининой!

И «жеренка» в марте уже похлопочет: пристроит при Керенском: корень в Корнилове пустит в иколе, чтоб в августе—выдернуть;—

— нынче борода — «а ля Никола-дэ»; под крепкою кепкою станет она

— «Ильичёвкою».

И, коммунист,—завялствует!

Павел Сергеевич Усов, профессор, принявший в объятья последние вздохи Толстого, встал в синезеленое поле обоев с чернотными выливнями, точно волн, в ночь распластанных, чтобы о противопогазах докладывать.

Он — доложил.

И теперь «вундеркинд», Сима Гузик, детина со стажем (лет пять как он бреется), — встал; Хesia, сестра его, — кременчугское диво, покрытое волосом, дядя же Осип Жозеф Гужеро: Канн, «Кредит Лионэ»; два кузена: хохот: Яша Пэхот — в «Берлинер Музик-Фейершпиль» Гельбше, а Пэх, Сашика Пэх, дон Пэхалесом сделался (Лос Анжелос): он женился на дочери донна Мамиво, из Молтовидео — плантации пальм, знанасов на острове Падре-Психос!

С видом гранда, взвив волосы над клавишментом, скатился руладой под складки портьер сизоватых со вяпанным бледномалиновым бархатом бабочек.

## ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Шаркает шаг.

Это комнату

пересекает

Велес-Нелешевич!

Отдавши лакею портфель, котелок, из портьер, — сквозь портьеры кидается черным квадратом за скачущими, карекрасными взглядами; физика, — вовсе не психика: бычья, надутая жилами, шея; и не поворот головы геометрия корпуса, справа налево, на тоненьких ножках, со штрипками, мимо расблещенных лаков: под зеленоватое зеркало.

В зеркале: —

красный квадрат

— подбородок!

Злы щелки глазные: с укусами; три поперечных морщинки щетиной свиной заросли; и визитка не наших фасонов; и брюки — не наших фасонов, а лондонских.

Щелк каблучков лакированных — в зеленоватое зеркало.

Свертом безлобо, безглазо, бросается в черную комнату, точно в спокойное кресло из черного дерева.

С кресла Пампесиас, граф Небеслинский-Монолиус, в недра московские брошенный беженец, — к Петеру Бакену:

— «Кто он?»

Развалина и фармазонистый нос, камергер, Петер Бакен, остзейский помещик. — ему:

— «Гм!»

Пустивши дымочек:

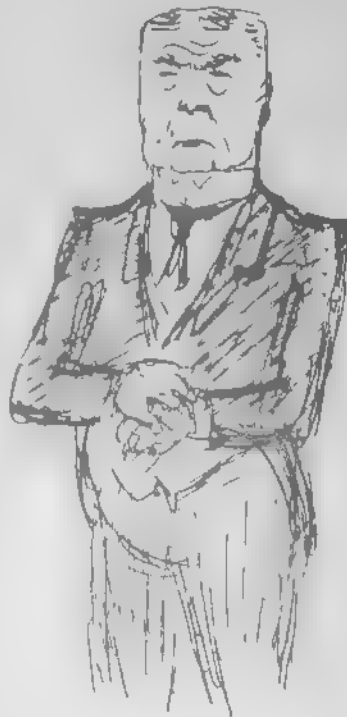
— «Звено, так сказать: меж Земгором, Булдофером и Булдуковыми».

«Так значит — со всяческой властью?»

— «Пока еще «при».

— «Я — не понимаю вас».

— «Вы поглядите на «князя»: не личность, а «лик»; и взгляните на





этого: «бык», а не «лик»; ангеличие «князя» покоится, все,—на «быках»; «князь» обсаживает, загибая мизинчик, куриную косточку; функция этого—резать цыплят.

— «Так».

Памлеснас, граф Небеслинский-Монолиус, в черный атлас вырезного, широкого кресла, в окрасы коричнево-белых и розовых лапок откинулся—над синевледною, с просинью, скатертью.

Зашепелявили фразами, брошенными из-за пепельниц в цвета почтового искрящийся лак этажерочек; пепельницы—из оливково-желтых камней, запевающих цвета небесного пятнами; волны обойных полос, синусоид, свиваемых кольцами,—сизооливковых с синезелеными—в отсвете фосфора. Шопоты. Шварк шепелестящий.

Шаркает геометрически—черный квадрат; глазки, клопики, карие.

## О, ДОН МАМАЗО!

Какие-то кляклые вяплины пальцев—по клавишам: в смеси тонов,—темносинего с темнозеленым.

А там,—из угла:

— «Ориентация, здравствуйте!»

— «Две»—лопнул, точно струна клавишмента, Велес-Непещевич.

И—вздрогнула там онемелая дамочка, вцепленная в фон обой: плачем клавишей.

— «Две!..»

— «?»

— «Раз—из Лондона; два—из Парижа».

И—в ухо фальшивым фаготом он:

— «В Лондоне—против Пукнирки... Этот Коробкин Пукнирке сбыл изобретение; хитрый кингалец пропал».

— «Уговор?»

— «Может быть»,—громко лопнул Велес-Непещевич: в плач клавишей.

Из меланхолии темных ковров обессиленно встал меломан:

— «Тсс!»

Велес-Непещевич подшаркнул:

— «Пардон!»

В ухо: сипом:

— «Приличная форма надзора—лечебница; так полагает Бул-

дойер и лорд Рододордер; а лорд Ровоам Абрагам, массон лондонский, верит Пэпэшу, массону московскому».

— «Вздор!»

Непещевич откинулся, вышарнил локтем, безглазо вперяся красною физикой:

— «Вздоры—законы истории».

— «То же,—«история» вспыхнуло гневом в душе Пшевжеланского, но он увидел: морщинки, три, прокопошились иронией:

— «Сам ты «с историей»».

И капитан Пшевжеланский глаза опустил на истории наших позоров он строил карьеру.

— «Так вот оно как...»

— «Оно именно—так».

Сверт: и—красный квадрат, подбородок, всем корпусом—

—черным квадратом

—ударился в Гузика:

— «Вздор этот—тоже «с историей»: лорд Рододордер построил свое заключение о том, что в Мельбурне Друа Домарденом себя называл Домардэн—на досье дон Мамазо, а «дон» этот—зять «дон» Пэхалеса,—попросту Пэха, двоюродного брата»,—на Гузика—«брата берлинского Пэхова; Гузик «история»: лапу Берлина и лапу Парижа связал музыкальными лапками... Ишь как!»—и ухом наставился: «О, дон Мамазо: лалала... лалалала,—юркая ножкою, он подпевал.

Вдруг себя оборвал:

— «Потому что, Жозеф Гужерд, ориентация Пуанкаре-Панлеве,—общий дядя: Пэхалеса, Пэхова, Пэха и Гузика».

«Плè-пèле-плè»—переплескивал клавиш: под пальцами Гузика.

— «Вздоры историй сплетаются этими трелями, в бич и в бабач чемадана; а впрочем, история—вздор: лалала».

Клака клавишей, как оплевание, как оскорбление: пряню раздранана, дрянню разляпана в онемение, в млеие, в тление!

Вляпана: клякой пощечины!

Дама, уйдя в перелепеты, вляпана поэмой портретною в волны полос, синусоид, свиваемых кольцами, сизозелеными, а меломан обессиленно клонит лицо в меланхолию сизооливковых фонов, а завтра он с Керенским—в обморок.

«О, дон Мамазо: лалала... лалалала»—фаготовым голосом бзырил, как бык.

Он Бодлера сумеет прочесть!

Что вы думаете?

Вдруг подбросил свои—три—морщинки; и щелками глаз уку-  
ли:

— «Арестована Застрой-Копыто: сношение с Пэхоо, поджог  
зердака; Гужеро с Домарденом прислал ей валюту».

И ножка проюркала:

— «Ставка—за нами!»

Морщинки,—три,—плакали. Красный квадрат подбородка—под  
хо; и жилы,—две,—выжились; и пан Ян, не герой, содро-  
гулся: вот хлоп!

— «С нею виделась?»

— «Вам что за дело?»

Сказать не сказать.

— «Будуков—моет руки»—уклончиво.

— «Мы—тоже вымоем: кровью».

Они посопели.

— «По-моему,—очная ставка: в присутствии Ставки; пока за  
ока князя—вы; я, пока,—за бока: Будукова; выписываю Жю-  
ливор,—раз!»

Корпус сломал.

— «Сослепецкого—от Адксеева: два!»

И морщинками в чернолиловый ковер он безглазо уставился,  
ображая,—

— что —

— Жюль Жюливор в Хапаранде сидит с Каконасним,  
словако-хорватом, иль сербо-мадьяром; и там  
перлюстрирует корреспонденцию; Цивилизац,  
бывший главный заведующий предприятия  
«Дом Поссейдон» (Сухум, фрукты), от-  
сюда, —

— чрез Жонничку, горничную мадам  
Фразы, отличнейшим способом их обо-  
всем орьентирует; —

— Фраза, любовница Петера Ба-  
кена — с Эмией Эк-  
земой, —

— а с Эмией Эк-

земой —

— он!

Это сообразив:

— «Ну,—пока...»

Сверт; и мимо зеркал--за портьеру: в наляпанный бархат  
малиновых бабочек.

## КОКА: КОРНЕТ

Ян Пшевжепанский с гадливой иронией думал, что—тот же  
всё, в тех же бегах—

— по Мадрид,—

— по Парижу,—

— по Лондону,—

— в том же своем котелке, цвета воронова; с  
тем же самым портфелем тугим, цвета воронова, вылетал и влетал  
он (во все учреждения), везде и нигде, принимая участие видное,  
часто невидимое, из-за пыли, им поднятой, точно за пыльным ков-  
ром, выбиваемым палкою: хлоп — Протопопов; хлоп — князь!

Но отхлопавши акт исторический, новый отхлопывал, вовсе  
не видясь, как маленький клопик; прекрасная, синезеленая ком-  
ната эта, —

— вся,

— вся, —

— проклопееет!

Последняя ставка,—да это же царская Ставка: хлоп! С нею  
история, как от пинка ноги—хлоп!

Капитан, не герой, — задрожал: как рыдван опрокинутый, пере-  
грохотнуло громадное тело России —

— а! Минском, за Пинском!

Пыхтя, —

— передергиваясь, —

— крепки деревом кракая, фыркав  
дымом, землей, — над окопом покачивалась тупоносая танка; бетон,  
как стекло, разбиваясь на дрызги дивизий, дреждал, режа воздух  
над черным перением шлемов железных!

Как тощая стая собак, хвост поджавших, вдали,—пулеметы от-  
тягивали; воздух высвистывал тихо... пулю; не то—зефиры, не  
то—визг разбитых дивизий...

Пан Ян, не герой, успокойтесь же: это — за окнами,  
в окна, —

— бряцало, бабацало, цокало, кокало!

Коница!

Кока, коннет, перед нею прококал конем гнедоровым: из  
ночи в ночь.

## МОЛКНЕТ ВСЕ

Молкнет речь; молкнет Русь: молкнет ночь — в шелестениях  
поля нескатого...

Точно последняя ставка, там поезд, из морока черного ясными  
окнами мокрых вагонов сверкнув, в черный морок летел, к царской  
Ставке — за ставку: туда, где блистали, трясая световыми лучами,  
прожекторы, пересекаясь, взлетев и пав ниц, чтобы вылизать све-  
том полосу травинок: —

— рр —

— ррррр —

— рр —

— приятно порывкая, морок ухал:

орудие дальнее; и уже ближе, взблеснувши, рванулося все, что ни  
есть, молниеносно ударивши в ухо, как палкою: тяжелобойное!  
Перст световой показал на поля; поле — затарарыкало, плюнуло  
свинцом: пулеметы!

Сквозь них, как раздеры материи шелковой — ррр — оры — роты  
из проволочных заграждений.

И — «бац»: отблестало; и — «бац»; все — затихло: нет роты; а в  
том самом месте, — те ж оры и дёры: туда прошел полк.

Из купэ (первый класс) — треск отрывистых фраз:

— «Рузский».

— «Штюмер».

— «Тох-тох» — грохотало: и ясные окна летели из мороков.

— «Списочек».

— «Жак Воленвайс... Неразборчиво что-то... Цецерко... Це-  
церко...

— «Книгаль?»

— «Немцы... Тоже — профессор Коробкина».

Тох! —

— Окна вагонные, взрезавши мрак, улепетывали: мост!

— «Лейпцигская ориентация: перепродажа открытия с ведома  
изобретателя, или... без ведома».

— «Выяснить».

— «Изобретатель — больной».

— «Если не симуляция».

— «А экспертиза?»

— «Рассказывайте: все возможно... Всего вероятней: Цецерко-  
Пукиерко, выкрыв открытие, скрылся, когда слух в союзную прессу  
прошел.

«Цац-дза-зац» —

— буфера переталкивались: остановка, огни; из  
них — ветер выплескивал, — песенкой:

Наш солдатик, — шагом марш!  
До Карпат: от Торчина...,  
Шел, а рожа — скорчена.  
И — опять же: «шагом марш» —  
От Карпат: до Торчина.

Защищали царский трон  
Мы, а наши олухи —  
Раздавали в эскадрон  
Вместо пушек и патронов  
Палки да... подсолнухи

Брудер, брудер, — вас ист дас?  
Как залопалися враз  
Бомбы красным отброском:  
Продавали оптом нас  
Под Новó Георгъевском.

«Тох» — и —

— ясными окнами темных  
и мокрых вагонов —

— сверкнув, —

— в черный морок

экспресс неся дальше: из черного морока: из царской Ставки —  
в Москву!

## РОЖА СКОРЧЕНА

Третий, четвертый класс!

Все — солдаты; лом тел в стены: ни взлезешь, ни вылезешь;  
кто-то порты менял; тихий мужик из Смоленска сидел с пере-

вязанною бороною и с клеткой, поставленной в поги; достав ко-  
волянное семя, украдкой щегла кормил с кряхтом.

— «Толйчество...»

— «Что?»

— «Да калю».

— «Надо прямо сказать, что избой—мировой!»

Но—брань сдавливалась, поднимаясь от брюха поджатого йком  
пустым.

— «Поле упротопопни!»

Поле телом посеячас,  
Точно скатерть, стелено:  
Порадела, знать, за нас  
Вырубова-фрелина.

В тыле — вору; в тыле — срам;  
Вороги да воргни...  
Михалай Калаич нам  
В рыло — крест Еоргия...

Ударили от фронтов  
Роты ваши втапоры.  
Барабанили про то  
Репортами прапоры.

Капит серебряный и голубые рейтузы (корнет) и высокий ху-  
дой офицер перетискивались меж шинелью из первого класса чрез  
третий; глядь—под салюгами лежит голова—носом, вмятым в по-  
дошву; на носе—каблук.

— «Ездуневич,—задание ваше...»

— «Так точно!»

— «Собрать о бумагах: какие, где, сколько; оставите списо-  
чек; обивками—об этой Цецерке; вы служите штабу и рус-  
ской общественности...»

— «Точно так!»

— «Не жандармам».

Щелк, дзан—перетиснулись через вагон: он—взорал:

Тифами кусает вошь,  
Земец рыщет по-полу,  
К горлу приставляет нож  
«Заковстантинополю!»

От Мясницкой прямо в Яр—  
Спрятаться под юбкою—  
Храбро хупит вемгусар,  
Клюкнув красной клюквою.

Смолкли.

Рассвет: под бережистой речкой,—костер; выше—травы ходили,  
гоня от фронтов свои дымь, как полк за полком, на Москву—  
в безысходном позорище, а не в России, которая выплакала на  
юрах безысходное горе в бездомное поле.

## ПРОТЕЗ БЫЛО МАЛО

Москва, —

— желтизна, обожавившая за военные годы пред-  
меты, —

— в окне,

как в налете; тела, вскрики, ящики; перли; корнет Ездуневич,  
сшемленный шинелями, перепирал локотню, погон розовый, ражая  
рожа, наверное, прапора, дергала: в пёры и в дёры.

— «Гогò!»

— «На побывку!»

Худой офицер с синевой под глазами—высматривал.

— «Штабс-капитан Сослепецкий?»

— «Так точно!»

— «Из Ставки?»

— «Так точно!»

— «Позвольте представиться: я—капитан Пшевжепанский».

И он подал руку.

— «Вас ждет генерал-лейтенант Булдуков».

Пшевжепанский, блестя эксельбантом и цокая шпурой, в при-  
прыжку бежал кентуровой походкою; красненький, с присморком,  
носик и ротик, готовый всегда смехотнуть.

Сослепецкий за ним:

— «Как с поездкой Друа-Домардэна на фронт?»

— «До известий от Фоша задерживается».

И ротик, готовый всегда смехотнуть, но и скорбно зжаться, —  
зажался.

Друа-Домардэн, публицист из Парижа, секретно поехал через  
Хапаранду-Москву в Могилев, но телефонограммой из Ставки поста-  
вились цели: под формой свидания с деятелями Земгора продлить  
пребыванье в Москве Домардэна.

Не знали, какая тут партия: сам Манасевич-Мануйлов, или сам Милуков.

Вышли.

Площадь—песоча; над ней—навесная, набежная пыль; выше—тучиц расстрел в дико каменном небе.

Среди солдатки, отдававшей карболкою и формалином, которым воняли вокзалы московские,—штук: лесомыка какая-то драная чмыхла носом при нем; этим самым добром располагалась Россия во всех направлениях: не менее, чем миллионов семнадцать такой прищитковины, съеденной вошью, полезло на все,—от Москвы до... не знаю чего.

Положение фронта менялось: поплёром назад.

И отряды особые, поотловив дезертиров, тащили плосалый, козявочный род; новодранцы седявые, злые, едва пузыри животов колтыхали на фронт, с сипотой козлоглася—про грыжи, трахомы, волчанки и черные тряпочки легкого.

Прокостыляла обрубина.

Еще протез было мало; шинельный рукав вырывался, на плечи зашлепавный; а вместо глаз—стекла черные: кашлем оплевывали; видно,—прямо из газовых волн; глаз—с подъедою.

Противогазовой маской наделась болезнь.

## НО ПРЕДАТЕЛЬ В МОСКВЕ

Сели в автомобиль.

Капитан Пшевжепанский давал объяснения:

— «Невероятный скандал: «Пети Журналь», напечатавший «Ну сомм коки»<sup>1</sup> Домардэна...»

— «Я знаю»—его перебил Сослепецкий—«ответ на «Гесфангенер»<sup>2</sup> в «Франкфуртер Цайтунг...»

— «Не знаете: «Подпуло», после уже, фельетонами брякнуло «Дело Мандро», так что случай с профессором, исчезновение Мандро и Цецерки-Пукьерки—кухня того же предателя: так-то!»

— «Предатель в Париже?»

— «Предатель в Москве».

— «Как?»

— «Так».

<sup>1</sup> Мы обманули.

<sup>2</sup> Пленный.

— «Две информации?»

— «Ваша?»

— «От доктора Нордена: из Хапаранды».

— «Моя же,—«Пермийт-Оффис» 1: Лондон».

Коляска: неслася испуганно—немоющим, мнимо умершим, пергаментно желтым лицом старикашки; то—миродержавные мощи сановника; и—унеслася в мнимый мир, где в паническом беге неслись пешеходы, и где мимоезды пролеток металась в расставленных улицах.

— «Дальше?»

— «Заметка в «Бэ-Цет», где указано: американский шпион Дюпердри продал краденое: в Вашингтон...»

— «И?»

— «Молчание прессы, по знаку руки,—недель пять».

— «?»

— «Вдруг—арест Дюпердри».

— «Дуэль гадостей!»

Палочка городского взвилась:—

— авто, фыркнув, за-  
стопорило —

— грузно митропо-

личья карета проехала; высунул на мгновение белый клобук с бороною, седейшею, преосвященного:—

— света не взвидя, матерый,

испуганный лапотник, шапки не сняв на распутинца, с матерней руганью —

— бросился прочь!

Палка городского упала: авто, фыркнув, ринулось:

— «Дальше?»

— «Допрос Дюпердри, в результате которого—вслед за Друа-Домардэном,—секретнейшее: Домардэна в Москве задержать».

...  
Так и ломит заборами ветер, летя на Москву; улинул в переулок, сигать по дворам; вдруг по крыше лузнул; и, как ветром надутый картуз, переулок приплюсился; ветер, махнувши Плющихой, ударился—в Брянский вокзал!

И туда же авто.

<sup>1</sup> Учреждение, в котором выдавались визы в Лондоне в годы войны.

## ГЕНЕРАЛ БУЛДУКОВ

Адьютант Сослепедкий был зол: с Александровского, чорт, вокзала—на Брянский.

— «Эй, где генерал Булдуков?»

— «А вон там!»

На путях запасных, за кордоном, в парах, переблескивал поезд-игрушка, неделями пар развода; за зеркальными стеклами щелкала белоголовая пробка; тут пил Булдуков с Бурдуруковым, при адъютанте, с певичкой, Азалией Пах, и с артисткою, Зоею Стрюти; Велес-Непещевич с портфелем при них состоял (для особых их поручений).

Из окон маячили тени.

Под окнами штык часового острился,—не выблеском стали, а—злым остроумьем; не бил барабан ходом маршевых рот; прапор—рапортовал.—

— «Páá!»

— «право!»

— «Páá!»

— «право!» —

— Ветер захватывал голос: едва до-

летало:

— «Расправа!»

— «Расправа!»

И—песня плескалась:

Эй, забриди наши лбы  
Штуки петербургские,—  
Посадили на бобы  
Бережки мазурские.

Против шерсти нас не гладь:  
Стали мы, как ежики:  
Не позволим приставать,—  
Востры наши ножики.

...  
— «Так» процедил генерал Булдуков (соберите вы там, побряхтел он.

И—долгая пауза:

— «Ну, и...»

Тут сделавши пальцем—так, что-то—глазками ткнулся в Велес-Непещевича.

— «Ставке ответите».

Что отвечать-то?

Велес-Непещевич весьма выразительно гыкнул.

— «Так точн... выпшпревсхдствó!»

Щелкнул шпорою, честь отдал: марш!

А Велес-Непещевич, который вернулся из Англии только что, взяв его под-руку, с ним впечатленьем делясь, заводил его—взад и вперед:

— «Объясняю им в Лондоне: «Не принимаю: негодные шины!» «Нет, сер,—вы их примете!»—«Шпо телеграмму: из Лондона в Питер; ответили: «Наши союзники: автомобильные шины—принять».

Где-то перецепляли вагоны, куда-то катя их; от фронта румынского неся, как вошь укушенный, поезд—с разбитыми стеклами: ором и дёром; обратно тащились вагоны,—до фронта, пути перекупорив; и по приказу начальника армии, номер такой, их валили с путей: под откос<sup>1</sup>.

— «Приезжаю»,—гудел Непещевич,—«я в Питер: там «фоны».

Вагоны...

— «Там—«дер-ы!»

Два тендера...

Вдруг—мимоходом:

— «Пан Ян вас сейчас повезет: быть свидетелем...»

— «Да пощадите: я—с фронта, еще не умывшись...»

— «Нельзя, дорогой: потерпите; «он»—взгляд в булдуковские окна—«боялся ответственности, на меня взвалил; там у вас—Ставка; у нас—жандармерия; там—филиал Милокова, а здесь у нас—Штюрмер; вот «он» и боится все...»

— «Наш Булдуков—бурдурукает...»—к ним подошел Пшевжепанский.

Прошел паровоз: поворот колес,—красных.

— «Вот вас господин адъютант подвезет: поработаете».

На путях запасных стали; ясно Велес-Непещевич весьма объяснял, что —

— короткие волны—убийственны; принцип открытия—наикратчайшие волны; орудия нынешние—чепуха, коли у волновой, новой пушки отверстие менее, чем у пипеточки, а район действия...

<sup>1</sup> Действительный факт.

— «Вы понимаете сами?»

Под гулом войны мировой, — гул иной: гул подпольный. —

— «Об этом — не крикнешь теперь: перекрашивать след к овладению войной — вот что нужно!»

И он — спохватился:

— «Ну, — с богом!»

По рельсам пошли.

Та же песенка — издали.

Брудер, — кань ман? Я — ман кань!

Девежкн немецкие!

Разбирайте балаган,

Руки молодецкие!

— «Слышите?»

— «Слышу!»

И — вышли.

— «Лихач!»

## ЕЛЕОНСТВО

Вот домик оранжевый встал; желтосерая жесткая трава; затускло едва лиловато с востока; вот — Дорогомиловский мост, самновейший ампир, где на серых столбах так отчетливо черный металл зашербился рельефами: шлемов, мечей и щитов.

— «Посмотрите: наш воин; когда-то парадную каску надев, при копье, при коне, на болота мазурские шел воевать с Репен-кампом; смотрите, — в картузике, выданном из интендантства, в шинелишке, спертой у трупца, он — тут!»

Залынял с табачишкой в кармане; и — с фигою; мобилизованный нюхает, что ему слопать.

— «Их — столько, что кажется: фронт опустелым, что армия наша — мираж, то есть поле пустое».

— «Сопрела в окопах».

А в поле сидели и кашу варили: волна беловатого газа бежала в овраге: недавно еще; вздрогнул:

— «Скоро ли?»

! Брат, можно? Да, можно.

— «Скоро».

Пан Ян Пшевжепанский, похлопывая по плечу Сослепецкого, стал занимать анекдотами:

— «Вы называйте пан Яном меня: мы — товарищам».

Сослепецкий подумал:

— «Не очень-то лестно».

И вот — горбосвэрт: угол белого дома открыл переулок, который ломал этот горб, точно руку, откинутую от плеча и составленную из домов, Сослепецкому очень знакомых: он — в каждом сидел почти: дом Четвеверова; антаблементы лупились и блекли; подъезд — доска медная: Лев Леонидыч Лилетов. Карниз фриза сизосериозового, изощренно приподнятый морщью оливковых полуколонн межоконных, выглядывал из-за листвы желтокарей, срезаемой крышею синего домика — о трех окошках; и — с карточкою: «Жужеюпин». «Говядина Мылова» — вывеска. Арка ворот трехэтажного дома в раступринах, с черной литой решеткою: Пёсарь, Помых, Древомазова, Франц Унзенпамп, Семимашкин, — доска с квартирантами. Грифельный, семиэтажный, с балконами, с башнею, в северном стиле домина стеной бил по Шлепову, по переулку, темня — Новотериев: то — дом «Бездобиль».

Дальше: Африковым и Моморовым — прямо к бульвару, к киоску, под вывескою «Пеццен-Цвакке. Перчаточное заведение».

«Тррр-дррр» —

— барабан —

— роту прапор вел

в переворохи —

— «дррр» —

— переворох

на дворах; разворохи в квартирах; и — ворох сознаний, сметаемый в кучи, как листья бульвара, стальным дуновеньем оторванные с пригнетенных друг к другу вершин, угоняемых в площадь Сенную, — туда, где кричало огромное золото букв —

— «Елеонство!» —

— «Крахмал, свечи, мыло!» —

район переулочный, где проживает профессор Сэднамен над вывеской черной, «П. П. Уподобиев», иль — Калофракин (портной, надставляющий плечи и груди); с угла — Гурчиксона аптека. шар — красный, шар — синий.

Вот вывеска, высверкнув, — сгасла.

И тут же мадам Тигроватко жила.

## ТИГРОВАТКО

Тут прыгнули; под характерною карнатидой; пан Ян—на подъезд; Сослепецкий, пальто растопырив, из брюк вынимал кошелек, сапогом выдвигая:

— «Чорт, как холодно!»

Тоже—в подъезд.

Дверь с доской: Иах'им Терпеливиль; — и — вот:

— «Тигроватко?»

Пан Ян подмигнул:

— «Прямо в точку: увидите».

— «Не понимаю»,—ворчал Сослепецкий,—«с вокзала... хотя бы почиститься!»

— «Вы, адъютант, потерпите».

И—дверь распахнулась.

Передняя пестрая: желтые стены; и—крас: черный, серый, зеленый; зеленая мебель; портьера желтеющая с теми ж пятнами: черными, серыми, серозелеными; слева, в открытую дверь,—коридорик, с обоями, напоминающими цветом шкуру боа: густо черные пятна на бронзовом, темном; туда,—как в провал, или в обморок дико тулой, из которого могут выкидываться только выкрики дико болезненные.

Но мадам Тигроватко бросала туда: —

— Аделина! —

— Лилиша! —

— Параша! —

— Наташа! —

— И горничная выходила на зов: Аделина—в апреле; Лилиша—июле.

Снимая пальто, Сослепецкий косился в слепой коридорный пролет, вызывающий ассоциацию: боа констриктор!

Повеяло диким кошмаром, уж виданным,—

— где-то, —

— с — утра-  
ченным смыслом, как с криком, которого нет, но который сейчас...

Вскрик:

— «Леокадия!»

Взрывы хохота.

— «Джулия фон Толкенталь» — подцарапнул пан Ян своей шпорой.

— «Мадам Толкенталь, или—только: таланты; миражи, корсажи; и франты, и фанты!»

Глазенычки—тусклые, а лозумент—проясняясь; и носик морского конька, едва красненький, с присморком, кончиком дергался: (тоже,—как сон).

Аделина раскрыла портьеру, и у Сослепецкого вырвался вскрик:

— «Это ж!..»

Древнее выцветом, серопротухлое золото: цвет—леопардовый, съеденный мертвыми пятнами, точно покрытый дымящимся еле износом, как бы вызывающим вздрог: леопард этот—умер ли? Может,—сидит в мягких пуфах?

Драпри, абажуры—под цвет леопарда, пестрым пятнами, как полувскриками, тихо душащими; фон—желтопеленный: весь в бурых пятнах.

— «Не правда ли,—не из Моморова, Африкова переулков подъехали мы к Гурчиконо аптеке, а бросили трап с корабля: оказались под тропиками».

Не входите: здесь пятнами, в выцвете, рыскает—злой, золотой леопард.

Но драпри, отделявшее комнату эту от той,—разлетелось, взбрызнув малиновым, ярким гранатом из матовочерного, как цвет разрыва: дым с пламенем!

Драпри—упало! И—«Леокадия» (и отчество же!) «Леонардовна!»—шпорою звякнул пан Ян!

И—шурш юбок, треск веера, блеск ожерелий, взмах перьев над черною шапкой волос; перья, бусы,—все черное; платье из морока, очень порочного, в серой иллюзии пятен, подернутых розовым отсветом; черные икры, боа разлетное; ботинки высокие, черные; глаз, желтый, злой; из-за синих ресниц; переблеклая, темная, кожа; на все вылезающий, как попугай из-за сажки взлетающий,—нос; взмахи перьев.

И вскрики: О —

— Жюле Дэстре<sup>1</sup>,

— Ван-дер-Моорене:

— друг знаменитостей Фран-  
ции, ставшая другом больших генералов, кадетов и корреспондентов военных —

— мадам Тигроватко: —

— в боа и в перчатках!

<sup>1</sup> Министр, социал-соглашатель, друг Вандервельда



## ГРАНАТЫ, ПЕСТРИМЫЕ МУШКАМИ

— «Вы, господа офицеры?» —

— взяв за руки, их потащила в диванную и головою взбоднула, пером разрезая портьеру (взрыв красных гранатов); не анделось — кто, сколько: в нише, в кровавых тенях.

— «Она, встретясь со мною и узнав...» — неотчетливо, с тиком шуршала мадам — «обратилась ко мне: в результате чего, — вы мой гость, адъютант Сослепецкий! И то, что отсюда — ответственно; наше свиданье в присутствии вас, господа», — она клюнула — «как представителей армии и комитета» — и — клюнула — «есть неизбежное дело, поскольку задеты: честь родины» — эй, не мешайте, читатель, — «и доблестных наших союзников!»

Нет, уж, читатель, — вы — не приставайте; и коли не слышно нам с вами, так это нарочно мной сделано (я — режиссер, — знаю лучше течение драмы); давать результат прежде паузы — это ж десерт вместо супа; чем я виноват, что и мне самому неизвестно ведь, кто там присутствует, сидя в тенях.

А мадам Тигроватко из черных теней упорхнула; и — снова на цыпочках, кралася, с крокусом красным в руках, балансируя веером, чтоб, став в портьере, прислушиваться.

Вот кусочек диванной: гранаты, пестримые смурыми мушками, — стены; портьеры, как гарь от ковров: желтопепельных, бархатных, точно курящихся дымом; и — скатерть; и вазы оранжевой высверк; стоят офицеры; и кто-то еще с ними рядом...

— «Довольно: они у Сэднамена, — рядом» — и вышла из тени, всперив на коленях свой веер:

— «Да, вспомнила; вот» — подавала (казалось, что в мрак) свой цветок:

— «Если с да, выходите с ним; нет, — его бросите... Сядете — тут»; — хлоп по луфику: «тут будет видно; мы — там» на гостиную ткнула...

— «Вы — тут»: — так вот все разместимся... Мессье, — же ву лесс!»

Кок и цок: офицеры; но — мимо них — козьим галопом, с подхлопом в ладоши: за Джулией.

Вывлекши пеструю Джулию, длинную дылду с пухлявым лицом, и взвертев, и встрепав ее — толк: к Сослепецкому:

<sup>1</sup> Господа, оставляю вас.

— «Сами знакомьтесь... Опять позабыла: вы с фронта же... Ну? Что?.. Как? Дух?»

— «Худ!»

Мадам Тигроватко за это — боа: по плечу.

— «Полисон!»<sup>1</sup>

Вдруг:

— «О, — все равно», — встрях черной шапки волос — «только б эти шинели на нас не глядели».

К передней: в пролет:

— «Аделина же!»

— «Лина же!»

— «Чай, пети-фур, фрукты».

— «Что?»

Плеск и треск.

— «Вот история», — занготал Пшевжепетский.

— «В лоб — молотом: эта действительность переросла всякий бред» — тер висок Сослепецкий, страдая мигренью (с бессонницы).

Неудивительно: два дня назад — треск разрывов, тела окровавленные; как снег на голову, поручение Ставки: в Москву; ночь в вагоне; в итоге же бред; что же, эта гостиная, может быть, поле сражений особых, ухлопавшая все сражения, все достижения наши.

Звонок.

## БОРОДОЮ ПРОСУНУЛСЯ В ДВЕРИ

Передняя наполнилась вздохом и звуками трех голосов; вот контрольно:

— «А... вля... ме вуаля...»<sup>2</sup>

— В тигроваткины руки — она: мадмуазель де-Лебрейль; вид — малэз<sup>3</sup>, но — малинь<sup>4</sup>; новсе белые волосы; стрижка — короткая; юбка — короткая, с мушкою, с пафосом а ля Карлейль; на — стоящий гарсон; и — грассировала: баталистка-художница; вкусы — Пэгү: с темпераментом барышни!

А баритон еще мемькал в передней:

— «Мме... даа... мэн... Седдамэн...» — почти что экзамен.

<sup>1</sup> Шалун.

<sup>2</sup> А вот и я.

<sup>3</sup> Расстроенный.

<sup>4</sup> Бедовый.

Читатель! Дабы избежать постоянных упреков в новаторстве,—принципам старых романов Тургенева я отдаю, от себя самого отступая в традицию повествования; пишут: «пока наш герой, вздернув фалду, садится, последуем мы в его детство и отрочество»; дальше—десять страниц; терпеливый герой, вздернув фалду,—присев, но не сев,—ждет, чтоб... «Уф!» И тогда только автор:

— «Сел!»

Впрочем герои такие, помещики, много досуга имели.

Сэднамен—экзамен; верней,—у Сэднамена.

И половине Москвы, бывшим слушателям (или «ельницам»), ставшим известными деятелями, оставался Сэднамен экзаменом; но,—говорили еще: Се-ре-да-мен (зачет у Сэднамена по середам), прибавляя: сед-амен, сед-амини, сед-аиннисти,—глагол: от сидеть.

Таков он—четверть века; усы той же стрижки; пробор четверть века, прямой,—волос, черных прямых; тот же галстук; никто никогда не видал «Середамена»—в смокинге, фраке, визитке, или в пиджаке: в—скор-ту-ке!

Вот—Сэднамен.

Трудов нет. Речи тихие. Тихо подписывал то, что уже прописалось; не лез, но—видался: в собраниях, на заседаниях, съездах, концертах, премьерах; профессорски руку жал, т. е.,—с достоинством тихим; так: выжав себе тихий вес, досидится до кресла, до а-ка-де-ми-че-ско-го!

В растяжении слов, лекций, мысли—карьера.

Традиции—соблюдены; он—представлен, просерыл и стертый,—под жухлые пятна ковров; отирая усы, он прикладывался к тигроваткиным пальчикам:

— «Дома покоя нет—от милой барыньки, мы вот сидели и пили бордо, а нас барынька на... фэйф-кжок».

И руками развел: «пятна серые сел».

Сослепецкий, замерзнувши в правом углу, Пшевжепанский же—в левом, приструнились, за эксельбанты схватясь, как держа караул в императорской ложе:

— «Э бьен...»<sup>1</sup>

— и цилиндром опущенным, сжатым в руке, изогнувшейся, бронзовою бородой, точно в отблесках пламени ры-

<sup>1</sup> И вот.

жего, мягко просунул в дверь Друа-Домардэн; позой сжатый, как крепким корсетом, он переступил, став в пороге, вперяся в древнее выцветом серопрожухлое золото.

## В ЗОЛОТЕ СТЕН—ДОМАРДЭН

Впечатление—первое: от головы и до пят—черный вес.

Этот цвет леопардовый, съеденный мертвым пятном и как бы вызывающий вздрог, его занял; и он озирался на все.

Не входите!

Вошел.

Впечатление—второе: сутуло прямой; шея—выгнута; спина—прямая:

— «Ту мэ комплиман а мадам»<sup>1</sup>.

Впечатление—третье: лицо, от которого только бросаются белые, пересвеженные щеки; два черных пятна, глаза скрывших: очки; борода, очень длинная (стрижена четким овалом), вся яркая, бронзовая, с розоватокровяными отблесками—есть все прочее; перекисеводородный цвет (действие перекиси на брюнетов).

— «Мадам Толкенталь».

— «Адъютант Сослепецкий...»

— «Пан Яя Пшевжепанский...»

Расклоны:

— «Э бьен,—прэнэ плас»<sup>2</sup>.

Несомненный акцент; он—мэтек: так в Париже давно зовут грека парижского. Сел, уронив свою руку на стол, на-пол ставил цилиндр с мягкой задержью, вскинув лицо и фиксируя черными стеклами; пальцами бронзовую волосинку герзал, крутя кончик, и бороду выставив перед крахмалом—с отгибом мизинца; и ломкий, и розовый ноготь огметила Джулия фон-Толкенталь.

Офицеры ж впились, разлагая вздрог пальца на атомы; «вымученность вспоминаемой роли»; пересуществленный: насквозь! Как глазури омертвевшая, отполированы щеки: он—эмалированный; он—без морщин: вековечная молодость белой щеки (при почтеннейшем возрасте); в бронзе усы, а не губы; стекло, а не глаз! И открыто кричащий о том, что—парик, этот самый парик с переглаженной чертью пробора и с красною искрой схватившихся вместе волос,—

<sup>1</sup> «Приветствую, мадам».

<sup>2</sup> Ну вот... Прошу сесть.

все, все, все создавало рекламу какому-то там парикмейстеру, а не челу публициста.

Трещи, как гранеными бусами, с пуфа пакет Тигроватко вручила Друа-Домардэну: они—не увидятся; с фронта Друа-Домардэн, метеором мелькнув, унесется в Париж; но тогда не забудет пакет передать, этот,—Франсу,—старинному другу.

С рукою—к пакету, совсем неожиданно в нос он пропел: так поет фисгармониум!

— «О, мз бьенсьёр!»<sup>1</sup>

И шутиливо пакет свой мадемуазель де-Лебрейль переброесил: — «А во деуаёр!»<sup>2</sup>

Тряся белой копною волос, пакет взвесила мадемуазель де-Лебрейль:

— «Олал! Ля сепвёр,—ублиэ ву?»<sup>3</sup>

— «Фэ рьён: мон Эйжэни Васильитш Ани́тшков»<sup>4</sup>—к Сэд-намену:—

«Цензором сел на границе!»

К мадам Толкенталь—в ухо ей:

— «Вам знакомо лицо его?»

Джулия: в ухо же:

— «Где-то видала».

Тогда Тигроватко,—без всякого повода, громко:

— «Эстетика?» «Вы там бываете, как и тогда, когда знали»—и шуры ресниц подсиненных—«там все».

Удивленная Джулия не понимала: о чем?

Но фиксируя странную помесь цветов, уже созданной здесь обстановки, Друа-Домардэн быю кистью рванул.

Но вздрог: и—

—упавшая в обморок кисть вяло свисла.

Сэднамен,—из пятен из серых,—впятил:

— «Поль Буайе: я учитель Поля Буайе еще, Луи Леже...»<sup>5</sup>

мм... мэн...

Ждали, что скажет:

— «Знал».

А Пшевжепанский, склонясь к Сослепецкому:

<sup>1</sup> О, конечно.

<sup>2</sup> Для вашего исполнения.

<sup>3</sup> Вот так так: а про цензуру забыли вы?

<sup>4</sup> Пустяки: мой Евгений Васильич Аничков.

<sup>5</sup> Профессора русской слезесности в Париже.

— «Он—из Австралии, с год лишь, с прекрасною сертификацией—в гранд-Ориан: по мандату из Лондона; послан—с секретными целями; от легкомысленных шуток Максима Максимовича, тоже гроссмейстера, он с нашим штабом списался: и—через Земгор».

Наблюдали, как дергался палец—на палец, при пальце, отставленный, вставленный,—на неподвижно лежащей, как мертвой, его левой кисти; мизинец же правой, вправляющий пуговицу—на показ для других; то—десница; а шуйцей—под скатерть, поймав на ней взгляд Сослепецкого, точно меж ними вдруг непобедимая острая очень прошлась неприязнь.

И тут подали чайные чашечки: севрский фарфор, леопардовых колеров,—с пепельно серыми бледнями, с золотоватыми блеснями.

## СЕВРСКИЙ ФАРФОР ЛЕОПАРДОВЫХ КОЛЕРОВ

Чашечку чайную,—севрский фарфор леопардовых колеров,— взяв двумя пальцами, чтобы разглядывать росписи: пепельносерые, красные пятна.

— «Ке сз рависсан!»<sup>1</sup>

— «Регардэ!»<sup>2</sup>

Тигроватко предметик сняла:

— «Что, прелестная,—да?»

Безделушка: пастушка фарфороворозовая, с лиловатосиреневым тоном:

— «Пастушка: Лизетта!»

— «Максятинский князь приобрел обстановку,—по случаю: распродает».

— «Ке ди т'эль?»<sup>3</sup>—протянулась Лебрейль.

— «Жаль: отшиблена ручка!»

— «Была—с флажолетом; играла на нем—пасторали, над бездной: аль а тан суффёр»<sup>4</sup>.

Пшевжепанский, застыв, как оскалась—под локтем у Джулии, пав в ноги ей, чтоб прыжком оказаться в беседе: свой вкус показать, как оценщика старых фарфоров; тут что-то случилось с Друа-

<sup>1</sup> Как это восхитительно.

<sup>2</sup> Посмотрите.

<sup>3</sup> Что она говорит?

<sup>4</sup> Она так страдала.

Домарденом—

— пастушка, ни слова  
по-русски —

— парик, борода, стекла черные, точно кордон, быстро выступивший, защищать стал лицо: за очки, за парик,—оно село, вусатилося, импровизируя жест кандидата на красную ленточку Лежон д'онёр<sup>1</sup>, с неожиданной словоохотливостью объяснял он, что—ехал в Москву с мадемуазель де-Лебрейль, своим секретарем, своим другом—куа<sup>2</sup>? Тут—комедия: он, сама виза,—в Москве сел без визы; имел тэт-а-тэт<sup>3</sup> с кадетами.

Скажем и мы от себя: в кабинет сепарé<sup>4</sup> он случайно сошелся с Пэпэш-Довлиашем, московским масоном, «французои» по стилю, кадэ (психиатр); кабинет, сепарé, потому что — с запретною водкой, с кавьяр молосоль<sup>5</sup> (это—выучил) и под напевы гнусавенькой Тонкинуаз<sup>6</sup> (запевал Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш).

О, дорожна. скука: фи донк<sup>7</sup>—ожидать глупой визы!  
Москва—только станция!

Так с разговора о качествах севрских фарфоров—к задачам войны; закрутил бороды кончик бронзовый.

Гекнуло тут: громкий гек, точно в уши влепляемый, но обращаемый к Джулии:

— «Ля бэт юмэн!»<sup>8</sup>

— «Друа д'онёр: друа де л'он!»<sup>9</sup>—пояснял Домардэн.

— «Друа де мёр!»<sup>10</sup>—геком, в уши влепляемым, в ухо влетел Пшевжеланский.

— «Бьен дй, мэ мордэн!»<sup>11</sup>—повернулся с кривою усмешкой к нему Домардэн, будто с вызовом; и—

— дrr-дrr

— дrrrrrr —

— выработывали

<sup>1</sup> Орден Почетного Легкона.

<sup>2</sup> Что.

<sup>3</sup> Свидания с глазу на глаз.

<sup>4</sup> В отдельных кабинетах.

<sup>5</sup> С малосольной икрой.

<sup>6</sup> Французская шансонетная песенка.

<sup>7</sup> Фу.

<sup>8</sup> Человек — зверь.

<sup>9</sup> Права чести, права человека.

<sup>10</sup> Права смерти.

<sup>11</sup> Хорошо сказано, но остро.

залетающие пальцы, вцепляясь ногтями в пятнастую скатерть. Мадам Тигроватко ушла, влокоотясь, в подушечки, в тускло оранжевые; на мизинец изогнутый нос положила; играла икрастой ногою на свесе.

## ЧЕРНАЯ РУЧКА С КРОВАВЫМ ЦВЕТКОМ

Мадемуазель де-Лебрейль, чтобы это прервать, стала взавертъ, бросая блеснь черночешуйчатой талии нервно; портьеру рукой подняла; и—лорнировала, восхищаясь: гранаты, пестрые смурными мушками, стены диванной; и шторы—коричневочерную гарь, из ковров желтопепельных, точно курящихся дымом, и скатерть, и вазы оранжевой выблискни:

— «Влэ с'э ля флэмм. Ву з'авэ з'ансандэ вотр мэбль пар се ружо». (Вот так пламя: вы мебель свою подожгли; я—ослепла.)

Друа-Домардэн даже голову вытянул прямо туда, где—два кресла гранатовые, как огонь, растылались на бледнозеленожелтые тускли, пятнистые еле; в гранатовом кресле орнамент теней; в нем сидит манекен, вероятно: перо утонченное, вскинута точно над красным креслом; конечно, мадам Тигроватко—художница, так ли?

Черч гени из кресла взлетел; и перо под драпри протопырилось, а у Дура-Домардэна углом брови сдвинулись в платомимическом жесте, напоминающем руки, соединенные ладонями вверх.

Точно пением «Miserere»<sup>1</sup> пропел этот лоб: а в ответ из диванной, как арфы золотой вздох!

Вскрик Лебрейль на всю комнату:

— «Он фамм нуар!» (Это—черная женщина?)

Из-за портьеры же крокуса красный цветок зажимала, как веточка, тонкая, черная ручка.

Пап Ян, приседавая, как будто собравшись прыгнуть—с окрысом,—став красным, и ртом, и зубами, сквозь воздух впиался в Друа-Домардэна; став синим, как труп, Сослепецкий встал; и—тотчас сел. А мадам Тигроватко:

— «Сэ рьен: повр фамм; элль а тан суффер». (Нет, пустяки: о, бедняжка,—так много страдала.)

По-русски:

<sup>1</sup> Религиозный служебный мотив католической музыки

— «Она добивается визы во Францию!»  
Тут же в диванную:  
— «Мадам Тителева?»

## МАДАМ ТИТЕЛЕВА

И оттуда, где ручка качала цветок,—закливало перо; и явились поля черной шляпы: под ними лица—пятно черное (все завуалено), рот обнаженный и красный, а губы разъехались на меловом подбородочке с пренебрежительной гримаскою—

—с тоненьким—

—«Ну?»

Тут Друа-Домардэн, позабывши про пальцы—с отчаяньем ставки последней до... до... до того, что—

—с положенной позы рука как сорвется—к губам: дергать, мазаться пальцем о палец! А задержка—вдогонку; кисть сжатая—под подбородок: упала на кресло!

Все—миг!

—«Юя приёр»<sup>1</sup>—обратилась к нему Тигроватко.

—«А во сервис»<sup>2</sup>—слишком громко: взволнованно громко!

Ему объясняли: содействие, визу, он может достать,—для мадам; жест—к голове.

Головка в портюре ждала: можно было подумать, что дамочка, тут же присев за портьерой, прилипнув, как кобра, к стволу баобаба,—нацелившись на леопарда, готова—зигзагом: слететь с баобаба.

«Простите, мадам: я забыла о вас; вы зайдете узнать о решении».

<sup>1</sup> Просьба.

<sup>2</sup> К вашим услугам.



Черная дамочка, змейка, протянутая плоскочерным листом, как у кобры, конечности верхней, а не плоскочерными, вытянутыми полями увенчанной черным пером черной шляпы,—не вышла, а вылизнула перед ними: перчатки—до локтя; осиная талия; вовсе безгрудая, вовсе безбокая,—черная вся; лютекла, их минуя, на шлейфе (а не на ногах), как змея, на змеящемся кончике хвостика.

Всех поразило под густую вуалью ее подбородочек: бледный, как мел; он—с улыбкой безглазой и злой: ртом глядел, как кусая; перо, утонченно протянутое, точно удочка, дергалось.

Вылизнула из гостиной.

Молчали.

Один Сослепецкий—в переднюю: к ней!

Ну?

А?

Друа-Домардэн?

Вновь построилась корреспонденция носа со щечною впадиной, координируясь с головой: корпус—строился; задержка—окрепла; стиль позы, которою он витончивал,—точно молоссы тяжелые, молотом выбитые: три ударных:—

—дápp!

—дápp! —

—дápp! —

—вот что есть молоссы!

Грски древние с ним шли: на бой.

## КАК ПРЫЖКОМ ЛЕОПАРДОВЫМ, — В ДВЕРЬ!

Сослепецкий, достигнув в передней, увлек в боковой коридор мадам Тителеву: серебро эксельбантов, серебряный сверк эполетов, царапанье шпор Сослепецкого, зыби материн шелковой; и—как барахтанье в шероховатых, коричнево-красных коврах, заглушающих шаг,—в той дыре, куда мороком вляпались пестрые пятна на бронзовом фоне, как шкура боа.

Снова вырыв из мрака. тень черной змеи; и—в переднюю снова; за ней—Сослепецкий.

—«Я не отпущу вас».

И с синей мантилей в руках, точно вырванной для подавления, но не подаваемой, отнятой, став серосиним,—ее умолял:

—«Вы—мне скажите... Вы... вы...!»

Улыбочка.

— «Невероятно!»

Пера пируэт.

— «Смею я вас уверить»,—отдернул мантилью,—что мы не жандармы...»

Пятно,—не лицо.

— «Политическая группировка и благонадежность, которая интересует полицию, нас не касается; можете нам доверяться; инкогнито, смею уверить вас честью военных, работающих с демократией на оборону страны от шантажа и от шпионажа,—инкогнито ваше и лиц, с вами связанных, я сохранию».

Легкий шопот рта: в синее ухо; вскрик, тупо давимый, под горлом.

— «Да, да: это—они!»

И—юрк: в дверь.

Сослепецкий вернулся в гостиную, где Домардэн им рассказывал—

—осведомлялся, меж прочим, об адресе дамочки; долго записывал: «Тй...тэлэф?.. О се нон рёсс!»<sup>1</sup>—

—и вернулся  
к Парижу

опять... Жест—интонационен, ритмичен, чуть-чуть патетичен, приподнят на чаше весов; на другой—гиря: задержь—

— о, да,—  
— равновесия!

Так и казалось,—нарушится: силищи неимоверные, противоборствуя, грохнут разрывом:—

—барррах!—

—Где Друа-Домарлэн?

Клочки фрака дымящегося, горло, вырванное из всплывшей сорочки, вонь перепаленных волос: удивительное равновесие!

Джулия—слушала; а мадемуазель де-Лебрейль,—ликовала всей позой.

— «Мой-то,—каков?»

Только выюрок конца бороды, вверх и наискось, к двери, да талия, взаверт поставленная,—тоже к двери,—на миг, на один, будто выдали тайну Друа-Домардэна: прыжком леопардовым—

—в дверь!

<sup>1</sup> О, эти русские имена.

С Сослепецким скрестился он взглядами.

Вышли: пан Ян провожал Сослепецкого:

— «Вот для чего мы вас выписали».

— «Ставка знает?»

— «Не все: столкновение фактов невыверенных—налицо; выверяете—вы; вы и следовательно, и... свершитель; задание может стать миссией; это—от вас: не от нас с Булдуковым, который—себя отстраняет... Старик заливается, попросту, с горя, винцом... На себя одного полагайтесь».

А Сослепецкий поморщился:

— «Слово я дал сохранить ей инкогнито; а—между тем: среди лиц, под защиту инкогнито вставших,—фамилия: в списке, который везу; коли так, то и разоблачающие Домардэна,—разоблачаемы; может, с их стороны нападение есть контр-атака: защита себя...»

— «Это прежде».

— «А то?»

— «То—потом!»

## ПРАВОСУДИЕ—ГОРЛО ОРУДИЯ

— Рыррр!—

—прошли батальоны: легли миллионы!.

И новые шли миллионы: в поля; в батареях болтали уже: у Антанты солдаты—атласные франты; а мы—на бобах: в батраках.

— «Да-с!»

Лысастое место; с него виден издали фронт; в ложементх сидели и кашу варили: под праздник; в село же, потрепизнелому,—колокола заболтали:

— «Зовет царский колокол, по всей России,—в могилу, в некрутчину: под барабан забирает...»

— «Там, под барабаном, коли повернешься,—убьет тебя; не довернешься,—убьет тебя; коли вернешься—не выступишь даже ста рет».

— «Служба—чирий в боку».

— «Как мамашины прапоры спервоначалу на фронт уезжали мазурку отшпорить, скартавить приказ,—да в болота мазурские поулеглись; так-то лучше,—спокойнее».

«Ты погоди,—вперед еще служба-то: жилы порвем, а возьмем, брат, Москву!»

Тихо: колокола перестали звонить.

«Рррр»—

—гремит батарея, окрестности брея: чинит празосудие чернотугунное горло орудия: взорваны:—

—проводами,

—бревна,

—брюхи,

—и груди.

В бабаках гранат—горлодѣры далекие; это штыками процапались дранцы, царапаясь ранцами в проволоке, вылезая из оболочка ядовитого газа; все—в масках...

Штурмуют позицию—

—там,—

—здесь—

— как серая гусеница, нервно вздрагивая и натягивая нервно нить, опадает с небес, полетев в небеса—

—колбаса, водородом надутая!..

Что-ж это?

Вместо нее—фук дымбоя: грохоток...

Человек, в ней сидевший,—где он? Да за ним—миллион человек таких; и их больше у нас, чем колбас.

В полосах желтоватых жнивья—полоса серовато прошла из частей войсковых руконогов, безглавых, бессильно шагающих в бой по бесопчью безродного поля: призыв девятисотого года...

Народная голь!

Сжавши лайковой, белой перчаткой бинокли, в бинокли глядят адъютанты, блестя эксельбантами, корреспонденты Антанты; пищит полевой телефон...

И уточненно архитекτονике строя—

—дивизий

—бригад,

—батарей,

—батальонов,

—в бой брошенных рот—

—рапортует откормленный корпусный скот: бой благополучен!

Пробиты бригады; разбросаны роты; фронт—прорван; попят—со всех пят!

Тем не менее кто-то кого-то поадривит: отечески, мило, сердечно!

«Бой под Молодечно»—заглавие корреспонденции «Утра России», где—слажено,—сглажено,—схвастаню,—спластаню,—точно не бой, а цветочки; концовано—Константинополем: «Ляки и ардопуло»<sup>1</sup>—подпись; и—точка.

Соль—в том, что опять уложили в безродное поле: народную голь!

— Ррр!

— Бррр!

— Брр!..

## ОРАНГУТАНГОМ ОТПЛЯСЫВАЛ ТАНГО

Вот «Бар-Пэар»: с неграми!

Тризна отчизне; брызнь света, брызнь струй: брызни жизни! Здесь—все: Зоя Ивис, Азалия Пах, офицеры, корнеты, корсеты, кадеты из организаций Земгора: золотоочковые, лысые, брысые; дамы: не талин—змеи; лакеи и столики; пестрый орнамент просторной веранды; румыны кроваво-усатые, красноатласные: рын-дын-дын, рын-дын-дын—

—трр-ы-и—

—дын!

Вот, волоча свои дряби, с губой грибоватой, с тремя подбородками, точно с жабо, с желдачком на носу,—мимо столиков—гологоловый старик; и за ним губоцветная дама; дессу—цвет шампанского, с искрой; с опаловым цветом лица, с горлицевыми перьями, с пряжек бросающими блеск комет, гиацинтовый глаз!

Сели.

К ним—адвокат Перожовский: пороки описывал так, что перо переламывалось; старичок, облизнувшись, отвечивал животворясом, не смехом; а дама—сплошным придыханьем грудным.

Это—чех, миллионер, Бездибиль: нагорстал состоянье; теперь горстал доброе ния и честь.

Желтожирую стерлядь им подали.

<sup>1</sup> Военный корреспондент.

В ниши, как белые мыши, под темнотиловые с искрой малиновой выпыхи—белые пальцы, крахмалы и нижние части лиц, выбежав, прячутся—в тень; сели в ниши, чтоб было им тише выглядывать на страстно-красных румын; блеснь и треснь барабана; а пальцы, дрожа, выдробатывают.

Дробь ударов: дырр-дырр; да: Друа-Домардэн, друа де л'ом был не в духе: желудок расстроится вдрызг!

Взвизги—

—ввзз—

—ввзз—

—ввзз—

—скрипок: с эстрады!

Один эпизод (о, их много!): но все ж не хотелось бы,—нет! «Тон» и «бом»—

—стся томболы с там-

буром; и—

—брры-бббра—

—гитара рыдала!

Его против воли в авто привезли: Тигроватко и мадемуазель де-Лебреиль в этот очаровательный «Бар-Пэар»: с неграми; он же являл, сидя в нише, фигуру как бы безголовую (может, из кости слоновой пробор головной?). Нервы—сталь; механизм их исправлен; и позой владел в совершенстве; вокруг, на него озираясь, шептались: Друа-Домардэн уличен; грянет громкий скандал на весь мир; и портрет Домардэна появится во всех журнальчиках: Франции, Англии, даже Бразилии, даже Зеландии; в чем уличен,—неизвестно; и ели глазами его, удивляясь, как пальцем щепит волосинку и как достает носовой свой платок; задержь вымученно вспоминаемой роли, продуманной до мелочей; убеждались: слухи—отчаянный вздор; человек, уличенный в преступном деянии, упрятываем в мешок каменный, а Домардэн—на свободе; и—главное: это спокойствие.

Весь—черч и вычерч; лишь бронзовый цвет бороды нарушал комбинацию блан-э-нуар; стекла, фрак, носки, клак,—только черное; щеки, крахмалы, пробор парика—белый мрамор.

Эстрада:—

—ряд тем: один, два,—номерз; три, четыре, пять, шесть; новый трюк:—

—номер семь:—

—Тем!

Отсвета мертвельного сизостылая синь: в ней явился мел белый,—не личико, маленькое, с кулачок, слабо дрябленький; плоские поля шляпы вошли пером огненным с огненным и перекошенным в пении ротиком в отсветы бледного и сизосинего света:—мелодекламация!

.....

В окна

Ударится камень...

И врубится

В двери — топор.

Из окон разияется —

Пламень

От шелковых кресел и —

Штор;

Фарфор,

Изукрашенный шандаа...

Все —

К чортовой матери: все!

Жестокий, железный мой

Каадал

Ударится в сердце —

В твоел

.....

— «Браво»—рукоплесканья; все взвизгнуло, взбрызнуло перлами и перламутровым светом; в свет встал с мадемуазель де-Лебреиль Домардэн, направляясь к выходу.

«Бар-Пэар»: с неграми!

Тризна отчизне: брызнь света и жизни: здесь Питер Парфеныч Тарпарский свои интонировал фикции; Чечернев спрашивал о Хапаранде-Торнео; орнамент просторной веранды фонариками освещался.

Не «Бар-Пэар»: с неграми—остров Борнео!

Пил джин лан Зеленский—шимпанзе -с гаванной в зубах; и с ним сам дядя Сам,—

—черный фрак,—

—грудь крак —

—оперстненный, блум-пуддинг

ел; хрипло кряхтел «Янки—Дудлями»<sup>1</sup>.

— «Деньги и деньги!»

<sup>1</sup> Американский национальный гимн.



Пэпэш-Доавлиаш, Николай Николанч, кадет, психиатр, проповедывал строго кадетские лозунги двум туберозам хохочущим:

— «Мадемуазель?.. Плэ т'иль? Вы б—на войну: гулэ ву?» С читательницею Ромэна Роллана, с мадам Тигроватю, в боа и в перчатках, ее ухватив за бока, англичанин,—

—сёр Ранжер,—

—с оранжевой бакой,—

—в оранжевом смокинге—

—оранг-утангом—

—отплясывал танго!



### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## «КОРОЛЬ ЛИР»

БРАТ, ИВАН

В сырости снизились в дым кисти ивовых листьев, как счесанные, чтоб опять на подмахах взлетать и кидаться в тумане и в мареве взмытого дыма, вздыхающим хаосом мимо гонимого; маленький сеянец сереньким крапом косит—над Москвою, над пригородом, над листвою садов придорожных.

Над скосом откоса с колесами чмокает, лякая, млявая слякоть; обрызнутое,—дикое взвизгнуло поле: «На фронт, в горизонт!» Мимо Минска и Пинска несется рой мороков.

Горло орудия?

Нет!

Мертвецов миллионноголовое горло орет, а не жерло орудий, которыми рвутся: дома, города, люди, брюхи и груди; в остатке сознания осталось сознание: сознания нет!

И под черепом царь в голове свержен с трона.

С запекшейся кровью, с заклепанным грязью, разорванным ртом—голова, сохранившая все еще очерки носа и губ; тыкв—

нос; кулак—губы; она это ахнула с поля, в котором сгнила; и за нею—десяток голов, вопня, восстает; за ним—тысячи их, вопящих, встающих.

Две армии друг перед другом сидят...

Третья—

—многоголово роня!..

Где двое,—она уже: гул возникающий, перерастающий дуло орудий,—в такой, от которого точно поблеклый венок облетит колесо Зодиака.

А за головой поднимается—тело, везомое дико в Москву, чтобы вздрагивали, увидав это тело (нос—тыква; губа—кулаком) с оком, выжженным пламенем лопнувшей бомбы, с кишкой перепоротой,—взятое из ядовитого желтого облака.

Пятятся, как от допроса сурового:

— «На основании ж какого закона возникла такая вертучка миров, где умнейшим добрейшим огнем выжигают глаза, чугуном животы порют, желтыми хлорами горло закупоривают?»

Ответ—лазарет.

Воючат это тело свалить и копаться в кишке перепоротой, черными стеклами глаз застеклянить и медное горло привинчивать, думая, что отвертеться, что грязною тряпкой заклепанный рот: не взорет.

И гулять выпускают—в Москве: на Кузнецкий.

Стоит на Кузнецком телесный разъезд, провожая прохожих разъятнем ока:

— «Вам кажется, что невозможно все это?»

— «А мне оно стало возможным».

— «Я стало путем, выводящим за грани разбитых миров».

— «Ты за мною пойдешь...»

— «Да и ты...»

Но—шарахаются, отрекаются,—этот, тот, не понимая: стоит—страшный суд!

Подъезжает карета; подхватывают; и—привозят; ведут коридорами: камеры, камеры, камеры; в каждом—по телу.

## И БИЛИ: ПО ТЕЛУ

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть!

Номера, номера, номера: номер семь; и в нем—тело.

Так бременно время!...

Шел шаг...

— «А теперь,—его в ванну!»

В дверь—вывели.

Мылили.

Ел едкий щелок—глаз; били: в живот:

— «Вот!»

И—в спину, и—в грудь:

— «Будет».

И—заскреблась—

— раз и два —

— голова —

— три...

— «Смотри-ка, протри!»

— «Смело: дело!»

Что временно—бременно; помер—под номером; ванна, как манна.

— «И Анна...»

— «Что?»

— «Павловна...»

— «Зря!»

— «Анна Павловна—тело, как я...»

Тут окачено, схвачено, слажено:

— «Под простыню его, Павел!»

Массажами глажено; выведено, как из ада.

Прославил отчизну!

— «А клизму?»

— «Не надо!»

Сорочка, заплата, халат: шах и мат!

Вата—в глаз:

— «Раз!»

И—

— точка.

Забил —

— два, три!

— «При!»

И—вывели.

Выл, как шакал; шаркал шаг; страшновато: опять растопырил крыло нетопырь,—

— араг!

И темь, и заплата.

Четыре, пять, шесть:

— «Есть: семь!»

Восемь!

Все—месяцы; месяц—за месяцем: девять, двенадцать; во мгле  
ведь он свесился—в месяц тринадцатый, в цепь бесконечности!

Цапало время.

Но—временно время.

«Бим-бом»—было.

— «Было: дом Бом».

— «Болты желты»:—болтали—«расперты».

— «Публичный»—Пупричных, в пупырышках, пестрый халат  
подавал; Пятифифрев, свой глаз в тучи пуча,—про «дом»:

— «Не про нас: да-с!»

— «Ермолка-с, пожалуйста-с!»

Алая, алая!

За окнами—елка, закат полосатый; и—пес.

В кресло врос:

— «Как-нибудь!»

— «Ничего-с!»

Жуть, муть, тень: крыши, медные лбы,\* бледной сплетней все  
тише—звенели о том, что мозги мыши съели!

И—день.

## СЕРАФИМА: СЕСТРА

Серафима Сергевна Селеги-Седлинзина милой малюткой, сне-  
жинкой,—мелькает: в сплошной планиметрии белых своих кори-  
доров; иль на голубых каймах камер стоит, в центре куба: под  
поднятою потолочною плоскостью, где белый блеск электрической  
лампочки, выскочив, бесится.

Щелк: его нет!

Точно кто-то, невидимый, зубы покажет и светом куснет; щелк:  
пустая стекляшечка; в ней—волосинка, иль—нерв: он сгорит; и  
павлиньи сияния смыслов,—стекло, пустота, философия!

Смысл—болезнь нерва; здоровая жизнь,—«гул в у».

— «Николай Николаевич,—правильно: ну и сидели бы в  
«Баре-Пэаре»... Обходы больных, диагнозы,—понятно: пред-

дверие «бара». А вы записались в кадетскую партию; вы козыряете  
лозунгом: где же тут логика?»

Бедно одетою, бледненькой девочкой, за ординатором, Тер-  
Препопанцем, бывало бежит: в номер два, в номер три, в номер  
пять, в номер шесть; и халат цвета перца, халат цвета пси-  
ного (серь),—с головою, с пустою стекляшкой, с перегорелою  
в ней волосиночкой, сивый и серый, поваленный в бреды—встав,  
липнет:

— «Сестрица!»

— «Сестра!»

Аведик Дереникович Тер-Препопанц улыбается ей:

— «Популярности хоть отбавляй!»

И склонив вавилонский свой профиль, Тиглата-Палассера, Сал-  
манасара, отчетливо он стетоскопом постукивает:

— «Спали?»

— «Ели?»

— «Стул—как?»

А под фартучком, точно под снежным покровом,—голубка,  
малютка (всего двадцать лет ведь) выслушивает; и пучочек воло-  
сиков с отблеском золота,—рус; и, как белая тень, на стене; в  
перемельках, как бабочка: порх; носик тыкнется здесь; носик—  
там; такой маленький, белеющий; рот стиснут крепко, чтобы разомк-  
нуться для шопота:

— «Сделано!»

И не сказал бы, что в смехе овальные губы ее выкругляются  
сладкими долями яблока: весело, молодо, бодро; прочь фартук:  
ребячит,—с припрыгами; голос—арфичный, грудной; многострун-  
ная арфа,—не груди!

И никто б не сказал, что глазенки бесцветные, с лорхами и с  
переморгами, станут глазищами выпуклыми, чтобы отблесками  
золотистой слезы бриллиантить: как лань; умеют голубить и  
голубенеть, не сказали б, что гулькает ротик.

И кажется маленькой, гибкой, озялой какою-то ланью, когда  
снимет фартучек; коли в голубеньком платье и коли зашурит гла-  
за,—точно кот, голубой, поет песни; протянутой бархатной ла-  
почкой гладит морщавую голову.

Коли «дурак» ее молод, —сестра молодая; а коли «дурак»  
ее стар, как с Морозкой снегурочка, коли ей голову в грудь с при-  
читаньем уронит—Корделия с Лиром.

В обходе—не та: руки—трепет: неловкая!

— «Ну же...»

— «Эхм!»

— «Вы—не эдак: не так».

При Пэпэшинном брюхе, под Тер-Препопанцевым носом, чтоб не разронять поручений, хваталась за книжку (болталась на фартучке); и к карандашику—носом:

— «Ванна».

— «Пузырь».

— «Порошок».

— «Растирание».

— «Термометр».

Тому-то, тогда-то,—то; этому—это-то.

Тер-Препопанц, сам добряш,—защищает:

— «Оказывает благотворное действие!»

А Николай Николаич, Пэпэш-Довлиш,—тому некогда видеть; часы нарасхват: диагноз, семинарии, лекции, вечером—в «Баре-Пэаре»: он: с неграми.

— «Дэ... Психология, то есть,—бирюльки... Ну—пусть себе вертится здесь, пока что; вода—тоже безвредна, а не лекарство: пусть думают,—кали-броматум».

Бывало—шурк, топоты: по коридорам, ломаясь броской походкой, бежит Николай Николаич за пузом своим; за ним—пять ассистентов халатами белыми плещут; однажды, как мышку, накрыл он ее: она голову одеколоном тройным растирала кому-то.

И ей Николай Николаич:

— «Движение сердца?.. Здесь—клиника нервных болезней,—совсем не сердечных».

Бедром нервно вадрогнул; и—улепетнул; и за ним ассистенты, все пять, улепетывали.

Препопанц, Аведик Дереникович, ей:

— «Вы ступайте к Плетневу; научит: движение мускула, нерва моторного,—сердце... Вы нерв изучайте».

А глупое сердце подтукнет; свой ротик раскрывши, моргает: как белая тень,—на стене.

Так снежинка, сплошной бриллиант, тая, выглядит: капелькой сырости.

А Плечепляткин, студент, все, бывало, поплевывает:

— «Затрапезная, вялая...»

Но—бирюзовые трапезы приготавливала больным.

Николай Галзаков:

— «Не горюйте, сестрица».

Матвей Несотвеев:

— «Мы с вами,—болезная».

— «Я вот сестру, хоть умру,—не забуду; учила добру».

Так ее поминали.

Вода—не лекарство; а—взбрызни годую, а—дай воду,—жизнь!

Служба кончена,—взапуски с листьями, ветром гонимыми, карими, красными, по переулкам—Жебрийову, Брнкову, Африкову и Моморову до Табачихинского—к Василисе Сергеевне, к профессору, чтобы узнать поподробней о песике Томке, которым забредил профессор Коробкин; узнать, при чем тряпка, которую пес принес в дом; заодно уж за красками: для Пантукана.

Узнала, что тряпкою рот затыкали—профессору: вообразил себя псом.

Дома—мать, Домна Львовна, с пакетиками: для профессора,—одеколон тройной, сладости и репродукций альбом (Микель-Анджело)—Элеонора Леоновна Тителева занесла.

Утром—ветер: порывистый, шаткий; калошки, зонтик—пора; за забор презубренный, в глубь разметенной дорожки, с которой заваялись листья; и вот он из веток является,—розовобелый подъезд; над подъездом же, каменные разворохи плюща пропоровши, напучившись тупо,—баранная морда, фасонистый фавн, Николай Николаевич номер второй,—рококовую рожу рвет хохотом, огогого! «Просим, просим: не выпустим!»

Там—два окна; там старик этот пестрый просунул носом и черной заплатою; там—ее смысл, ее жизнь, ее все!

## ВЫРЕЗАЯСЬ ИЗ НЕБА, ПОД ЗВЕЗДАМИ..

Утро.

Какая-то вся осердеченно быстрля; воздух меняла, когда прибирала; очки, разрезалка, флакон,—при руке; свечу прячь, потому что боялся: жегло,—злое, желтое,—жгло

Все-то линии рук рисовали ему синусоиды, тощую крылатая; мысли—звук рун; ей под горло от гручи, от радостной арфы, как руруру-ру!

Точно гром!

В белом фартучке сядет при кресле; и глаз свой, то котий, то ланий,—к нему; а дежурство отбив,—появляется снова.

Из вечера мглового месяц — перловый; белясы метлясые травы; а лист — шелестит; окно — настезь; из кресла — Иван, брат, — осегрий свой нос растарашит на месяц ноздрями, пещерами; усом, как граблею, в окна кусается: с лаями; трясоголовый, растрепанный; глаз, как огонь.

Кто-то станет и скажет в окно:

— «Дуролопа!»

— «А вы бы потише».

И — штору опустит; и — слушает бред: —

— Перетертую тряпку Том,

Пес, —

принес.

В дом.

Ее ел: костогрыз!

А потом —

Кто-то, —

Ком

грязный грыз

Тряпки трепанной<sup>1</sup>.

Раз он, халат расплеснув, лоб утесом поставив, забил разрезалкой по воздуху, громко вылаивая — стишок, собственный:

Знаки Зодиака

Строят нам судьбу:

Всякая собака

Лает на луну.

Истины двойкой

Корень есть во всем:

В корне взять, — собака,

Не дерись с котом.

Серафима Сергеевна — рукой за флакон: чувства — дыбом в нем, волосы — дыбом, трет голову; свои седины, протертые одеколоном, в простертые дымы годич, точно в сон, — клонит он.

Появилась с котом:

— «Кот, котище!»

В колени. Котище — рурчит; катают кота; кот — в царяп; а «Иван» — в уверенье, что он кота на голову надевал: вместо шапки;

<sup>1</sup> См. «Московский чудак» и «Москва под ударом».

к коту — принялись приучать, чтобы, вытравив старую ассоциацию, новую в память поставить.

— «Вот, — Васенька!»

— «Очень забавная штука!»

И сел, губой шлепнув, — с котом.

Но лукавую шутку подметивши в бреде, она эту шутку выращивала, чтоб отвлечь от страданья; лукавец за шуткою, как из норы, вылезал; и с посапом смотрел, как она представляла — оленя, слона.

Где страданье, как громами, охало, на сострадание переводила страдание.

Повесть страдания — совесть сознания.

Солнцем над тьмою страдания — самосознание: вспыхнуло!

Вспыхнуло из-за спины; круто перевернулся; и — видел: блеск белый живой, электрической лампочки: комната; в ней у окна он стоит, прислонясь, вырезаясь на небе, усеянном звездами; то — отраженье от зеркала.

Вот же он!

## ДЕЛО ЯСНОЕ

Серый халат с отворотами — стертыми, желтыми? Как? Не на нем? На нем — пестрый, — халат был подарен Нахрай-Харкалевым, профессором и знаменитым ученым, объездившим свет; он приехал из Индии, с белоголовых высот гималайских с мурмошкой малайской; года, нафталином засыпанный, прятался; вынут, надет; а мурмошка — на столике: вместе с фуляром очков, с разрезалкою, — вот!

И прошлепал он к зеркалу — глазом вцепиться в квадратец повязки.

— «Сто сорок сорок! Почему-с? И — откуда?»

Глазную повязку поправил.

Коричневый клоч волос — где? Обвисает, как снегом, нестриженным войлоком: видно не красился.

Как вырос нос? Щека, правая, — всосана ямою, шрам, процарапанный ярко, — вишневого цвета — стекает в усищи, которые выбросились над губами, как грабли над сеном: седины свои ворошить.

— «Дело ясное!»

Взаверт, — свою завернувши ноздрю, закосив на себя самого

чрез плечо; на плече он серебряный волос увидел; серебряный волос с халата он снял.

Тут малютка какая-то,—барышня очень приятная, за-руку взявши, от зеркала прочь повела:

— «Не полезно, профессор, разглядываться!»

Кабинетик был маленький; в темнозеленых обоях себя повторяла фигурочка: желтая, с черным подкрасом.

Где туго набитые книгой шкафы?

Вот—кровать; стены белые, гладкие, с голубоватой холодной каемкою; коврик.

— «Скажите пожалуйста!»

Жмурился, точно от солнца, внимая себе:

— «Ничего-с... Образуется...»

Образовалась же комната—все-таки: было то—чорт знает что!

— «Извините, я—кто, с позволения заметить?»

— «Профессор Коробкин».

— «Как так? Быть не может!»

И руки потер: формуляр его ввел в овладение именем, отчеством, званием, рядом заслуг пред наукой; и «Каппой»—звездой.

Припомнилось,—

— как Млодзиевский его волочил, точно козлище в аудиторию—кланяться в щелки ладошей и в гавк голосов сквозь гвоздику кровавую; этот венок перед ним два студента держали, а Штернберг, астроном, огромную, «Каппу»,—звезду, в отстоянии тысячи солнечных лет,—подносил!

Десять чортов,—иль тысяч пустых биллиоников, лучше сказать, километров, его отделили с тех пор от... «Коробкина»?

— «Каппа-Коробкин!»

Тут он, положивши на сердце футляр от очков, как державу, другою рукой разрезалкой взмахнувши, как скипетром, над своим царством, над «Каппой», звездой,—депутацию встретил, иль...: личико высунулось, на одну став колено под ним; эта белая тень на халате, малютка, ему оправляла...—как-с, как-с, нет позвольте-с,—...штаны?

— «Я и сам-с!»

И к окну отошел: подтянуться.

Серебряносиний издрог бриллианта, звезды, встал в окне; в размысленье ударился он, оправляя штаны: небо—дно, у которого сорвано всякое дно, потому что оно—глазолет: сквозь просторы атомных пустот; где протоны—сияют, как солнца; созвездья—

молекулы; звездное небо,—вселенная, клеточка: звездного, или небесного тела, в которое он, как в халат, облечен.

И он выкинул, рывкнув, в окно разрезалку свою:

— «Макро-мир,—как сказал Фурнье д'Альб».

И увидел: с ним вместе в окошко знакомое, будто Надюшино, дочкино, личико,—высунулось; и ему из окна объяснял: небо—дно, у которого сорвано дно; и оконный квадрат, ими вместе распахнутый в небо,—распахнут из неба же.

— «Небо,—наш синий родитель: протон; так сказать, электронное солнце!»

Тут понял, что—сад перед ним: зазаборный домик на припекке желтел в мухачах—в этом месте; и Грибиков шел проветряться; а тут—что такое теперь?—Неизвестный подъезд?—Над подъездом какая-то твердая морда из камня морочила.

— «Где ж переулоч?»

— «Какой?»

— «Табачихинский?»

— «Девкин!»

— «Взять в толк!»

И—умолк.

Не сказал, что тревожится: память отшибло; вчера же он ехал к Матвею Матвеевичу Кезельману, к кассиру Недешеву, с дачи, в Москву, получать свое жалованье и с Матвеем Матвеевичем о делах перекинуться; пер он полями на станцию; и собиралась гроза; встала желтая тучища; после ж,—ударила молния.

Деньги-то, жалованье: получил, и—куда-то засунул! Фу,—чорт! и похлопал себя по штанам: они—пусты.

А актер входит в роль, ее даже не зная; и—он: он трудился над ролью «Коробкина».

## КОРОБКИ ЛОМАЛИСЬ

Его навешали: пришел Задоплатов:

— «Уф,—сам я стал одр: умерла Анна Павловна».

Он—не расслышал: зажмурился, пальцами отбарабанив, внимая себе, как другому.

— «Будь бодр: чего доброго,—встанет твоя Анна Павловна».

— «Да умерла,—говорю».

— «А... Взав в толк...»

И—умолк.

Приходила сюда Василиса Сергевна:

— «Мы—что; мы—живем: а вот Надя твоя долго жить приказала...»

— «Что ж: я поживу еще...»

Видно,—не понял; вдруг—понял он:

— «Наденька?.. Как?»

И из глаза, единственного,—в три ручья!

Громко фыркая, плачась, что вот он —один и что некому плакаться, протопотопил с неделю под дверью; и выплакался, положив седину, на колени: к сестре.

Лир—Корделию встретил.

Плаксивый период прошел.

С того времени в памяти рылся: расспрашивал:

— «Ну, а Цецерко-Пукиерко, чорт побери,—что и как?»

Василиса Сергевна:

— «Ах,—не говори: скрылся Кнерко твой; след простыл; писал —в «Искре».

— «Все умерли,—что ли?»

И глаз—вспыхнул искрою; не избежать горькой доли; и глаз—погас! Каждый из нас, вспыхнув искрой, зная, гасит свой след—в бездне лет.

— «Да!»

Без дна—времена!

И по памяти он заметался кругами: года улепетывали, как испуганный заяц; и он припустился в бежавшее время, испуганный заяц!

И вновь косохлест, подымающий бреды, где —Грибиков (дрянь снится нам) из-за форточки сызнова фукнул; и—сызнова рухнули прахом года, как в дыру:—

«Дррр!..»

— «Война мировая, профессор Коробкин!»

«Драмбон»—

—точно рапортом дробь выдробатывал, вздрагивая, барабан: др-дррр—

—тарртаррадар!—

—дрр-дро!

— «Правой Раз!—вскрикивал прапор в туман: за забором отряд пехотинцев прошел: «Дрроо!»

## КАРЕТА, КВАДРАТ

Удар, драма, дар:—

—дррр—

—ман... дрррроо!

Головою отпрянув и носом влетев в потолок, он вскочил, точно бой барабанов, свою разрезалку, как меч вознеся.

И залаял, кидаясь,—залаял усами: во тьму:

— «Патентованный вы негодяй-с... Я-с—ученый; и—да-с: патентованный!»

Ус белой граблей топырился: форточка в ухе открылась, и голос, плаксиво визжащий, как ножик точимый, мозги и составы оттуда разрезывал:—

— «Что же,—давайте: давайте тягаться; попробуем, как патентованный ножик задействует над патентованным мясом!»

— «А, а!»

Вынималось дыхание; тряпкой заклепывали разорвавшийся рот; он, всплеснув голубую полтой, на которой оранжевые, сизосиние, желтые пятна в глаза Серафиме взлетели, зажав свои уши, спасался: под столик—на корточки сесть.

Серафима—под столик: на корточки сесть, успокаивать, одоколоном за ухом тереть, чтобы—

—форточка в ухе: закрылась.

— «Дрроо!»

— «Дроби пролеток, профессор: чего вы волнуетесь?»

— «Дроби?»

К окну выходил уверять: эти дроби открыл математик Бернулли: — «Вот что-с: теорема Коши,—та, которая связывает теорему Фермата с рядами дробей в разложении сумм степеней...»

И в светящийся блеск, пролитой из окна, засветяся своей сединою, он тыкался пальцем в пылиночки, тща их вычислить:

— «Дробь: единица,—гм,—в степени «эм», плюс, два в степени «эм», плюс ряд точек, плюс «эн», степень «эм», по гм-гм—степеням: «эн»,—пылинку на пальце разглядывал; к пальцу приставился носом:



— «Бернулли ввел дробь такие; поэтому их называют Бернуллиевыми; в них память прочислена; а то—дыра вместо памяти. Глазом своим из опухшего века глядел вопросительно: память в квадрат возвести? Открыть скобки?»

— «Сто чортов и двадцать пять ведьм!»—заягался он носом. Удар за ударом:—

—оглоблей—

—по памяти!

Черный квадрат, а не память: на глазе сидит.

Он выносит за скобки его...

— «Не срывайте повязки!»

И—перекувырки: незыблемый остров, звезда его, «Каппа», которую знал, как пять пальцев, где жил,—унырнула, как кит под ногами; квадрат, став каретою черною—ринулся; он—за квадратом: довычислить!

— «Тряпку и мел!»<sup>1</sup>

И сквозь солнечный луч, расплескавши халат, как павлиний, играющий красками хвост,—в двери он; а—за ним: Серафима, Матвей Несотвеев и Тер-Препопанц,—все,—повыскавав, ринулись в планиметрические коридоры: со шлепом и гавком!

За всеми за ними, глаз выкатив, ринулся пузом Пэпэш-Довлиаш.

Привели, уложили:

— «Пузыры!»

Кризис кончился.

## ПОСТУПЬ ПОСТУПОЧНАЯ

Отрывали ее: в этот номер, в тот номер, их—шесть!

И из номера в номер, как тихий теленок, он, туфлею шлепая в пол—

—за ней шел!

И носище просовывал в стаю халатов—узнать: Пертопаткин, Кондратий Петрович, войну отрицавший, за это сидевший,—какой поднимает вопрос?

Поднимался вопрос:

— «Человек, что такое?»

<sup>1</sup> Бред имеет содержанием события первого тома «Москвы»



Пух, пыли,—взлетают с земли; град—слетает из неба; и он—слетал: на-голову:

— «Человек... есть... число...»—искал слов.

— «Не гармония ли?»—сомневался Кондратий Петрович.

— «А я-с утверждаю: число—искал слов—«звуковых».

И просил Серафиму Сергеевну: подсказывать.

— «Ритм?»—сомневался Кондратий Петрович.

Зрачок, как орленок, плескался, как крыльями,—веками:

— «Он—отношение числа колебаний». Просил Серафиму Сергеевну: подсказывать:

— «Скажем,—к рукам?.. Или,—скажем,—к стопе?»

— «Что ли,—к поступи»—слова искал.

И зрачок ушел в веко, как желтый орленок: в гнездо.

И Кондратий Петрович, всплеснувши руками:

— «К поступку?.. Как сказано-то?»

Николай Галзаков, заболевший солдат, приседал от восторга: орлом:

— «И выходит-то—вот что: ногами мы слушаем!»

Желчный Хампауэр подкрался: второе пришествие, собственное, проповедывать.

— «Слушайте поступь мою; это—я: к вам пойду!»

— «Вот: извольте видеты!»—как лопнет за спинами.

Видели, что Николай Николаич, Пэпэш-Довлиаш, с громкой жалобой Тер-Препопанцу на кучу показывал, с Тер-Препопанцем подкравшись и слушая жадно протянутой челюстью; он к Серафиме Сергеевне с иронией выкинул руки свои:

— «Esce féminin...<sup>1</sup> Вы-то что смотрите тут!»

А профессор, как пес, защищающий дом—на него: хрипло взлаял:

— «Живем, сударь мой,—говоря рационально,—у вас непорядочной жизнью-с: горилл, павианов, гиббонов-с!»

Пэпэш, не ответа, показывал с дьявольской радостью им на отверстие двери глазами.

— «По камерам!»

— «Там—гулэ-ву!»

Пертопаткин к нему приставал:

— «Верю в правду, в сознание, в категорический императив, а не в грубое право насилия, здесь практикуемое».

Николай Николаич же ручку— в карман, а другою в бородку; профессору пузом своим передрагивал:

— «Как самочувствие ваше, коллега?»

— «Прекрасное...»

— «Стул?»

Глаз налучив,—бараний, пустой, —ну пригласывать пожкою, «Тонкинуаз» напевая; и—вдруг: к Серафиме:

— «Клистир ему ставили? Ставьте!»

И броской походкой—бежать: коридорами; и—выключатели щелкали; в ламповых стеклах выскакивал блеск, электрический, белый.

Губа—принадлежность едальная; фейерверк слов в ней—откуда?

Под небо ракетой выбросил: силу мысли свершится-таки обузданье гиббона прямящею правдой: «да» правды есть—категорический императив, что ни скажешь!

Пузырь из плевы —человеческий глаз: так откуда же фейерверк?

С ним он шарчил коридорами: правда есть первоначало, «п» в «да»!

Шаркал шаг; и,—да-с:—раз; и—да-с: два-с!

— «Голова,—ладно: при!»—Пятифифрев подбадривал.

Три... Семь...

И—темь.

Николай Николаевич—действовал.

Скорби седые его принимала на грудь; и расческою космичесала; к ней близил единственный глаз; ей гырчал успокоенно в ухо:

— «Мой батюшка, «лямбда»—простое число...»

— «Лямбда» ж с вычетом трех, разделенное на два,—Берцуллиево!»

Как лавина, из белого облака, грозно сверкнув серебром, грохотаньем и мраком напучась,—тяжелою массою рушится в пропасти,—так Серафимиз, из воздуха воздух, серебряная в серебре,—грохотала.

## ПРИШЕЛ ТАРАКАН

Как, чорт, отчество, барышни в фартучке? Ротик—малиновый; личико—мило овальное; платье—вишневое...

<sup>1</sup> Вот женщина.

Ей он подшаркивал:

— «Ну вот-с!»

— «Говоря рационально...»

— «И—я-с!»

И смотрел исподлобья с приятным лукавством, в обязанность влопавшись: личность свою на себя, как халат повисающий в шкапе, надеть.

На плохом самокате возможна езда; взяв большой интеллект в свои руки,—поехал на нем: дипломат!

— «Я-с—к услугам-с!»

У губ появилась нрония.

— «Что, мой родной?»

И глаза заглянули в глаза.

И взяла его за-руки; он же заплатой—в звезду заожонную; глазом—в нее, скрывши дырочку в памяти, темою выбрав вопрос отвлеченнейший.

— «Вы камфару положите; и к ней через месяц придите: она—улетучится...»

И перешлепнул губою:

— «И—я: в свои думы».

И клок бороды ухватив, ткнул под нос:

— «Полагаю: в системе Минковского время быстрее...»

Прислушался к голосу из-за стены: Николай Николанч, морская свинья, видно свинствует в номере «шесть».

— «Шут ломается!»

Нос завернул, будто запах услышал плохой:

— «Фу ты, чорт»—растерял свои мысли.

— «О чем я?»

— «О времени».

Вспомнил: к столу—начертать знак числа:

— «Чтоб представить его»,—показал ей число—«надо взять единицу; и к ней, говоря рационально, приписывать столько нулей, чтобы два миллиарда лет жизни наполнить, и ночи, и дни приставляя нули к единице».

Отставивши ногу, качнул сединой, переживши число, им представленное, в миллиардах лет жизни, осиливаемой черчением ноликов, между двух жестов руки Серафимы Сергевны, протянутой к скляночке с бромом, и скляночку эту на место поставившей.

— «Вы—Серафима?... Простите, пожалуйста,—отчество?»

— «Я—Серафима Сергевна».

— «И я говорю: Серафима Сергевна!»

Похлопал себя по груди; и, —огладивши бороду, сел.

Серафима Сергевна смеялась злоречным, грудным смехом; оправила скатерть:

— «Я чай заварю».

Наводила уют.

— «Кипяток: в номер семь»—с тихой силою: к двери.

Рачком прибежал чернокан; сел у ног и свой ус философски развеял; профессор бросал ему крошечки, припоминая, как мухи садились на нос; но кусаки исчезли: пришли тараканы.

Они распивали чай; голова Галзакова в дверях появилась; за ней Несотвеев стоял:

— «Сестра?»

— «Брат?»

И профессор, поднявшись с кресла, их звал к чаепитию; стулья придвинул им сам; и горячий стакан передав Галзакову, он стал занимать разговором гостей:

— «У китайцев «два»—«пу», или—«уши»...»

— «Поди ж ты»—Матвей обжигался губами.

— «Шесть: «Татисит упа»—зулус говорит»—и вознес разрезалку в окошко, под звезды он.—«Значит: взять палец большой руки, левой-с, когда пересчитана правая-с!»

Так это вырвнул, что таракан, крошки евший,—фрр: в угол! Все—в смех.

Серафима Сергевна сидела с расплавленным личиком: в розовом жаре своем.

Николай Галзаков подмигнул:

— «Не нарадуешься: голова отрастает!»

Профессор же пил с наслаждением чай; он поставил стакан:

— «Еще, Наденька!»

— «Я—Серафима Сергевна».

— «А?»

И—почесался за ухом: когда он, бывало, работу откладывал, то—шел он к Наденьке: броситься словом!

Матвей Несотвеев шептал Серафиме:

— «Как мать, и, как дочь, ему будет!»

— «Значит—близнята»—решил Николай Галзаков, опрокинув на блюдце стакан

Значит:—

—Лир—

—и Корделния!

Кэли, Лагранж и Кронекер<sup>1</sup>, как тени родные, ходили за ним по пятам; эти образы он переделывал в факт юбилея, в плод жизни; певажно, с кем прожил ее: с Василисой, или с Серафимой...

Ночь исчезает на ночи, в которой сияет звезда; он звезду увидал в месте ока—затопами света: не свечку, которой жгли око; он, в звездное пламя взвитой, прядал пульсами жизни; на рану,—на красную яму,—надели заплату «они»: не на жизнь!

Опа—фейерверк!

Абелю<sup>2</sup>, тени родной, лоб подняв на пустое пространство, твердил:

— «Исчисление Лейбница съел инженер!»

И—в пустое пространство твердил:

— «Социология,—вывод теории чисел»

А лоб, точно море, в пустое пространство свою уронивши плину, прояснялся.

— «Закон социального такта найдет выражение в фигурном комплексе».

И—к Софусу Ли<sup>3</sup>,—

—к этажерке:

— «Мой батюшка, числа—комплексы живой социальной вариации!»

Так убеждал этажерку он: Софуса Ли.

Пифагора связав с Гераклитом, биение опухолей—на носу, на губе, на лопатке, в глазу,—пережил сочетанием, переложением чисел,—не крови; кривые фигур представлял—перебегами с места на место: людей.

Игру выдумал.

— «Будете «а»...—точно пулей сражал Пертопаткина.

— «Стало быть...»—оком наяривал дробь.

— «Вы станьте сюда вот».

И оком толкал:

— «Не туда-с!»

— «Ну, вы будете—«бе»—разрезалкой ловил Пантукана.

— «И, стало быть...»—бил разрезалкой в плечо.

— «Вы параболу справа налево опишете...»—и разрезалкой параболу справа налево описывал.

<sup>1</sup> Математики.

<sup>2</sup> Математик.

<sup>3</sup> Математик.

— «А Пертопаткин параболу слева направо опишет...»—параболу слева направо описывал он.

Завернувши ноздрю, доставал свой платок: отчихнуть; носом—в небо: поднихивал формулу.

— «Ну-с, а теперь»—пальцы прятал под бороду; и их разбрызгивал в воздух из-под бороды:

— «Разбегайтесь!»—

— «Из «бе-це-а» —

— в «а-бс-це»!»

И Пертопаткин ему:

— «Мы играем, как в шахматы!»

— «Это же-с шахматы нашего века... А в Индии в шахматы,—пу-те—играли людьми: не фигурами; ставились воины; и—выводились слоны».

Параноик, дразнило,—ему из кустов:

— «Каппкин сын это выдумал!»

— «Справьтесь в истории шахмат»—профессор в ответ.

И Пэлэш-Довлиаш с наслаждением чудачества эти подчеркивал:

— «Видите?»

Видела: силится всем доказать, что профессор Коробкин—дурак; демонстрировал Тер-Препопанцу (я что де: оставим!):

— «Вы видите сами!»

Орлиная, цепкая лапа, схватившая курицу: курица в воздухе бьется; и—видит: из неба, из синего, злой и заостренный клюв к ней припал!

Умоляла его Серафима.

— «Профессор,—сдержитесь».

Переориентировать всю биографию (детство, Кавказ, надзирателя, годы учебы, женитьбы)—не просто; и так он с усилием сдерживал мысль, чтоб в нее контрабанда не влезла.

Себе объяснял, как попал в этот дом (знал, —в лечебнице, болен): его шибануло оглоблею до сотрясения мозга.

...  
— «Я все вот стараюсь понять его жизнь и ему показать: на картинках»—пыталась другим объяснить Серафима Сергеевна—«Я их подбираю со смыслом; и этим подбором стараюсь помочь ему память о прошлом сложить; его бред—переводы действительно бывшего на язык образов, очень болезненных; образами излечить надо образы; вправить фантазию в факт».

Приюсила альбом; и—подобранные мастера Возрождения про-  
шли: роем образов:

— «Это—Карпатчио».

— «Это—Мазатчио».

— «Вот—Рафаэль, Микель-Анджело».

Точно родною дорогою от Рафаэля к Рембрандту вела, совер-  
шая в нем роды:—

— из фабул страдания вырос осмысленный обла-  
гороженный образ увенчанной жизни!

И над Микель-Анджело плакал он:

— «Вот: человек».

И увидел: глаза ее, золотом слез овлажненные,—голубенели  
звездой.

— «Вы поняли?»

### ГЛАЗОМ, ОТКРЫТОЮ РАНОЮ, ВИДЕЛ ОН

Свет—ясно желт: канареечен; серая, карекофейная—тень; толь-  
ко дальних домов ярко-желтые призраки ласжно чистеют: медовыми  
окнами; встал из-за рденыя деревьев профессор Иван, жмуря глаз,  
как от солнца.

То было тому назад—год.

С Серафимой глядели: как смуглыми скулами пучилось с ла-  
вочки оцепенелое тело в шинели, склоняясь на озолощенный ко-  
стыль, сжатый в пальцах; серли: щетина и щеки; и врезались:  
лоб костяной, в синих жилах, невидящий глаз, застекслый, как  
у судака.

И костыль,—

—золотой от луча!

Пятна ржавые ярких расхлестанных листьев качались перед  
обескровленно мертвым.

Профессор Иван—с глазом, точно с открытою раной, стоял,  
опустивши главу, точно гостя высокого встретил; себе самому,  
как другому, внимал.

И ему Серафима:

— «Смотрите-ка... С прифронтной полосы; его мучили, били,  
едва не повесили; он обвинен в шпионаже!»

— «Невинно...»

— «Хампауэр, Иван».

Два Ивана!

Вдруг—

— трупы не плачут:—

— из белого из остексленого глаза  
слеза,—человеческая,— в оке, видит он, виснет, отблещивая стек-  
ляющим перлом: в перловые росы.

Слезе поклонился профессор Иван, потому что страдашем, как  
палкой, ударило; это—страдаше Ивана Хампауэра, а не его!

Понял: совесть сознания—повесть страдания.

### ТОМОЧКА-ПЕСИК

Однажды, полгода назад, кто то в двери усиленно стал коло-  
титься; профессор усталился с громким:

— «Войдите!»

Влетел—

—Никанор!

С независимым видом, как будто расстались вчера лишь, мор-  
гал перед братом он, ногу отставив,—таким гогольком:

— «Здравствуй, брат!»

И стремительно выпала из задрожавшего пальца очковая спица,  
чесавшая ухо профессора: брат, как на нос, ему сел.

Носы вытянув, стойку они поддержали, как псы под забором  
(ногой—на забор); брат, Иван, приседал Никанору под нос и за-  
глядывал глазками в глазки:

— «Ты,—ясное дело?»

Зашаркал с попышкой.

— «Как видишь»,—руками в карманы отчаянно всучивался  
Никанор.

Что же дальше?

Формальности: чмокнулись.

Брат Никанор называл, как и прежде, его:

— «Брат, Иван!»

Брат, Иван, с «Никанорушка» шаркал вокруг Никанора, бросая  
глазок, как мячик, мальчишкой метаемый под колоколенный  
шпиц; Никанор же, пофыркивая на Ивана, на брата, глядел сверху  
вниз, как и прежде, когда брат обшил его: фрак ему сшил,  
шапо-кляк подарил.

С головы до пяты, до последней сорочки обшил, начиная с  
енотовой шубы, в которую брат, Никанор, исчезал; это было лет

двадцать назад; Никанор государственное испытание сдал: в Петербурге.

Оказия: шуба исчезла, а брат, Никанор, голышем появился в Москве из Сарепты, куда он заехал случайно.

Багаж стибрил жулик; но брату—ни слова:

— «Пустяк-с!»

— «Так себе!»

— «Предрассудок!»

Хотя бы спасибо!

Ходил легкомысленно лето и зиму в тряпчечке (плед полосатый), швыряя ее независимо в руки почтенных швейцаров гимназии, где стал служить.

И теперь прилетел независимо он.

— «Как ты тут?»

Будто не было черной заплаты, кровавого шрама, седин; брат, Иван, завернувши носдю, ею чмыхал:

— «Да так-с: ничего-с...»

— «Вопрос—в том...»

И—волчком завинтили они меж постелью и столиком: брат, Никанор, вокруг брата, Ивана; и столик у брата, Ивана, как у бегемота:—

—крях!

—бац.

И с блаженством носы в потолок запустив, друг о друге сужденья свои изложили: друг другу.

Попрежнему брат, Никанор, зашагал вокруг стола; и профессор, попрежнему тицетно гонялся за ним с кулаками: по кругу:

— «Всегда повторяю я: выломал, чорт подери, из себя лингвиста какого-то ты!»

Никанор, как и прежде, парировал:

— «Ум—хорошо, а два—лучше: ты, вот, математиком!»—и, как морской конек прыгал он—«вышел; я—вышел!»—ерошился едко—«словесником».

С вызовом:

— «Кто из нас лучше,—так, эдак?»

Но брат с кулаками его настигал в полукруге стола; и тогда, гоним сбавив:

— «Я думаю—он удирал от стола: взаверть, скоками.

— «Думаю, что—оба лучше!»

Дразнился за креслом.



Карьера учителя шла в нисходящей градации: Питер, Варшава, Саратов, Ташкент!

Спор, стремительно вспыхнув, стремительно же обрывался; отспориw, стояли: носами—друг в друга; и гладили бороды с нежным блаженством:

— «Так!»

— «Вот!»

И,—как прежде, сперва помолчав:

— «Никанорушка,—что же ты думаешь делать в Москве»— брат, Иван, с приседанием.

— «Да по финансовой части я думаю»— брат, Никанор, как в оюп, перепрыгнул за кресло: от столика.

— «Именно,—что же-с?»—выпытывал брат, наступая на кресло: от столика.

— «Думаю в банке служить».

В Государственном банке,—не в банке с водой.

И пока Серафима Сергеевна не выставила Никанора Ивановича, он, оцетинившись, тыкался.

Был он таков: в коридоре небрежное и запоздалое «мое почтенье-с» услышалось: издали.

Он—зачастил; он—влетал; он—ерошился:

— «Тителев думает».

— «С Тителевым полагаем, решили: условились».

Переселение брата, Ивана, из этого дома—решенное дело; а — брат: брат Иван?

С философским спокойствием, с юмором и с пожиманьем плечей разрешился сентенцией раз:

— «Не могу,—дело ясное,—лекций читать: рассуди-ка,—ну как я прочту? И суть—в этом»—прошаркал он в угол; и перевернувшись, пошел из угла:

— «Уже—второстепенное дело, где жить: там, так—там; здесь, так—здесь».

Горько: руки—в карманы, а нос—Никанору:

— «Скончалась ведь Наденька!»

Спины подставив—в углы: из углов; молча строили: диагонали квадрата.

Один огорчался, что Наденьки нет, а другой заключал, что о собственном доме у брата Ивана составилось здравое мнение: сиденье в коленях Никиты Васильевича—не сидение в кресле своем; о возможности жить им вдвоем, или даже втроем, если взять на

учет Серафиму Сергеевну,—закинул он слово; и тут же умолк, потому что заметил волнение.

Это—естественно.

Брат произвел революцию в брате; с приездом его поправленья заметили все; не рысцой, а галюном, профессор поимчался к осмысленной жизни по дням.

Аналогия вынырнула:

— «Права Наденька-с,— что им скажи: неспик Томочка стал человеком».

— «Как?»

— «Бегает?»

— «Где?»

— «Здесь?»

Кто? Как? Никанор?

— «Впрочем»,—видя испуг Серафимы Сергеевны, —«я пошутил-с!»

Аналогия эта исчезла.

## У ДЕВКИНА ДЕВКА

У Девкина встала церковенка.

Ходит девица; и парень—за ней: завитой:

— «Расхарошая краля хрестей, почему вы такая лимпочка кислая?»

— «А отчего вы такой раскурчавый баран?»

— «Я для вас протувар перемерил... Желаете,—семячки-с?»

— «Благодарю: чай с изюмом пила... Не трудитесь напрасно: сапог даром снесите».

— «Я—не какой-нибудь: пару наметки купил, шубу шью».

Разговор обрывается; фортка захлопнута.

Элеонора Леоновна перед цветочком, под скворушкой тонет в диванчике ситцевом, видясь в обоях веселого цвета над ярким, пестрявеньким ковриком; выглядит свеженькой, мило невинной; не скажешь: шельменок.

И все:

— «Домна Львовна...»

Да:

— «Да,—Домна Львовна».

И ей Домна Львовна:

— «Куда? Посидели бы!..»

Элеонора Леоновна—к Фиме с кулечком сладостей для Ивана Иваныча; Домна же Львовна—одна; Мелитиша—кухарка, друг дома,—на кухне; а Фимочка—в клинике; чаю проглотит,—в бега.

Редко виделись с Элеонорой Леоновной; Фимочке н<sup>е</sup> о чем с ней; она—тупится: молча:

— «Такая хорошая вы».

И от этого Фимочка кажется беленькой, глупенькой; русые волосы в солнечном лучике великолепно отблескивают: как сиянье вокруг головы; а скворец—верещит.

— «Моя жизнь—не такая».—Леоночка ей — «я — порочная, грешная...»

Фима терпеть не могла, когда козий прищур и русалочий взгляд появлялись при этом; и знала, что если она пожалест,—получит щелчок:

— «Эти тонкости ваши рабочему классу чужды».

Своей ручкою с матовой прожелтью выщепит волос порывисто; и—заостряет рабочий вопрос с таким видом, как будто она собирается Фиму за локоть куснуть.

И какое-то—«ах, да зачем»—подымается.

Был разговор только раз: о друзьях и желании их, чтоб профессор с сиделкою жили во флигеле Тителевых; в Серафиме, как птичка, вспорхнуло сердечко; сидела с открывшимся ротиком; Элеоноре Леоновне в глазки агатовые загляделась она: так и вспыхнули.

Элеонора Леоновна тут же себя заморозила:

— «Ну, я пошла».

Но заботою этою стала близка она Фимочке.

Все же дружить с ней нельзя, как с Глафирой Лафитовой, через которую и познакомились, где-то случайно; Глафира, которая лишь социальным вопросом жила, а не личною жизнью, уверила:

— «Тителевы превосходные личности».

Бредила эта Глафира,—брожением масс, производственными отношениями; слышала тоже не раз от Глафиры о некоем Киерке: громкое имя в рабочих кругах, этот Киерко долгие годы с профессором жил бок о бок; он теперь—нелегальный.

Но хлопоты о помещении—не без него.

— «На Леоночку не обращайтесь внимания; ей тяжело; и потому: фанатичка».

И верилось, что тяжело; а вот «что фанатичка»,—не очень. Глафира в контакте: Шамша Лужердинзе, Богруни-Бобырь,

Гржетенко, Жерозов, Торборзов, Геннадий Жебевич и Ричма Ассирова-Пситова—ее товарищи: они партийцы.

Глафира Лафитова,—да; что «Леоночка»,—как-то не верилось; Фима дичилась, когда с сухотцею, с прикурами, Элеонора Леоновна ей:

— «Вы опять с вашим сердцем».

А тут—Домна Львовна:

— «Леоночка, это—чертенок, шельменок... А все же в обиду ее я не дам».

Вся серебряная, небольшого росточку, в очках; платье с белыми лапками карекофейного цвета; и—в чепчике бористом; то у окна под скворцом восхищается Глебом Успенским; а то у плиты учит строго свою Мелитишу картофель томить; то по Девкиному переулочку с палкою бродит, укутавши голову в шапочке круглой фуляровой, с черною шалью.

А вечером—за самоваром:

— «Что, Фима, страдалец твой?.. Ты береги уж его...»

— «Да уж я...»

И—к «мамусе», ее теребить: завертушка! В кофтенке проношенной, старенькой вертится; личико станет лукавым задором; и белыми зубками мило малиновый ротик сверкает.

В последние дни приставала старушка:

— «Пошла бы к Леоночке: не заболела ли? Скрылась... Ни слуха, ни духа».

Пойти как-то боязню ей.

## ВЛАДИСЛАВИНЬКА

Все же—калошники, зонтик; пошла в синесером своем пальтене, в раздетавшемся плати, кисте и поярченеюй, —в перемелкании (на карем заборе—крылатая, спорая), быстро крутя персулками в головоломку играли—тупик с тупиком.

Едва вырвалась—в пригород.

— «Козиев Третий—тут где?»

— «Ты вертай водоточиную—к Фокову: вправо; пройди Фелфоковым; будет тебе Гартгалов; там—прямо вайай».

И уже тротуариком. Козиев пляшет, заборами валится; дом Не-перепрева выпер; и—

— Психонержицкая —

ржет за забором с Егором.

И бродит, косясь на заборца, Маврикий Мердон

«Этот Гителевич?»

— «Этот самый».

Плечо отзвонила; вот—ражая рожа: в воротах; оранжевый домик с оранжевой крышей; ропотень капелек; белая тусина; долго звонилась.

— «Здесь—жить?»

«Бац»: и—

— нос Никанора,

— очки Никанора—

— ударили по-носу.

Он, подскокивши, очки и рукою, и носом ловил, потому что едва не слетели:

— «Вы—что?»

На руке, на другой, его шею рученкой обнявши, чернявый младенец висел и ручонку слюнями мусолил, пока Никанор его ссаживал:

— «Ты, Владиславинька,—шел бы себе!»

— «Это кто же? Сынок Леоноры Леоновны?»

— «Шиш»—из кармана сухарик с платком носовым, в воздух взброшенным, вынул; и—тыкнул сухариком в ротик:

— «Вот,—на: тебе... Жри...»

— «Домна Львовна меня»...—густо встыхнула, но Никанор перебил:

— «Вот—сюда; не споткнитесь».

Не дав ей раздеться, тащил коридориком: в ряби тетеричные; и влетела испуганным носиком—в ряби оранжевые:

— «Посидите».

Тут, сгорбившись, желчно руками в карманы всучась, он вильнул пиджачком, как балетною юбкой, затейные па изучая: и—был таков.

— «Я в переделку, должно быть, попала» —подумала, в карие крапы обой и горошины желтых, протертых кретонов.

Китаец фарфоровою закачал головой, потому что из двери в одной рубашонке младенец полез, а вдогонку старушечья, желтая лапа его за рубашечку—хватать, заголяя места неприличные: уволокла.

Из-за двери уставились: челюсть старухи и нос; покосились и спрятались.

Скрипнул сапог в коридоре; просунув испуганный носик, она обнаружила, что Никанор, встав на цыпочки, нос протянувши к

носкам, посклидательным знаком данно, вероятно, постмерки вышпиливал в ряби тетеричные, не решаясь войти; а расстроенный вид выдавал неприятный сюрприз, разрешаемый видно с собою самим в коридоре, под дверью.

Как легкий тушканчик, отдернулся он; но сейчас же—наскоками, боком:

— «Я должен заметить, что Элеонору Леоновну видеть нельзя-с» —очень громко, в сердцах.

Став малюткой, пицала она:

— «Домна Львовна... меня...»

Вдруг доверчиво он улыбнулся:

— «Я сам в затруднении: Элеонора так, эдак,—Леоновна, что ли?»

— «Больна?»

— «Того хуже!»

— «Быть может, могу я помочь?»

Он пустился ее выпроваживать рядом услуг с подскакашем, с подшарками, с перетираньем рук, с подношением калош, о которые руки он вымазал,—без объяснения.

— «Не оступитесь: ступеньки...»

Зачем-то бежал перед ней по дождю, до ворот; весь подол ей обрызгал, танцуя на лужах; возился с засовом, пытал:

— «Неприятная штука-с... Она—затворилась; и—не принимает... Терентия Титыча—нет: в Петрограде; так что: баба-Агния —в кухне, на рынке; приходится» —он покраснел —Владиславика» —шаркал над лужею—«пестать».

И шаркая,—в спину: засовом; едва не зашиб.

Получилась одна чепуха; ничего не добились: и—думала от Домны Львовны влетит; шла с изморщенным лобиком.

Вдруг,—в спину:

— «Стойте-ка!»

Вздрыгнула: за руку, дернув,—схватил Никанор: без пальто и без шапки:

— «Вас Элеонора Леоновна...» —путался—«просит прощения: не может принять».

— «Ну,—да знаю...»

— «Я вам покажу помещение—брату Ивану» —тащила ее, все —деревянное, дряпное, пересерелое, перегорелое; флигель.

Вот комната:



Элеонора Леоновна, — собственноручно. все выбрала, повесиле... Для брата...

Диванчик, два креслица — в аленьких лапочках, в желтолимонных квадратиках, в белых ромашках: узорик на кубово-черном на ситчике; стеганое одеяло, закрытое пологом пестро-ковровым, — постель; занавесочки — переплетение синих спиралек с разводом оранжевым; цвет же обой — чернокубовый; точью на ночь фонарики; полочки, письменный столик.

— «Вот — вам, коли будете жить: теснота — не обида».

Какое слияние цветов.

— Бирюзоватая празелень фона диванчика креслец, — в крапинах розовосерых и кремове-желтых, в горошинках, бледножемчужных; и — серо-кисельная скатерть на столике; цвета такого же коврика; обои — сиреневые.

— «Прелесть что!»

— «Все — сама...»

Коридорчик и кухонька.

— «Можно готовить... Тут — я», — показал он из дверь, — «ну, тут нечего видеть пока».

Что-то сделалось с нею: волнение, радость, щемящая грусть. И — пошла под фронтоном оранжевым; кремове-бледный веночек — над нею. В глазах закатившихся — только белки: от разгляда себя же — в себе.

А очнулась за городом. Почва зубринами; копань; песок пролысая; и — густой пес; это — выгон овец; здесь — прогарь ко-стра; и — разлогая яма; и мальчик на розовой лошади скачет в ли-ловую лужу: под скос; и — раскромсанный камень; и — красная глина.

И — домики: первые.

## УРЧИ

Как Тителев в Питер уехал, то штука — опать откололась; решил Никанор:

— «Непокойный, — чорт, — дом!»

Началось — вот с чего: раз он в спальню влетел:

— «Вы — мешаете» — вскинулась ротиком Элеонора Леоновна

Змейкою мимо него пролетела, раскинувшись в воздухе руч-ками; шляпа с пером из руки, описавши дугу, пролетела над но-сом его — на диванчик: пером — на ковер; Никанор, перед шляпой в позицию встав, заключил своевременно: значит опять офицер!

Так и вышло.

В тот вечер забырили издали; знал, что — машина; подска-кивая под заборами, дернулась, остановилась она; иностранная барышня, — та, у которой с плечей соболя и которую видел в окошке кофейни, влетела в ворота: звонила у двери; вломилась в гостиную, оюпо-наком наполнивши воздух; и вздернутым носи-ком, — на Владислава, лупса; и — пальцем по носу лупса:

— «Пети мбнстр, те вуаля!»<sup>1</sup>

Он — затрясся; он — в плач; Никанор же Иванович, на руки взяв трясуну, ей подставил плечо и очки; но она на него — нуль внимания, зонтиком стукнула в дверь:

— «Бу з'эт прэт? Иль э тан!»<sup>2</sup>

Тут же с перекосившимся ротиком Элеонора Леоновна, — к барышне выскочила:

— «Же не пё пай!»<sup>3</sup>

И ей барышня:

— «Рьен, — мон анфан! Фэт вотр трист деуар!»<sup>4</sup>

Тут же, Элеонора Леоновна, ножкой подбросивши шлейфик под руку, его ухватила рукой.

— «Вы присмотрите: за Владиславом!»

И рыками с барышней: в дверь.

Там машина, как тятнет; бензиновый дымок подлетел над забо-ром: в окно Неперепрева; затараракала рыками; за Гартагаловым умерло.

Мертвое время: семь, восемь, одиннадцать; в тени прихожей под зеркалом сел.

Только полночь вскричала звонками; в открытую дверь вор-валася: замкнуться на ключ — у себя ли?

Не знали, кого пропускали они с бабой-Агнией: Элеонору Леоновну, или — еще кого?

И Никанор колотился:

— «Так — чч-тò: это — я, Никанор...»

— «Между прочим... Иванович... может быть...»

— «Так, эдак...»

— «Доктора?»

Не отвечали.

Тут он в толстолобые стены раскашлялся: взвизгом.

<sup>1</sup> А, вот и ты, маленький урод!

<sup>2</sup> Вы готовы? Время!

<sup>3</sup> Я не могу.

<sup>4</sup> Ничего, мое дитя... Исполните вашу печальную обязанность.

Решил дела партии; ну там,—карают за что-то, кого-то; ей—жаль: эдак-так; и пошел на чердак—до рассвета сигать, наблюдая крупу световую за окнами:—

—пóд-полом—

—урчи: так зверь из норы животом, а не глоткою весть подает о своей дикой жизни.

## ШИША ЗАГОЛИЛ НАД СУДЕНЫШКОМ

А утром сошел с бормотаньем, что лучше стоять в стороне с Владислави́ком;—

—он—

—ненавидимый, брошенный шиш, без вины виноватый: не смей и родиться!—

И вот, посадив на колено шиша, он колено подкидывал; штуки забавные пальцем под носиком строил; повел коридором: шишонок, свой носик задрал, кулачечком трясся доверчиво под животом Никанора:—

—и зверь любит ласку!

Но голосом, явно пропавшим, позвали из двери:

— «Войдите!»

С опаской вошел; и наткнулся на сутолочи из гребеночек, щеточек; зеркальце в сереньком кружевце, мелкой снежинкой осыпанном,—нанскось: складками морщился стол; дымы синие, как над пожарищем, над диким креслом, в котором разбросанное рукавами и шлейфом, змеясь, издыхало ужасное платье;—а женщина, в нем шелестившая,—где?

Стал искать.

И—нашел: где подушка едва выглавлялась за ширмой, —в подушку вдавилось синее личико; выскочило; и за ним вылезала худышка, упрятавши голые плечи косыночкой; точно трехдневный мертвец, не в себе: дыры, блюдца,—глазницы.

Едва дорасслушал из дыма:

— «Коли человек самый близкий,—подлец...»

— «Дела партии»—в нем перемельком...

— «Убить?»

Он, с испугу на цыпочки встав, и вперяясь в нее из-за ширмы:

— «То,—да!»

— «А коли»,—посмотрели вплотную, вгустую они друг на друга—«коли это только нарост?»

Отмахнулась от дыма; и встала под ширму, забыв, что она—в рубашоночке.

Супился туром, боясь слово молвить:

— «То,—нет!»

А она от него головою в юбчонку; и сухенько затараракавши ротиком, из-за юбчонки—головка, два плечика, талия: ручкой дрожащей искала тесемку:

— «Мир—мерзь: как паук с паутиной; мы—мухи: все, все»,—затряслась на него она—«заболевают пороками лучшие...»

Голые палочки, вовсе не ручки, над ширмой взлетели, ломаясь; и он—отошел; как сказать, что в присутствии, все-таки, взрослого,—дезабилье: эдак-так!

Но она, голоножка,—за ним: из-за ширмы:

— «А я—погубила!»

Вцепилась в плечо:

— «Я... я... с детства»—прихныкивала—«и любила, и верила; он—изнасиловал: девочку; может быть,—больше: пытал... Не меня даже»—и перешлепала к зеркалу: что-то отыскивала:

— «Впрочем, это—догадка...»

— «Кто?»

— «Салом обмазал: разъял!»

Вдруг, увидевши голые плечики в зеркале:

— «Ай!»

И—под кресло; рывнувши ужасное, черное платье, уйдя, точно в шкуру в него: под ним вздрагивала.

Никанор лоял: бред; и ее подхватив, как пушинку, по голубоватой стене понес в черное креслице: в серых, как дым, перевивчатых кольцах сложить; закрыл пледом:

— «Спустите мне штору».

.....  
Казалось: за комнатой комната; в комнате кто-то, ее схватив за руки, руку другую подкинувши в воздух,—галопом, галопом, помчится с добычей своей по векам в невыдырные чащи свои.

Прогнала от себя Никанора.

.....  
Опять-таки: Агния-баба на рынок ходила; и—видит он: просится шиш; пристаёт; он же не виноват, что—нужда; и пришлось, в руки взявши, шиша заголить—

—над суденышком.

Вот положение!

## КУКИШ, БРАТИ

А через день—гулять вытащила.

Переулоч: душок гниловат; шоколадные домики,—синие, каре-оранжевые; деревья здесь, синичники, листь■■■■ темнотабачного и перепрелого цвета просыпались: олово в небе ползет и окрапывает водоточину; роспись сбегает малярною краской.

Сбежал человек с человека в окопе и вшами, и тифами: в тыл.

Они бегали, как угорелые; Элеонора Леоповна, точно стараясь стереть впечатление,—со смехом икливим словами забрасывала:

— «Вы же знаете: Тира и я, мы—скрываемся; «Тителевы»—псевдонимы; «они» ж—отыскивали меня; значит—Тира открыт!»

— «Эдак-так,—кто «они»?»

— «Те, которые ловят «его»,—да не Тиру ж: «его»!.. Затащили меня, показали «его»; и—признание вырвали».

— «Стало быть, я полагаю, Терентию Титовичу угрожает опасность?»

— «Они уверяли меня честным словом, что—нет, что другая тут линия: не политический розыск полиции,—заговор Ставки...»  
Вон там—

— за окошком повешена шторка из желтой китайки;  
— в окошке —

— Матрешка—в бурдовой сережке,  
в рублевой вастежке, в платке голубом,  
в ясно аленьком, краповом ситчике—  
ротик разинула.

Слушает песенку:

Как вороны проюрквав,  
Злые черногоренки  
С Гришкой тащатся, — сам друг —  
К Николаю в горенки.

Как пустился наш ирой  
В игры царскосельские!  
Как задержали урой  
Меллер-Закомельские.

Петербурженская знать  
Рожу кисло скалила:  
Муха геосенская, знать,  
Ее в нос ужалила.

Ныне ж крепнет против нас  
Из-за Протопопова,  
Задом став в иконостас  
Силища располпора.

— «Все-таки: если бы Тира узнал, он—убился бы: из-за меня это... Вы... вы смотрите: молчите... И вы не спрашивайте... Вы... Я—справлюсь...»

На них—серячок, тот, который—в Москве, и который—в па-пахе: кричал под Аршавой, пропал под Полтавой; он—здесь: безобразничает:

Эх!  
Надул на всю Ивановску,  
Наплюй на всю Семеновску!  
Марина не малина,  
Галина не калина, —

Эх! —  
— в дробь: вогамн: —  
бамбэн, другодэн,  
на козе — барабан  
а на нем—таракан!

К Никанору Иванычу: под-нос:

— «У нас тараканья дыра в полтора, брат, ведра... Что же! Свет,—он не баня... Для всех место есть: место есть таракану запечному, мне!»

Они—в сторону; а серячок—к проходящему мимо ротмистрику:

— «Так говорю, ваш-рот-мистр-ство?»

Перстами—в папаху:

— «С собой,—налицо, это выведенное яйцо».

На сапог:

— «Не из блох голенище... Я так говорю, ваш-рот-мистр-ство?... Не выговоришь... Прем со мной водку пить!»

И ротмистр—наутек; кто то с темным лицом, с подхихиком,—указывая на папашника:

— «Этого,—нет, не подкупишь, брат: кукиш!»

## МОСКВА — СЕРОПРЕЛОГО ЦВЕТА

Выходит Маврикий Мердон из ворот; лицо—бритое, желтое; глазок, как нет; черный ворот рубашки; и—черный картуз; поручения—черные тоже.

Живут тут: Павлин Женопанский с Ненилой; живет Корничихин с Еленой; Ненила—за Нила; Елена—за Ленина.

— «Ну и поедешь: за Лену».

— «Не вой: Лена станет Невой».

И Маврикий Мердон это слушает; ходит гулять: и прохаживается под самым забориком Ти'телевых; ходит к Цивилизацу, который был главным заведующим фирмы «Дом По сейдон» (Сухум, фрукты); и Цивилизац дал намеренно записку Друа-Домардону—в «Пелль-Мелль»—отель.

Снес.

В погребке Швилиндзе (торговлю вином запретили) попрежнему: склад оболочек для бомб.

И Маврикий Мердон это знает; и—знает: Коханко-Поханец, мадам,—в доме колера «плюс» проживает; она—с папиросою, сиющий пепел на толстый живот шерстяной; она—сводница; Тайнойс, писатель, свой труд «Трубадуры» готовит над нею; и Лизозизийины—в розовом доме напротив живут; Нина Пядь поселилась жиличкою в рамочное заведение купца Потолобова; и повивальную бабу Сысоич (над чистой перчаткой Перши-Песососова) знает Маврикий Мердон; знает Шибздика: вот так пузей, над губою бобок; глуп, как пуп, как надолба, как пробка, как почка, и пакостит в банку, и звонкий процент получает из «банки»; с Мимозой Фетисовной жил; сын Мимозы Фетисовны—Примус!

Филипп Фентефеврев, Нефешкин, Григашкина, Флориков, Каклева, Иколева, Велекеклеву—мещане; купцы Белузрахин, Срыщов, Простобрюкин, Шинтошин.

Тут жили.

А далее—домики-особнячки: модильоны, фронтоны, орнаменты, камень; и люди—такие ж; проулочек—чистый.

Маврикий Мердон сюда ходит, в квартиру богатую: к барыне, к Мирре Миррицкой; и Третий Мертетев бывает тут; что за оканзия,—

—Мирра Миррицкая,

—Третий Мертетев,

—Маврикий Мердон,—

—перья страусовые,

—эксельбанты; и—

—черный картуз, черный

ворот рубашки; все—черное: бритое, желтое очень лицо.

Глазок—нет.

В переулочке ходит себе Николай Ньюреню-Ньюреня: в котелке; Коко Кубово, (кони под сеткой), шах Нагар-Малх, Галилевич, Нигрицкий, Леднилина, Филтиков-Плй, Лилипонский, Певако и князь Калеверцев здесь жили; и—слушали с ужасом песенку: из переулочка соседнего:

Как ходил я в караул,—  
Шеку унтер дулом вдул.

Дйлим-бўлим, дйлим-дрю:  
— «Очень вас благодарю!»

Ружьи — дружьи: много дул!  
Спины — к немцу: на краул!

Дйлим бўлит пуляет:  
Корпус на Москву идет.

В пуп буржуя, — дйлимбей, —  
Пулей, а не дулом бей!

Дальше—выход на улицу: в свет, где окно; над окном: «Маскарад-Напрокат. Перстопалец!» —И палец в окошке на маски показывает.

Густоселая жизнь: неотводное и безысходное горе; пространство—разбито, а время—исчерпано: прядает с домиками, точно с прелыми листьями—в бездну: табачного и серопрелого цвета труха,—не Москва!

## В РАСШАРАП

Лишь кра селитряная, красная, с пасхою в лавке; художник, в хламиде, с копнищей волос, с бородачей, как сеи воз; губы, как семга; труба, а не трубка, как пороховыми разрывами; дубиной—на пасху показывает. А напротив горит мапышет; здесь—осетры, балыки; сюда щелкает щеголь с дурацкого лада на новый фасон.

А за стеклами хваткие руки протянуты к ожорочицам; зеркальные стекла, которые выдержат лалку, не выдержат камня; и будут стоять заколоченными эти пулей пробитые стекла, опу-

танные ледяным паутинником; и малярный комар, прилипая к стене,—скопит яд.

Появились скуластые лица в Москве.

И взмигнули рои неглядящих в глаза разъяренных глаз; серячок, вздув папахой башку, превоинственно выглядел; знать, и уверенность в том, что мы немцев побьем, коренилась в папаше; башка-то—распутила.

Гришка Распутин войну ликвидировал вовсе.

Прохожие:—

—красные вилочки: шляпка; а плечики—робкие; точно заискивают; муфта—к носу: наголодалась; а франт за ней: щелкает;—

—и—

—скороногий прошел архалук; ворот—крепкий, с опушкой лисьей, старинных фасонов;—

—и—

—рожа скобленая; рот—с пересвистом; папаху себе посадил наотхват; стать и хватить прямо аховые; глазик—злой, но со смыслом; на все он готов: сколоколит, скомшйт,—

—и—

—в расшаран!—

—прошел фейерверкер.

Куда?

Да туда,—

—где уже взтопотала толпа, где захопало вскриками, точно бичами, где хлопнули двери, где дзанкнули ца-ца-ца—стекла: туда—в толкит, туда—в дребезги.

Синие пачки свечей полетели в окошко; и желтые кубы мылов волокни, переталкиваясь армяками, орны подняв, и прикрхтыманером.

Стыдились тащить, а—тащили; в мешок хлопьяной кто-то сыпал крахмалы; а толпый товар, деревянное масло, смешавшись с синькой, лялось в тротуары.

Распевочным ладом, как плакал—«толчите: отверзется»—старчик какой-то: над ражим толцателем с ломиком.

Бегал купец (вес—самдесять; сапожные скрипы—самдвадцать) без шубы и без картуза: в темень—потною лысиной.

Это громили—

—его,—

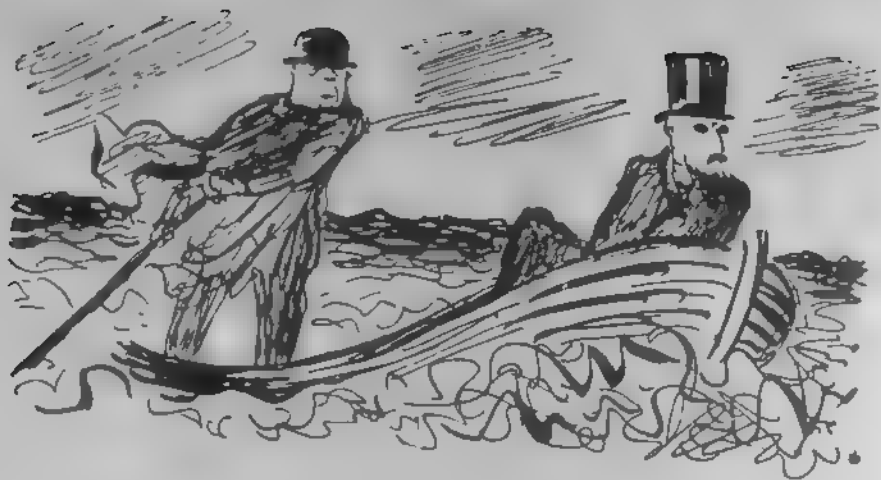
—Елеонство!

С лампасами синими (знать эсаул) все же силился очередь установить: он громял вместе с прочими.

Эти отверстия окон, впервые разбитых, как прорва, в которую будто летел опрокинувшийся тротуар с сапогами, зашаркавшими пяткой в небо, с носами—в земной, выпирающий пуп.

Недра подали голос.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## ИСПЫТУЮЩИЕ БЕЗЛОБО, БЕЗГЛАЗО

Недели за три до ужасного вечера у Тигроватко Друа-Домардэн получил с человеком записку; ему неизвестная вовсе мадам Кубоа<sup>1</sup> пожелала весьма сообщить весьма важное сведение в связи с визой, которую ждал с нетерпением он; назначалось свидание где-то, почти на окраине города; праздно томяся в отеле,— пошел.

Был холодный денек с пескومتаями; над многоверхой Москвой неслись тучи.

Забрел, озирался: один-одинешенек; длинный-длинненька, серый-серенька. улица; удостоверился: в точно указанной улице не было дома с указанным номером; стал он дощечки прочитывать; и прочитал он: «Амалия Карловна фон-Циклокон»—в месте, где

<sup>1</sup> Звуко сочетание «Кубоа» мною заимствовано у Кнута Гамсуна (см. его «Голод»).

в представлении его обитала мадам Кубоа; и еще прочитал—недалеко: «Миррицкая, Мирра Мартыновна».

Стало ему неприятно; Миррицкая эта торчала в отеле; и—надоедала ему; он свернул в переулок соседний; оглядывался: никого; только перешмыгнет оборванец: меж синих, зеленых и розовых домиков; где-то—оранец.

Вдруг—шушлепень мокрых калов; обернулся и видел, что шаркает прямо в него, из-за плеч,—шепелястящий шаг:

—голова,—

—котелок,—

—цвета воронова;

пальтецо—цвета воронова, и портфель—цвета воронова, ярко-красный квадрат, подбородок, безлобо, безглазо—пронесся.

Такие—езде и нигде—перемельками из мимохода прощелкивают; мимохода же не было; и заприметилась физика, ассоциируясь с точно такою ж; морщинки,—три,—под котелком, потому что морщинки,—три,—видел он: ассоциация! Карие клопики, глазки,—с подкусом, с «убивец», как у Достоевского: ассоциация!

В листья сметнулся, став издали с кем-то, кого Домардэн, близорукий, увидеть не мог, из осни с пересипом пробзырили, точно быки, лопнув хохотом в ветре:

— «Воняет!»

— «Дохлятиной!»

Крепко вонял: переулок.

Друа-Домардэн, проярившись очками, взусясь, нагнув цилиндр на глаза—с вороватой трусцой: перешуркивать листьями!..

Около сврта назад обернулся он: нет—никого.

Только юбка с шурцой: шерошйт; да пролетка шурукает; силится впрыгнуть в трамвай: не вагоны, а—лезево; в лезево это не взлезешь.

Но,—как?

Иностранец, ни слова по-русски, а—понял ведь!

Русский язык, здесь, в пустом переулке—живой атавизм, раскрыл дар, погребенный во Франции; понял, что значит. воняет дохлятиной...

Психика? Улица?

Ассоциация.

Стены, как розовый крем; а бордюр—белый крем: дом; квадраты такі, здесь зажатые током пролеток, как головы мопсов, разорванных фырцами,—бзырили, кремный дом, облицованный пли-

точками из лазурной глазури, фронтоны (голова андрогина), — напомнили: что-то.

И звуки подшаркивали: за спиной; за плечо бросил голову.

та —

— голова, —

— как битка, —

— на него: котелком, он ей спину: в витрину с фарфорами севрскими носом; но и котелок, — то же самое: физика — шея, надутая жилами; или вернее, — тупое вперенье обоих в фарфор: без огляда друг друга, без слов; подчиняясь ассоциации, он, Домардэн, бросив севрский фарфор: зашаркил в переулочек.

Прохожие видели, что иностранец, брюнет синеватый, с сигаретой между усов, с чернобронзовым отсветом, как неживой, бороды, утрированно длинной, пропачканной, стянутый черным пальто, — поправляет рукою, затянутой черной перчаткой, свой черный цилиндр и очками, слепыми и черными, смотрит в щель между домами.

В прощеле, — уже в леопардовом всем, — над трамваями, плававшими карекрасными рельсами, — красного глаза кровавая бровь!

Без цилиндра шлетел; де-Лебрейль указала ему: парик — наискось:

— «Что вы?»

— «Я?»

— «Выглядите, как с пожара: врываетесь!»

В тоне вопроса — злой привкус.

И гонг — к табель-д'оту.

Едва завязался салфеткой, как нанское, видит он, красный квадрат; лобная полоска; на ней —

— три —

— морщины: те, те, о которых он вспомнил недавно; себя успокоил; сидевший не «тот»: не прохожий, а некто, с кем сели из Лондона, с кем вместе ели: в уют-компани; все наблюдал, как он челюстью рвал свой бифштекс, как, насытаясь, метался от носа к корме: не московский «тот», — лондонский «этот».

А вдруг «этот» — «этот»?

## ТИЛБУЛГА, ТОТИЛТОС

О, по Шан э'Элизэ<sup>1</sup> ситуайэн Ситроэн<sup>2</sup> прокатил: де-Лебрейль и его; и — подите же: Фош навязал; отказаться? Карьера: перо публициста; все ж ездили к «доблестной» в гости, — куа, — директиву давать; и — с «Соссеюфф» решать.

Два пакета: секрета; один — Булдукову; другой — Алексею; да интервью, ан пассан, с... Котлецофф: о нон рюс!

Москва — мельк!

На пакет — не ответ: Булдуков не учел, что Друа-Домардэна принять за курьера — пощечина Франции.

В «Пелль-Мелль»-отель сел, где загноилась, как старая язва, в нем память; не спал: на лице — пухота; борода не разглажена; и не распыскан парик: голый череп из зеркала смотрит.

Надето: готово; и он, оглядев себя, владел массивную запонку: сунь руку — так, палец — так; угрожай, когда надо, очком, его выкинув быстро, как блюдо, лакеем кидаемое из-за плеч; своей дикцией — отдирижируй; и острую глупость свою, как горчицу, — присахари; главное же: выработывай пальцем по скатерти злой дидактический дактиль:

— «Са дони л'инпрэссион!»<sup>3</sup>.

Ну и психика же, — менять психики, точно сорочки, покрытые грязью; сдал прачке; и — кончено; перечеркнуть ленту лет истребить; и — воспитывать позы и жесты воспитанниц, психик: вот — монстр; а вот — милочка; а износилась психика, как в шелудивую психу, — осиновый кол; есть терьеры, бернарды: щенята. есть — милочки: купишь, и — водишь за ручку в шелках; и сажешь малютку в колясочку.

Это ж, как Круксова трубка: лустая, раз, — вспыл. блеск павлиний!

И — нет ничего.

Подмурлыкивая носовым баритоном, он выставил в зеркало стройный свой торс с замечательным профилем, ставя в петлицу муарового отворота мизинец, сутулясь и вытянув шею.

Довольный расчмук; и — осканился: белую челюсть показывая.

Эти серые, светлые брюки, с несветлою серой полоской; вишниточка, черная, стягивала, как корсет; ноготь — розовый; щеки —

<sup>1</sup> «Елисейские Поля» — местность в Париже.

<sup>2</sup> Владелец автомобильных заводов.

<sup>3</sup> Это создает впечатление.

эмали; а запахи—оплонакс: парикмейстер, танцмайстер,—  
и этой комнате — — хороши  
— тоже —  
— хорошей!

В суровое, с бронзовым прдсвержом, темное поле обой точно  
вляпаны черные кольца в оранжевокрасном квадрате; то серые фоны  
диванов и кресел из крепкого дерева: американский орех; и такие  
же кольца на кареоранжевых каймах драпри, и ковер, заглушаю-  
щий: дико кирпичная вскрика с наляпанной дикою, синею, кляксой;  
и синие кисти гардины,—экзотика, даже эротика: тропика!

Нет, не экзотика и не эротика тропика,—лондонский тон, фе-  
шенебельный штамп: в бронзе ламп, в жирандоле.

И—чернолиловая штора.

Но нехорошо, что—тринадцатый номер.

А в смежном, в двенадцатом,—мадемуазель де-Лебрейль: что  
мадам Титроватко, друг Франса, при ней—«конпрезисибль»<sup>1</sup>; но  
что Мирра Миррицкая, Тертый Мертетев и мадемуазель Доло-  
ббко —

— с мадам Тотилтос, с Тилбулгá,—

— ён пё трэ<sup>2</sup>.

И опять-таки,—дамы с мэссё: Суесвицкий, Антон Антиох,  
Лавр Монархов.

— «Ассэ,—жюск исй!»<sup>3</sup> — он показывал кисло рукою на горло.

Сутулясь и вытянув шею, прислушивался: де-Лебрейль—в не-  
глижé; что обязанность секретаря надоела—полгоря; но не узна-  
вал он Жюли: нога нá-ногу, чуть не задрал свою юбку, вытягивала  
папоказ мускулистую, смуглую ногу; не «в'ля: ме вуал'я»<sup>3</sup>,—  
«пуркуа»<sup>2</sup>; и—лорнировала саркастически: мэ пуркуа:

— «Вы

не так говорили в Париже; вы—взвинче-  
ны, точно боитесь и прячетесь!»—

— Прямо

в лицо: с грубоватым контральтó, с размахами веера!  
Разгордились,—и с задержью к ней выходил.

<sup>1</sup> Понятно.

<sup>2</sup> Слишком много (точнее: немного слишком).

<sup>3</sup> Довольно.

<sup>4</sup> Вот я.

<sup>5</sup> Почему

Острота-то пера—не его, а—Жюли; направляет—он; пишет—  
она; это—коллоборация, но неудобно, когда «Фигарó» ждет статьи,  
а она, задрал ногу, показывает кружева панталончиков Лавру  
Монархову.

Не объяснишь сэтт гренуйль<sup>1</sup>, что при всей проституции  
с душами было же нечто, что вынудило авантюру недавнего, страш-  
ного прошлого сразу же—пальцами мазал он губы—о, ё, о, пером  
публициста проткнуть с ураганною силой, как психу.

Отдернул от губ свою руку: дурная привычка хвататься за  
губы!

Жегучая память, как пламя, ведь вырывом может его охватить,  
как бумажку, которая около пламени—

— вот еще,

— вот еще...—

— вспых

— только

чернолиловый, морщавый комочек, сереющий в прах золаной'

— «Мадам Тйтелева?»—с правом спросит читатель.

— «Мэ, мэ, ...—ки п'а пá д'истуáр!»<sup>4</sup>

Нет: не это.

И—точка, как и Домардэн ставил точку, вокзая псиповый кол.

## ЗОЛОБОБ

Тук-тук-тук!

Он—в очковые, черные стекла; исчезло лицо, потому что очки,  
борода и парик,—как кордон: перед ними.

«С'э вó»<sup>5</sup>,—мадемуазель Долоббко?»

И—облачко брюссельских кружев, и голые ручки, носос рыже-  
вато зареющих заворотень, светлосеребряною сеткою крытый из  
двери.

Тут—

—мягко округлым движением длинной руки в воздух вы-  
чертил он пригласительный жест, изогнув перед м демазель тонко-  
станистый корпус; на цыпочках вел, шею вытянув, локоть высоко  
подняв, чтобы видела ломкий и розовый поготи мизинца.

<sup>1</sup> Этой лягушке.

<sup>2</sup> Но, но—у кого нет истории!

<sup>3</sup> Это вы.



— «О, лѣ бьенвеніо!»

И прогиб головы (ей на грудь), и прогребыванье бороды, и разгиб белой кисти:

— «Сесі в селі!»<sup>1</sup>

Усадил, рядом сел: и губою полез:

— «Котлецофф, о нон рюс<sup>2</sup>: се мужік, се барбѣр».

И—в ней взгляд прорастал (не могла его скинуть); и шарф развивной медоносного цвета с плечей оголенных сметнув на колени, ленилась на нем невнимающим взором, пока ей рассказывал он:—

—тэт а тѣты с кадѣ; се Пѣпѣ,—профессѣр: «Труля-ля, ме вуалѣ».

Пригляделся чорт ягодкой!

О,—предстояли: музеи, визиты, девизы, сервизы, маркизы; и сам—

— женераљ—

— Золобѣбѣ!

Это—с деланным хохотом,—эвопким, густым, сахаристым и злым,—с оправлением галстука темноморковного цвета, с показом такого же цвета носка из-под серенькой, светлой ботиночки с бледносеребряной пряжкой; огромные функции: Фош, Алексеев,—не больше, не меньше, а тут—ха-ха-ха—

Гонг!

— Золобѣбѣ!

С изящною задержью за-спину руку откинул; и взявшись другою за конец бороды, над крахмалом приподнятой тонким овалом, отблещивая парика красной искрой,—глиссадой, глиссадою,— за мадемуазель Долобѣбѣ.

И думал, что здесь приходилось отчитываться, как тому бурсаку, Хоме Бруту, который отчитывал панночкин труп.

Так была?

И—не только: был Вий—с «поднимите мне веки!»: Поднимают, и—

—«Вот он!»

Боялся столовой; бояся Лебрейль, сюда шел; и себя успокаивал: здесь—иностранцы, не русские.

формочки белых салфеточек; блюдчатый блеск; или—«Лондон в Москве»; иностранцы: профессор Душуприй сидит: из Белграда; Боргстром нес, проморгив лицом, свои лысицы: швед; нежно испуганный и большерослый, серебрянорозовый, юно живущий старец—

—лорд Эпикурей,—

—сжатый б госиянным крахмалом в растрюбистом фраке, сидит государственно, шарик катая; и не реагирует: на шелестящие вкусоности и на размазые губы мадам Эломелло, обвешенной бледными блондами, с бледною бляхою, пояса, с бледномолочным опалом (отлив—цвета пламени); с неизъяснимой фамилией, миру неведомой нации, странно немой, Кокоакол: сидит! О,—барону Боргстрому,—ром! О,—лорду—эль!

— Дает тон, он,—

—«Пелль-Мелль»—

— метр-д'отель!

## С ЛОРДОМ МОББЗОМ ОН

Шведу, барону Боргстрому,—налево,—мадам Эломелло,—направо: поклонны (лорд Эпикурей и не двинулся); весь черн и вычерн,—он сел; только бронзовый тон бороды нарушал комбинацию «блан-нуар-гри»<sup>1</sup>; весь—«нуар»; «гри»—штаны; «блан»—крахматы и щеки, как виза «Пари», и как лозунг: «Война до конца!»

— «Сервѣ ву»<sup>2</sup>—передал он «кавьѣр» Долобѣбѣ; и пырскал в него бриллиант из волос.

Но скосясь за волосы, все же отметил: нет «этого»; вместо «него»—офицеры, компания: гости к мадам Пѣлампѣ и к мадам Халаплянц (шемаханского шелка кусок на татарском запястьи):

— «Брав гѣр!»<sup>3</sup>—шею вытянул, скалясь и белые зубы показывая:

— «Ки?»<sup>4</sup>

Жицкѣй, Египсенцев, Стосѣю, Цезѣссерко, Сердиллианцев.

— «Д'у?»<sup>5</sup>

Царская Ставка.

<sup>1</sup> Белое-черное-серое.

<sup>2</sup> Одолжайтесь.

<sup>3</sup> Молодцы!

<sup>4</sup> Кто?

<sup>5</sup> Откуда?

<sup>1</sup> Это и то.

<sup>2</sup> Котлецов, о русские имена.

Бубвоцкий, Бобестон, Бавнест едут в Лондон; и все, на него опираясь, шепчутся:

— «Ле Домардэн, публицист — вероятно.

Тут, гатстух опираясь, с парочною громкостью, для офицеров, но к мадемуазель Долобобко,—

— что

— метрика, сертификация, корреспон-

дентский билет носит в правом кармане он, что — тэг-а-тэг; и переменив интонацию по про куплет, вместе снейт с племин-шником лорда Хеопс, лордом Моббз; и с сеньором Монсини-де-ль-Артэ: в «Аластере», лондонском баре; смех вместе; и вместе: на дерби с сёр Перси Лепёрстли.

Протягивая клоч борода над салфеткой:

— «В Ньюкестле (до Бергена были) — с доктор-эс-лёттр<sup>1</sup>, Поль д'Ареньяк», — и свой локоть высоко подняв, волоснику кагал и «закусска» разглядывал:

— «О, мэтр политик», доктор-эс-лёттр д'Ареньяк мадемуазель де-Лебрейль говорил — о нем: точно.

В беседу вмешался профессор Душуприй. Белград.

— «Наступательный патриотизм, развиваемый вами, заслуживает порицания».

И — кисти рук, быстро поднятых четким расставом локтей, ущипнули пенсне и взнесли на горбинку дергявого носа Душуприя.

— «Сэрт» — он расслабился:

— «Метрика, карточка, корреспондентский билет, все в порядке; но главное: с милитаризмом боритесь — отсутствовал друг, доктор Нордэн, известнейший публицистический что? псевдоним математика, доктора фон Пшорра-Доннера из-под Уисалы, который с геометром Расселем, с другом своим, отсидевшим тюрьму социал-пассифистом, и с ним, Домардэном! И пальцами дrr-дрr за мир!»

— «Как в Ньюкестле вы — против? В Торнео же — за?»

И профессор Душуприй нос ткнул в потолок (и означилась лысина: взлязны за лоб).

— «Это — кровь публициста...» — старалась мадам Эломеллю.

— «Весьма темпераментно» сухо отрезал профессор Душуприй; и носом в бишштекс: с потолка.

Видно перехватил, потому что Боргстром, шнед, ог шюккини в хэкс.

И Друза-Домардэн подавился: бишштексом.

— <sup>1</sup> Ученая степень.

«Пелль-Мелль» мэтр-д'отель:

«О, мосье Домардэну «лассэ»<sup>1</sup>; перцу, хрену!»

Он задержав заметит в «Пелль-Мелль» отеле, войдет. — и профессор Душуприй словик, — нос в тарелку; выходит, — а в спину, как блохи, словечки: горело лицо; и хотелось хвататься за губы; как... диффамация.

Чья?

## ЭТОТ — НЕ ТОТ

Из портыеры ударами пяток, защелкавших, точно бичи о паркет, как хронометр, с попышкой бежит головою, — биткою, — к столу, — неприятный субъект, — тот, который еще с парохода показывал, что Домардэна и нет перед ним, что он — воздух; не бросив поклона, — свиную щетину волос опрокинул в тарелку: разжигать красное мясо, чтоб тонус тупого молчания длить и показывать ухо и мощную шею с надутыми жилами

Психики нет: никакой!

— «Кн эс донк?»<sup>2</sup>

— «Амплуай»<sup>3</sup> дю» мадам Эломеллю ему «жепераль Бул-дукофф».

— «Жоффри»

То «Пелль-Мелль» метр-д'отель, прибежавший на помощь с бутылкой боржома, — с банальнейшим:

— Ж'оффри»<sup>4</sup>

И в удесятеренном усилии что-то понять, что-то выпрямить фейерверк вырыгнул громких блистательных очень острот, вызывавших восторги в Париже, — острот, относившихся явно к желанью ввести в разговор и «его» — к Долобобко!

Но красный квадрат пожирал свое красное мясо: с посапом: он — не отзывался.

Вдруг корпус сломав, — головой, как биткою, — к Стосоцо, поднес он свои, — три, —

— морщинки.

Болбошил по аглицки: в гул голосов.

— «Сослепецкий...»

<sup>1</sup> Передайте.

<sup>2</sup> Кто?

<sup>3</sup> Чинавник.

<sup>4</sup> Претагаки. (Каламбур звуков: Жоффри — французский главнокомандующий.)

«Хрусталиком...»

«Хрустнет...»

Друа-Домардэн не расслышал, домаясь в куверт, что в сал фегу разжамканный рот:

— «О—тро фор: сэрт!... О, о!

Это—хрен с осетриной?

Лакей из-за плеч: углом блюда

— «Десерт...»

Три морщинки пошли от стола, волоча за собой два очка, волоча за собой Домардэна—в курительную.

Если Лондонский этот—московский, им выданный «тот»,—он, объятый жеглом,—сплует из бумаги, сморщ краснокоричневый, чернолиловый, качаемый—пламенем!

Руку закинув за фалду, другою схватясь за конец бороды, меж Стосоцо и Сердиллианцевым, мимо стола, отражаясь в зеркале, чернеобразный, глассадю—вырезнул, чтобы—«его», чтоб—«ему»,—собираясь упасть,—

— в насты!

— «Пардон,—но мне кажется, что мы... до Бергена... вместе...: Друа-Домардэн, публиссиет!»

— «О, бьенсюр!»

У Друа-Домардэна так даже платок из рук выпал; угодливо корпус сломав, чтоб платочек поднять,—«этот» подал платочек с подшарком:

— «Велес-Непещевич».

И пяткой, как плеткою, лд-полу, лопнув в него анекдотом: такая бомбарда!

И пели в соседнем салоне: «Я стражду.. Я жажду... Душа истомилась в разлуке»—романс: композитора Глинки.

## Я СТРАЖДУ, Я ЖАЖДУ

С тех пор зачастил ежедневно Велес-Непещевич к нему: поминать под себя разговор.

Домардэн чернобронзовою бородою морочил: свои комплименты расслащивал, лтясь.

Велес-Непещевич тащил его в «Бар».

<sup>1</sup> Ковечью!

<sup>2</sup> О, конечно!

Он: показывал:

— «Жоржинька Вильнев: из Вильны... Смотрите: подмахивает, точно хвостиком: вильна какая: попахивает!»

Представлял:

— «Познакомьтесь: Эмма Экзема... Подруга моя!»

— Адвокат Перековский...»

Присвинивал (в сторону):

— «Выудил сумму у Юдина, спёр у Четисова честь: настоящий перун... Так что дама с пером появилась при нем,—Зоя Ивис...»

— «Да я... повезу: покажу...»

Домардэн,—сухопарый, поджарый, но червеобразный какой-то, — с извинистым дергом, с развинченным дергом, как вскочит, раз пойманный, в сени теней—скрыть лицо, потому что:

— «Вы были в Москве?!»

— «Я? Ни разу».

— «Сказали,—на Срётенке: стало быть, были..»

В лоб—лбом: хохотали морщинки,—три:

— «О, публицист, как публичный мужчина,—инкогнито: в личных делах».

Домардэн же, прожескнув очками:

— «Тупица он? Что негодяй,—несомненно; и ищет чего то; что липнет, как пиявка,—понятно: Друа-Домардэн, все же,—имя». Из тени, расслабься, сластил комплиментами.

Шаркали вместе,—с попышкой,—по дням; все Велес-Непещевич, вбегая, блошдивые щелочки скашивал, шлепал губой, кровожаждал,—

—кого?

Коновал: жеребцов переклал.

Это длилось до вечера у Тигриватко.

Друа-Домардэн с того вечера стал не таким, каким выглядел он из «Пелль-Мелля»: не милочку,—психику,—а околевшую психу с колом, в нее вбитым мохнатою лапой, сложили пред этим подбием «я».

Посмотрите-ка: рыжею искрой хохочет над черепом смятый парик; точно схваченный лапою угорь, кисть левая бьется; а голос—глухой, как из бочки:

— «О,—душно мне!»

Репертуар завершился: под занавес; вот оно, вот: привели к! нему Вия! В сечение всех убеганий от всех беспокойных погонь, как в огань, как под вызовы,—встал: обязательному обещанию

— Браво!

Брр!

Штрих,—

—и—

—ничто это опытной ланой в ничто абсолютное вы-  
летается.

Фош, навязавший поездку, уже это знал: приговор к удушению подписывался в «Министёр Милитёр», может быть, в те минуты, когда с ситуацией Ситроэн в «ситроене» по «Шан-Элизе» он летел; был технический спор: и—

—Россия, Америка,

Франция, Англия,—

—не уступать

друг другу приятнейшей чести: клопа жечь.

Он понял, как странно устал и как он вожделсет: не быть. Проходили—неделя, другая. Не шли,—те, кому он прогнет свои,— две—руки, чтоб браслеты,—две,—сжали их: цап!

Удар пятки по полу, как плетка: Велес-Неспещевич.

— «Как?..»

— «Без парика?»

Но в ответ, как из бочки:

— «О,—скоро ли?»

И дипломат, и чиновник особенных их поручений, Велес-Неспещевич, старательно смазал и тут:

— «Скоро, скоро... В анкете написано, что Михаил Малакки, отец ваш, скончался в Афинах».

И, выждав:

— «Он умер в России,—бездетным, вас усыновив И -не Малакки он: вы бы исправили.

Пяткой:

— «Формальность. »

С невинностью ангела.

— «Виза готова».

— «Какая? Куда?»

— «Как куда? К Алексееву

В царскую Ставку поедете! Ставки проиграны перед Ньюкестлем, когда он садится в Харонову лодку, на борт теплохода, Юпитер... с «этим», с Хароном своим

Гляз-- в газету: газета лежащая; в газете бессмыслилось, бук

вилось: чорт знает что:—

—Телеграммы:—

—«Из Ахалкалаки. Расстрелян турецкий шпион Государь (вероятней всего «Господарь»: опечатка, убийственная)».

—«Вашингтон. Ровоам Абрагам спешно выехал из Вашингтона в Москву».

—«Сотэмптон. Генерал-лейтенант Иоанна приехал».—

—Еще:—

«Интендант  
Тинтенант»

— «Всюду—выезды эти».

— «Разведка военного плана».

— «Военного?»

— «Щучьего».

— «Щучьего?»

И Домардэн: с тошнотой.

— «О, пор!»

— «Куда?»

— «С выездом».

— «В Ставку?»

— «По щучьему звону...»

А, может быть, это—последнее слово его на... на... на... языке человеческом; далее—

—рев, как из бочки, согласный с вылами-  
ванием из кровавого мяса сознания, «я»,—инструментами?

## РОТ БЫЛ ЗАКЛЕПАННЫЙ

В стену халат раскрылся; профессор клялся бледней в черной паре, а шрам, пересекающий щеку, казался от бедности этой чудовищней; тихо Гиббона читал он; день сощечен был, сени серебрилась в луче.

Вот он ткнулся в окошко.

И—видел он: пенельно вlepлено облако в кубовой глубь небес. Он войной являлся; ему Николай Галыков рассказав: почу-

рота, с которой в окопах сидел Галзаков, как упал чемодан, стала смесью песка и кровавого мяса.

Профессор—не выдержал:

— «Бойню долой!»

И задумался, вспомнив, что с ним случилось подобное что-то

Упала граната ему на губу; и губа стала синеватой разгубленной; срухнуло что-то; и—брюкнуло в пол; и он, связанный, с кресла свисал, окровавленный-красный, безмозглый; и видел: свою расклокастую тень на стене с все еще—очертанием: носа и губ.

Это—было ли? Где?

Прошли сотни столетий; окончилась бойня гориллы с гиббоном; и жили—Фалес, Гераклит, Архимед и Бэкон Веруламский..

Что ж,—спал он, увидев столетия эти? Их не было? Память, как ямы нескрытого света: одна за другой открывались, свои выходящая тела,—те, которые—смесь из песка и кровавого мяса; ему объясняли:

— «Война мировая, профессор; сперва свалим немца; потом—Архимед, Аристотель, Бэкон Веруламский...»

Он, стало быть, только во сне пережил мировую культуру из дебри своей допотопной; иль...?

— «В доисторической бездне, мой батюшка, мы: в ледниковом периоде-с, где еще снится, в кредит, пока что, сон о том, что такая-то, чорт побери, есть культура!»

Опять,—точно молния: память о памяти—

—рот был заклепан

Нет, нет,—миллионноголовое горло,—не жерла орудий, —рыкало опять на него из-под слов Галзакова: не жерла орудий, которыми брюхи и груди рвались; и от мертвого поля вставала она, голова перетерзанного.

Не его рот заклепан, а мир есть заклепанный рот!

## ЕСТЬ РАСКЛЕПАННЫЙ РОТ

И он думал, что он отстрадал, а другие—страдали, как этот, сидевший на лавочке перед подъездом: Хампауэр.

— «И я—это тело: со всем, что ни есть!»

И старался слезинку смахнуть, потому что...—

«Всмы сострадание!»

Старый калека, Иван, встав, плечо положив на костыль, золотой от луча, сквозь деревья тащился к подъезду.

Подъезд, иль—две белых колонны, стоящие в нишах овальных, но розовых; аркою белая встала дуга; виноградины падали с каменных тяжких гирилядин; налево, прелестницы, две,—рококовые,—каменным локтем—на полудугу, и сандалией—впялись в колонну, с порочною полуулыбкою шурили каменный глаз, склонив голову из рококового, розового, развораха: на морок людской.

Выше,—лучу плюща пропоровши изогнутым рогом, напучившись тупо и каменным глазом, и грубой губой, баранная морда, фасонистый фавн,—вот-вот-вот—разорвет громким хохотом рот, рококовую рожу:

— «Oro!»

— «Orogo!»

— «Просим, просим!»

— «Не выпустим!»

— «Жрем ваши жизни!»

Пэпэш-Довлиаш, Николай Николаич—жрец: жрет!

Окающее окаменение: пестрый дурак—он (с ним—пестрый дурак Галзаков)—сострадательнее, человечней, чем пупом дрожащее пузо Пэпэша: над ними.

Кроваво листва довисала: кленовые лапы, крутясь, опадали в лучах; из расхлестанных веток являлись: дорожка, ворота, заборы и кубы огромных домов; в сини, солнечно злые, очолились желтые стекла.

И крест колоколенки—белый; и—блещущий блик.

И профессор себе, точно в отклике.

— «Я емь вовеки веков; и—со всем, что ни есть!»

Видел,—

—дерево, вон, заревое румяное, издали виснет: из моря ясного.

Вдруг Серафима Сергеевна:

— «Смотрите!»

И—ткнулись носами.

## И ВИДЕЛИ

Видели,—

как Николай Николаич в распахнутом, платном

пальто, — карем, драповом, с краями, — в плотно надетой коричневой шляпе за пузом шагала и махал своей ручкой, зажатой в кулак, сломав шею и нос задирая на гостя; у сверта дорожки откнулся и ручкой, и пузом, под воздухом синим: сперва — на подъезд, а потом — на гостей.

И бежал со всех ног Пятифифрев.

Блондин просвещенный всем корпусом неся, как будто колесами древней Фортуны катимый; взгляд — стекло водянистое; глаз, с синей искрой; фетрово серая шляпа — приятный контраст с бледной бородкой.

За ним — кто такой?

Пальто — вытерто, коротко, горбит; а из-под полы — вывисает сюртук; лапа, снятая с холоду, с кожей гусиной, вращает дубовую палку; крича новизною, поля его шляпы — контраст с ветхой вытертостью рукавов; голова с роговыми очками; шаг — метровый; в крупном масштабе махает рукой.

И за ним — в пальтеце котелок волочит: свои ботинки; ростик — ребенка; глаз — точкою: остр, точно шильце; проворные ручки; и — черные брючки; нос, — четверть аршина, — глядит из щетины.

Пэнэш-Дэлишш руководит и распоряжается:

— «Vor!»

Отражаясь в луже, танцует над лужею:

— «Грязь!»

И обходит, приятнейше в лужу вглядясь: князь.

Уже Пятифифрев, влетев на подъезд, под подъезд шипу лопит; в ответ князь едва прикасается к серым полям своей шляпы: перчаткою черной.

Снял серую шляпу в подъезде: перчаткою черной.

Она упорхнула на вешалку; князь руки выбросил вниз; и пальто отпорхнуло, повесилось; князь же раздеться не мог, потому что вефиры отвесили платье.

«Зефир», Пятифифрев, с озабоченным рывом кидается: срывал, тряс и вешал — четыре пальто.

— «Мы всемы состраданье: служенье друг другу!»

Светились Серафимы; как вефники, ринувшись, как две звезды, разгораясь навстречу звезде; зажигали пожар светозой: состраданье!

Включи сердце.

К нам, гости!»

За фаргучком бросилась, чтобы схватить: фельдшершею сделаться; стала подвязывать.

Гулы и гавк; кавардаки шагов, перешарчи, нестроица пияток.

И — два колеса: не глаза!

Легким, ланьным, овальным, забстренным почти до конуса рывом —

— к дверям!

## ЖЕЛТЫЙ ДОМ

Двери — в лоб.

И влетели: Пэнэш, Препопанц, Плечепляткин и князь, за плечами Пэнэша стояли очки роговые; за всеми за ними не выделось что-то мизерное — при бородачке, при носе...

Из рук выпал фартук: моргала; и — розовой стала, и — дернула.

Князь о нее, как о стуло, споткнувшись, самопроизвольно зажившею кистью руки синсходительно кланялся ей, головою, улыбкой, склонением корпуса в это же время приветствуя до «чести имею» профессора: стулоподобные люди, — как то — фельдшершицы, — вполне на предмет демонстрации; они — претик, — не пожатие руки швейцара пред тысячью глаз, — напоказ, — в пику власти: для будущей, собственной!

Хладно потыкавши пальцем претик, — князь с порывом: к профессору!

Шарк; снова — в. дерг: как кузничек подпрыгнула; руку ей рвал молодой; и в нее роговыми очками упал:

— «Куланскбй!»

— «Кто такой?»

Николай Николаевич вздрагивал жирным бедром, точно лошаадь, кусаемая оводами; он пальцами цапнул халатную кисть со стены и помахивал ей перед маленьким с толком, со смыслом: им, старым научным жрецам, сей халат, разыгравшийся пятнами, — идоложертвенное, благодатное мясо.

Так маленькому он начесывал кистью под нос:

— «Полюбуйтесь: экзотика. Гиперемия переднего мозга... Любось к пестротел!»

В пестротел не повинен профессор: халат перетащен сюда Василисой Сергеевнкой, а привезен Харкалевым.

Профессор, приветая, наблюдал этот грубый показ тумеса, поправив повязку, он ждал объяснения затем приплити сюда!

известные люди? Он хмурился, жесты вообраз; не влетают без спроса: докладывают, посылая визитную карточку; значит, он зверь, выставленный под этикеткою: «бэстия стульта».

С недавней поры ощутил всю обидность сиденья в, что ни скажи,—желтом доме!

Теперь он гулял за оградой лечебницы.

Ставши под маскою фавна, очки подперев, наблюдал он, бывало, как свет—ясно желт; выходил за ворота; и шел переулком с сестрою—к Девичьему Полю,—в багряное рденье листов, чтобы видеть, как стены далеких домов, точно призраки, смотрят медовыми окнами.

Долго сутуло стоял, глаз замурив; оглаживал бороду: вот удивились бы, если сказать: этот трезвый, достойный старик—сумасшедший.

Раз праздный прохожий (такие есть всюду), к нему подошедши бочком, снял картуз; и—раскланялся:

— «Вы, извините пожалуйста—кто?»

— «Я? Иван».

— «Извините пожалуйста»,—праздный прохожий фулярово-красным платком утирал потный лоб «что за звание? А?»

— «Был профессором».

— «Так-с!.. Извините пожалуйста...» Но Серафима Сергеевна его повела, опасаясь последствий беседы.

В последнее время достойно, мастито и даже торжественно выглядел он; с таким видом стоял, пред гостями, готовясь их выслушать, как депутацию.

## ПРЕД СИНЕПАПИЧЕМ

Глава правительства, правда еще вероятного, соображал, как его монумент со столба государственного склонит голову перед наукою:—

— сколько аплодисменты!

К профессору, руки по швам, подошел; склонив лоб (до чего прибор четок!); и—замер:—

— такой-то (отчетливо тихо)!

А не князь такой-то!

Стоял с оробелой, висящей рукой, не старясь коснуться профессорской ждал, чтобы припили: робость и скромность величия!

Но не повертывая головы, не сжимая руки, с сухотцею профессор ладонь ему сунул:

— «Могу вам служить?»

Ладонь выдернул.

Князь был фрапирован.

— «Прошу!»

Нос на маленького:—

— как —

— как —

— как?

Си-не-па-пич?

И—нос Синепапичу.

И—Синепапич ему:

— «Синепапич!»

— «Так-с!—прыгал с потиром ладоней вокруг Синепапича—имя-с,—взять в корне... и,—в корне взять... отчество?»

И—Синепапич ему:

— «Патирим Ильич».

Взгляд уважения на Патири-Ильича отмечал всю дистанцию меж единицей с нолями и между полем; он сердечно приставил два пальца к очкам, нос просовывал свой между пальцами; вот он какой,—Синепапич: бесплечный чернич; но, как меч и как бич,—труд, кирпич, разбивающий психиатрически школу пэпэшеву.

И—ринулся к креслу, чтобы Синепапичу кресло вкатить под колени, величие князя светлейшего перенес к Синепапичу; а—невеличка какая! Макушкою князя в микитку, а носом—под пуп.

Кресло выкатил Серафима Сергеевна, ланым движеньем слетев с подоконника; в ней жест профессора всплыл, точно в зеркале; грацией нарисовался: в улыбке, с которой она от профессора перенеслась к Синепапичу.

Грации этой не видели; ведь для влетивших она—скуциноватое рукопожатие, или—претык: время ж дорого!

А Синепапич, профессор, коллегу, профессора, спрашивал:

— «Нравится вам в этом розовом доме, профессор?»

И руки профессор развел иронически:

— «В желтом, хотите сказать? Что его перекрасили в розовый цвет, это только подчеркивает...»

Не окончивши фразы, он сел.

Николай Николаич, хозяйское око напуча, пожал лишь плечами; оглядывал комнату:

— «Стулья-то где?»

К Печерятину дернулся  
— «Стулья».

И вытесет бомбочкою Печеряткин, студент. Куланском и князю по стулу втащить.

Синепапич у столика сел; князь, оправивши фалды, осанисто сел пред профессором; а Куланской сел за князем; он динное диню, мечту,—не профессора,—видел впервые; и скорчился робко за князем.

Висело молчанье.

### ВЕЧНОСТЬ — МЛАДЕНЕЦ ИГРАЮЩИЙ

Паузу князь, вероятно, нарочно продлил—склоном лба и биродкой; как ласково шурился он, и как бархатно высказал тенором внятным:

— «Давно искал случая я нанести вам, профессор, визит»—где был прежде?—«чтоб дань удивленья»—соболезнования чуть-чуть он не дернул было; и—помедлил с осмотром прекрасного злания этого: соединить».

И биродкой на фавнову рожу: в окно.

На дворе он с Пэпэшем любезничал: цель посещения—лечебница-де, не визит; и Пэпэш, боднув ножкой, вскричал Преподанцу глазами:

— «Вы слышали, что было сказано—там? И вы слышите, что говорится теперь?»

Наступило молчанье; всем стало неловко; профессор, стреляя очковыми стеклами в руку, рукой барабанил; он не отзывался.

Все ж экзаменуемый возрастом, знанием, опытом, силой таланта и видом, и позою экзаменаторам робость внушал: как экзамен начать?

И—с чего?

Но забывши о всех, через голову всех—к Серафиме Сергеевне он, суетясь озабоченно посом:

— «Вы, ясное дело, запишите: для памяти».

И преисполненный думы, свирепю локтями на стол он упал

— «Минус «бе», плюс два «це», взяв в квадрат!»

Синепапич, сидевший за пузом Пэпэша,—на пузо Пэпэша, который, довольный таким оборотом беседы с убийственным юмором, впрочем почтительным, выдал курьезный секретец, перу на дворе», Синепапичу:





— «Это-с, — изрядное изображение формул в пространстве»  
— «Скажите пожалуйста!» — князь.

И улыбки не сдерживая, бросил взгляд Синепапичу, двинулся белой рукою, отставив мизинец; спросил деликатно: какими мотивами руководился профессор, — абстракцию, формулу, перелагая во что-то, подобное, ... — слов не нашел он.

И — задерж, замин:

— «На каком основании?»

Двинулся корпусом вместе с рукой: полновесно.

Профессор, упавший на локти, как ждавший атаки солдат, из окопа штыком вылезавший, — носом на князя полез из-за столба:

— «Для упражнения ума-си!»

И отбросившись к спинке, на ручку припавши, рукой Синепапичу высказал:

— «Я держусь мнения, что Спенсер был прав, выводя из игры достижения высших способностей» — и облизнулся, как кот перед мясом на мысли свои — «меж игрой и фантазией нет перехода; и нет перехода меж знанием» — выпрямился, озирая их всех — «и фантазией; так полагал Пирогов».

И огладился.

— «Так полагаю и я».

Явно — князь не понравился; явно, — по адресу князя он выбросил:

— «В ком нет игры, тот едва ли способен к культуре, — что?» — к князю.

Но Спенсера князь не читал; Пирогова не знал; он уныло осекся; и хлопал глазами в окно, под подъезд, над которым багровая морда, фасонистый фавн, —

— Николай Николаевич, —

— пучился

Тут Синепапич, забыв про экзамен, со вздохом, исполненным сентиментального воспоминания, — в нос: для себя самого.

— «Гераклит полагал, будто вечность — младенец играющий».

— «Темным его называли», — отрезал Пэпэш.

Синепапич, — вот шельма: ломал дурака?

А профессор очками блеснул:

— «Диалектику мысль Гераклита ясна».

Но согласие экзаменатора с экзаменуемым в пику Пэпэшу — пощечина.

И Николай Николаич папучился в окна.

Там тень появилась из ниши; суровые, синелиловые ниши през вечером; фоны фронтона — багровые.

Твердая морда из сумрака —

— в черные ночи —

— морочит.

## ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

Бит экзаменатор, князь, — экзаменуемый!

— «Шахматы, лучше заметить, — теория чисел «in statu nascendi...»<sup>1</sup>

— «Теория чисел имеет историю?» — бросил вопрос вперебив Синепапич.

Профессор, как конь боевой, отозвался:

— «Начальный трактат по теории чисел написан Лежандром в середине столетия».

Встал:

— «Восемнадцатого».

Распрямылся.

Но вдруг перегляд Синепапича и Куланского; кивок Куланского, что — так; «настоящий экзамен» — прошлось в Серафиме Сергеевне:

— «Он выдержит ли?»

— «Извиняюсь, профессор, я — не специалист» — Синепапич опять вперебив и с какими-то тайными целями выставил нос из-под пуза Пэпэша — «как вы характеризовали б теорию чисел?»

Он только что выбил теорию чисел историей чисел; теперь выбивал он историю чисел теорией; так он, вбивая вопросы в вопросы, сбивал; генетический «приус» — по факту» логический; сколько сбивом таким заставляют ответчика глупо разыгрывать неисполнимую роль: коли ты о хвосте, сяди в голзну; о голове — сяди в хвост!

Узнаете себя, мои критики?

Явно гримаса Пэпэша означила: цель Синепапича бьет мимо цели; он выразил мимикой, что лучшая память большого, — одно, а большой — совершенно другое; так. знание математических принципов — не доказательство здравости; с неудовольствием видел. бе-седа свернула с дороги.

Профессор ответил:

<sup>1</sup> В состоянии возникновения

— «Теория чисел—теория групп числовых: она—царь математики».

Князь вильнул корпусом:

— «Что, если свергнуть царя?»

Что за глупость?

Профессор—небрежно, с достоинством, разоблачая намерение князя: запутать.

— «Не я выражаюсь так: Гаусс!»<sup>1</sup>

Он жаловался Серафиму Сергеевичу пожатием плечей и глазами:

— «За что меня травят?»

И взглядом во взгляд: точно ветер с юга ветер прошелся; в нем вспыхнуло:

— «Да, ты—еси!»

Он стоял, как гвоздями, глазами приплаканный к камню тюремному.

Точно снежинка, слетела ей в сердце; и—стала слезой, как жемчужина, павшая в чашу.

И екнуло в ней:

— «Ты—еси!»

И ее он почувствовал.

Тенью немой и белой на подоконнике полусидела, схватив руками за край подоконника, чтобы слетать на предметы и их подавать по команде Пэпэша, который, увидевши здесь Печенликина, выпер его бросом носа:

— «А вам-то тут—что?»

Он, как деспот, желающий встретиться сходящим с трона по чести гостям, оставался нарочно без стула, вскарабкавшись под Синепаличем на край стола.

Преподаниц раскинулся халатом на двери.

## НИЛЬС АБЕЛЬ

— «Мы слушаем: Гаусс... Что Гаусс?»—интернул Синепалич, напомнив профессору, что он—с гостями, а не в безвоздушном пространстве.

Профессор, себя обречя, руку бросил, как кот, зарезанный с мылкою: с экзаменатором:

— «Гаусс—создатель теории чисел комплексных, в которой рассмотрены свойства больших числовых совокупностей».

<sup>1</sup> Знаменитый математик (1777—1855).

— «Так»—прошептал Куланской, скрипнув стулом.

То шею вытягивал он: из-за князя; то—прятался вовсе: за князя.

Профессор докладывал князю:

— «И Эйлер работал в теории чисел; а мысли Лагранжа к теориям Эйлера нам упростили знакомство с теорией этой».

Искал разрезалку.

Движением из-за профессора—

— «Вот разрезалка!»—

—ему Сера-

фима Сергеевич и из-под руки, разрезалку искавшей, схватила ее; и—просунула в руку.

За каждым движеньем глазами следила, из них выливаясь: два колеса,—не глаза!

И улиткой под домиком, пузом, свернувшийся, тихо поник Синепалич, ликующий, что дал беседе уклон, вызывающий негодование Пэпэша.

Князь взвешивал, не понимая:

— «Пустые слова: Абель, Абель!»

— «Нильс Абель...»<sup>1</sup>

— «Да, да»—не стерпел Куланской, перебивший профессора— «Нильс Генрих Абель, которого имя—скрижали науки»—он князю.

Профессор, как бросится:

— «Абелевы интегралы»—рукой к Куланскому—«и Абелевы уравнения,—кто их не знает?»

Рукою ему Куланской:

— «Доказательство Абеля не было понято»—он через голову.

И голова, князь,—отдернулась.

— «Абель писал: пока степень простое число...»

— «Затруднения не представляется»—перебивал Куланской.

— «Когда сложное»—перебивал Куланского профессор

Но тот, перебивши профессора:

— «Вмешивается...»

— «Сам дьявол»—пропели друг другу они, соглашаясь: носами, очками, руками.

<sup>1</sup> Гениальный норвежский математик начала XIX столетия, рано умерший, работавший над разрешением алгебраических уравнений высших степеней; сформировал принцип невозможности алгебраического решения уравнений 5-ой степени и необходимость введения новых математических символов; дал толчок для известных работ Кронекера (См. «Очерки по истории математики» Г. Н. Попова)

И вспомнив, что тут же — профаны, посылы поверили к профанам; и им разъясняли:

— «Имя в виду» — разъяснял им профессор решение алгебраического...»

— «Ческого» — эхом пел Куланской.

— «Уравнения»...

— «Енья» — вибрировало басовое, воздушное тремоло: эхо.

— «Должны мы...»

— «Должны» — сомневалось тремоло, не представляя себе, что «должны мы».

— «Почтить Галуа»<sup>1</sup> — уже кавалерийской атакой ударил профессор.

— «Ну, что же — почтим» — согласились глаза Куланского.

— «Его оценили Бертран и Долбня» — бомбардировал психиатрический фронт Куланской.

— «В нем теория групп числовых — геометрия тела, вращаемого в многомерном пространстве».

Профессор на головы выдвинул «танки» свои из имен, никому неизвестных, из мыслей, которыми эти ученые люди не пользовались: Синепапич читал Гераклита, — не Абеля, а Николай Николаевич — ни Гераклита, ни Абеля.

Но параноика бледная маска за окнами шмыгала; встала в окне, замгавши глазами оранжевыми; и — язык показала; и — спряталась: под подоконник.

Профессор увидел ее; и — споткнулся.

— «Труд Клейна...»

Молчал.

— «Какой труд?» — раздалось из-под пуза.

И все, что дремало, — проснулось, появивши, что сбился; так стая мышей: заскребется она, — зашуршит:

— «Что?»

— «Какой же?»

Как будто штаны отвалились; он помощь искал в Куланском; Куланской, не припомнивший также труда рокового, за князя ушел головою, ужаснейшим скрипом ответило стуло, — не он.

<sup>1</sup> Гениальный французский математик, работавший в сфере теории групп; дал импульс для ряда математиков: Кронекера, Эрмита, Бертрана Лиувилля, Софуса Ли, Клейна.

Дыра в памяти, —

— черный квадрат заплата, —

— для всех

подчеркнулся.

И — факт, что — белей полотна, что — морщинист, что шрам стал лиловый, что руки тряслись; наблюдали, ловили, записывали с откровенным злорадством, чтоб после рассказывать, чтобы с фальшивым сочувствием доброе имя подмачивать.

Мучился!

И Серафима Сергеевна, взяв руку, глазами в глаза, потому что зловещее ухо Пэпэша, которое он, приложив к нему руку, вытягивал — ширилось; пузом провесясь, и пузом отпрянув, он пожкою воздух бодал:

— «Сами видите!»

## КЛЕЙН

Дверь — врасхлоп; голова заглянула — архаровца старого: серенькой, рябенькой ящеркой, дверь притворивши, на щипочках перекрунулся по стене Никанор, переваливая между стульями; быстрый кивок, жест руки, отражающий брата, Ивана, рванувшегося через голову князя с «мое вам почтение-с».

— «Я — нет: не мешаю».

И — брату, Ивану:

— «Так — чч-тò: продолжай!»

К Серафиме Сергеевне, которая место ему уступила, юркнула, сложив руки, и ноги скрестив; всем закидом ершей выражал, что он слушает, что ничего не случилось.

Носы — на него.

Тут профессор, с курбетом, отшаркнул и брата поднес, как на блюде — носам:

— «Никанор, — говоря откровенно. — Извини: брат!»

И взглянув, — дело ясное — в корень вопроса, его разрешил рационально:

— «Докладывал я» — он забыл, что еще не докладывал, путаясь, — «Das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade» — труд Клейна<sup>1</sup>, дающий возможности нам перейти

<sup>1</sup> — — —  
Немецкий математик Клейн в упомянутом сочинении предлагает средства решения уравнений пятой степени уравнение пятого порядка. Последствием он показал, что уравнения высших степеней разрешимы путем решения систем правильных многогранников пространства с их измерениями.

от решения алгебраического уравнения к геометрическому в изучении свойств многогранников, в «эн» измерениях, в «энных» мирах».

— «Мнимый мир» — пояснил Куланской, снова ехавший из-за спины, — «есть вращение тел...»

— «Многомерных» — поправил профессор — «с трудом измеряемых».

Труд измерения почтительным поклоном он выразил.

— «Есть» — вылезал головой Куланской.

Он наигрывал блеском очков, раздавая руками, ногами.

Одна Серафима Сергеевна с ланым испугом, оглядывая психиатров, украдкой, вскользь — к Никанору Ивановичу посылком; он, слонав корпус, — к ней: ухом:

— «Что, как?»

— «Возвращение Терентия Титовича успокоило Элеонору Леоновну».

И — он отдернулся.

— «Так-то, мой батюшка», — бросил профессор: и «батюшка», князь, уничтоженный Клейном, — отхлопывал веком.

— «Я мыслями Клейна питался тогда, когда понял: предел скоростей — не прямое движение, а — винтовое-сь»

Теперь он питался куриным бульоном.

— «Еще Грибоедов, механик, над змеями опыты делавший, это провидел!»

И тут Синепапич, как будто всадил хирургический нож в гробовое молчание, — с писком простецким:

— «Профессор, у вас самого-то открытие «есть, что ли?»

Мысль подловатая высунулась из глаз князя; из глаз Куланского вопрос вылезал; но Пэпэш скорчил рожу, и ей штопировал: —

— «Этот вопрос — есть вопрос для научных болванов, решающих там, где решение дано клизма, воздух, физический труд и лечебница!»

А в Серафиме Сергеевне лишь «ай» поднялось: есть открытие, нет ли его, — все равно; лишь бы «он» не убился.

Все замерли, точно под шестом; торжествовали: попался Синепапич левинию глядел, точно он ни при чем.

Да профессор с отличным спокойствием после молчания выговорил:

— «Никакого открытия нет у меня».

Никанор полетел с подоконника с грохотом после того, как он ерзнул ногами.

Все вздрогнули.

Он — улынулся пленительно; и — облизнулся: нет, — брат, брат-Иван, овладел в совершенстве собой.

Синепапич мигнул ему ласково:

— «Я так и думал».

Пэпэш, в свою очередь, чуть не слетел со стола: было видно, что два психиатра во всем разошлись: разошлись до конца.

## МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО

Разрезалку прижал; ушел глазом под веко; белым синеватое глянуло на психиатров: суровым укором за зрелище это: за этот «экзамен», распятие напоминавший; стоял головою в окошко, где вырезы чащи березовой взвесились розово — в желтое волокно облака; стекла холодные молнились.

— «Что вытекает из сказанного?» — взял футляр от очков.

И — футляр от очков положил.

— «Вытекает огромное следствие».

Выскочил, быстрый, невинный, простой, точно пляшущий пляской руки с разрезалкой, рисующей истину в воздухе, — глазик.

— «Все числа — комплексы, фигуры, или геометрические композиции: в вечном движении... При — начертил разрезалкою «три» — «это есть треугольник, расгущий, вращаемый данным спиральным движением; форма в движении она».

Никанор, в это время засунувший пальцы в карманы и рывшийся в них, наконец вместе с сором записочку вынул и сунул профессору; время нашел! Тот ее повертев, не заметив, рассеянно тыкнул в карман:

— «Где один треугольник, там — множество: вписанных, или описанных; площадь последних равна четырём площадям»

Никанор, передавши записку, чесал Серафиме под ухом словки, — и громче, и громче

Улыщали явственно:

— «Все-таки есть затруднение... Что ни скажи там, — неблагоприятное время для перемещения брата Ивана... Приходится поременить...»

— «Тсс», — шепнул Куланской ни него

Серафима Сергеевна отдернула ухо: профессор докладывал:

— «Принцип фигурный для трех есть четверев, там, где — треугольник, четыре их; да еще, уже четырежды, ясное дело, че-

тыре; так далее, далее-с»;—он разрезалкой высчитывал—«то есть: на плоскости это тетраэдр расшитый, или два треугольника: раз—основной; и два,—вписанный; и основной равен,—ну, разумеется же,—четырем»—показал.

— «А в пространстве фигура такая—тетраэдр, который в проекции плоскости—куб, квадратическая пирамида, квадрат; и еще очень многое-с; тройка дана в «четыре-с», а четверка—в «пяти-с..» Я бы мог показать... Карандаш?»

— «Карандаш»—подала карандаш Серафима.

— «Фигура числа в геометрии, взятой наукой вращения,—метаморфоза текучая чисел,—сращаемых, переводимых друг в друга-с; она есть вариация в круге вариаций».

И—вдруг он:

— «Бумагу-с!»

Схватила бумагу.

— «Бумага»,—слетев с икодоконника, стала с бумагой.

Профессор чертил на бумаге число; и, забывшись, мурмолку схвативши, ее всадил в космы; она с головы повалилась бы, мялась, топталась бы пяткой, кабы не рука, подобравшая из-под профессора и положившая пестрый предметик на стол, откуда обратно хватался он.

— «Вот»—показал на фигуру числа.

Но никто не поднялся: увидеть фигуру числа; лишь Пэпэш перевесился пузом; и пузом откинулся.

— «Вы извините, какая же связь»—князь, смеясь, «этих выпрежений мыслей с действительной жизнью?»

— «Такая-с: число—композиция, целое».

— «Общее?»

— «Ах, да отвыкните, батюшка», батюшку он разрезал кою тыкнул—«от... от...»—искал слов—«от безграмотного выражения: «в общем и целом...»

Мурмолку в затылок.

— «От смеси понятий...»

Мурмолка упала.

— «Сливающих принципы, в корне иные-с..»

Мурмолку затаптывал.

Громкий расчмок: это воздух лобзал Николай Николаевич.

— «Общее-с,—ну-те-с—понятие анализа; «целое» в логике аритмологии—образ, фигура; там—счет, обобщающий; здесь—построение!»

И упреждая движение руки Серафимы Сергеевны, присевшей

на корточки, чтобы мурмолку спасти, он,—на корточки: с ожесточением вырвал мурмолку, всадивши мурмолку в вихры; и показывал крепкие белые зубы.

Мурмолка—свалилась; и—пала, подхваченная Серафимою.

— «В общем и целом есть гиль, тарабарщина, едущий, ясное дело, «в карете верхом»: набор слов!»

Куланской, отзываясь на шутку профессора, прогрохотал каблуками и задницей, дернувшей стул, или—стулом; сидел перекошенный и глуповато отдававшийся фырканью; а Николай Николаич расжимами в воздухе пальцев, откидами корпуса вылился весь в вопросительный знак.

Никанор,—отзываясь на жест психиатра,—с сарказмом ему:

— «Так вы с братом, Иваном, повидному,—не согласны?..»

Мысль брата, Ивана, вопрос поднимает, по-моему... Что?»

Но Пэпэш, не ответив, славил из приличия иком—зевком.

И вперившись в Пэпэша, профессор стоял: головою серебряною на оконном квадрате; за шим вдалеке рисовались заборы; повесились пересеченные, черные вычерчи, ветви,—на светлые тверди.

И голову эту из ярко кровавого золота листьев обрызгали светлые просветы зорь.

Серафиме Сергеевне казалось, что выписал он Микель-Анжело, фрескою,—под потолок:—

— Моисей,—

— громко гремящий в пол с высоты потолочной Сикстинской капеллы.

## ДА ЛЕВА Ж ЛЕОЙЦЕВ!

— «Теория чисел врывается в диалектические представления, меняя триаду в тетраду, в гептаду, в какое угодно число; треугольник, как синтез «трех», в целом»,—профессор ногою приотпнул на «целом»—«проекция в плоскость тетраэдра, или пирамиды, допустим, которой квадрат—основание; общее синтеза,—третьего-с, трех-с,—в четырех-с»,—разъяснил—«треугольниках с нам нарисует семь фаз диалектики, не нарушая триады никак, потому что понятие гептады—понятие триады в разверте спирально вращаемого, говоря рационально, тетраэдра».

И—подождал:

— «Диалектика, ясное дело, имеет свою диалектику в свойстве числа; если этого мы не усвоим, то и диалектики мы не

услоним; и будем по кругу вращаться, себе повторять, потому что— в спиральном разверте она; и триада—растет; переходит в сращение триад, в свое целое; символ его есть «четыре»; так «пять»—теза в целом; гексада—вариация в целом двух, как антитезы. Гептада есть синтез в понятии «целого»; я—повторяю: не «общего»!

Оргии блесков—очки Куланского; оттенками пырснувши, переливались—

—«Вниматель!»—

—«Прекрасно!»—

— Очками кричал из-за плеч; ситории стулом наигрывал; книжечку вынул ядреным, мужицким движением; чихнул.

Отдернулся князь, вероятно подумав:

— «Невежа!»

И сдержанно около носа платком помахал; и волной тройной одеколон разливался; не выберешься; нет—как он затесался сюда? Притащила—сенсация; пресса кричала:

— «Открыл!»

Появление сюда—лишь желанье глазами пощупать сенсацию (дамы—матери щупали;—«лев» же кадетский профессора глазом ощупал).

Решил: никакого открытия не было; был—старикан шутовской.

Он не слушал: в нем выступили: перебрюзгая пухлость, просер перезрелый; да дряблая смятость—не бледность щеки, пере-чмоканной, видно, кадетскими дамами.

Вместо теорий—только теории от Милюкова и от Винаве-рова: вот так «лев»!

Просто:—

—Лёва Леоидцев,—каким он учился в гимназии у

Поливанова!

Куклу глупую, пусто надутую, фронт политический выху-нул в воздух.

## ТРЮХ-БРЮХ

И профессор ему:

— «Сударь мой,—надо помнить фигуры комплексон».

Не выдержал князь:

— «Для чего?»

— «Для того-с! Дело ясное: аритмиология есть социология чи-сел; в ней принцип комплекса есть такт социальный, безграмотно так нарушаемый».

Чуть не прибавил он:

— «Вами-с!»

Ногой и локтем кидался, как вьолончелист, исполняющий труд-ный пассаж,—Куланской; вьолончель, стуло—пелю; и шар, яр и рдяк,—там упал: за окном; и медовый косяк стал багровый.

Тогда Николай Николаич—с наскоком, с отбросом, со скри-пом стола,—Синепапичу что-то доказывать стал; Синепапич без-молствовал, ручкой укрывши зевок.

Николай Николаич, увидев зевок, точно руки омыл; он рукою бросался за мухой: его интересы—что? Муха-с, а не Синепапич.

Да, да: обнаружилось, что Синепапич,—не муха: под-муха!

Профессора ж,—если бы даже оставили здесь, Николай Ни-колаич теперь из лечебницы выбросит: выведенное яйцо,—не больной!

И—не выдержал:

— «Можно подумать,—коллега Коробкин читает нам курсы по психиатрии».

Профессор, как дернется, как побежит на него:

— «Да-с,—без Абея психиатрия, как всякое знание,—бита-с... А мы—лупим мимо; мы вилами пишем по, ясное дело, воде!»

И затрясся под носом он:

— «Трюхи да брюхи-с!»

Присел: рукою—в нос:

— «Получается—в общем и целом».

И—шиш показал он:

— «Без масла-с!»

И тотчас к окну отошел; и—задумался; и—стал суровый; и—мучился, что неотвественно он безответно внимавшим ему, неот-вественным, бисер метал; и себе самому он внимал, в окно глядя, где строились—

— в карем пожаре окарны, где—стеклянистая даль, где смертельное небо, в которое вломлены гор-лого города грубыми кубами абрисы черных огромин,—

—домов!

Серафиме Сергеевне казалось, что мраморною бородой и ро-гами на кафедру входит, чтоб истины блошьему миру читать,—Монсей Микель-Анджело.

Встала с ним рядом.

Как в увеличительных стеклах, слагающих блеск нестерпимый,— до вспыха, из глаз ее вспыхнуло то, чем светилась душа: они стали—две молнии!

### НАДЕНЬКА, КИЕРКО, ТОМОЧКА!

— «Как?»—Куланской, наклоняясь к князю.

И князь, показавши рукой на профессора:

— «Как-нибудь, что-нибудь там».

И—грудь выпятив, горло прочистивши,—встал; и к профессору: «все-таки» рад он—

—без всякого «все-таки» он повдоровался

— «Все-таки: случай приятный... Так, все...»

К Николай Николаичу:

— «Павел, увь, Николаевич—ждет... Николай Николаевич, мне чрезвычайно приятно... вас к делу «Союза» привлечь,—кстати уж...»

И—замин.

— «Кстати».

Задержав пожатия; и—с плеч долой: он—исчез.

И за ним: Николай Николаич и Тер-Преподанц: коридором зашаркали.

А Синепапич лицал Никанору Ивановичу из угла: затяжная болезнь; но здоровообразием станет она; обитатели шара земного—здоровообразы; земной шар—лечебница; буйств никаких,—значит: что же держать его!

— «Что вам, профессор, здесь делать-то? Дома, поди,—лучше будет?»

Сердечно пожал ему руку; и—ринулся к этой руке Куланской.

Был услышан, когда две спины в скрутках проходили сквозь дверь коридора, восторженный вскрик—

— «голова за троник!»—

Куланского.

Профессор же с бледной, как мел, головою, поставленной наискось, вдруг просутулясь, осел, стал расплечим, губа отвалилась, и шрам прочернился; казалось: дорогою ровною шел; и наткнувшись на мрачную пропасть,—отдернулся; странно глазную повязку рукою сорвал и кровавою ямой глазницы показывал—ужас.

— «Заче: это вы!»—Серафима его оправлял: глазную повязку надела; а он, отдавая себя в ее руки, прижался с «малюткой» своей, от которой его отрывали:

— «Куда я пойду,—дело ясное?»

Дом?»

— «Дома- нет: никого».

— «Дома—нет!»

Уронил меж ладонями голову.

А Никанор—по плечу его:

— «Ты, брат-Иван,—не волнуйся... Так что-то: образуется...

Есть помещенье, возможности... Ты, я—так: ум хорошо, а два—лучше... Три—лучше всего: Серафима Сергеевна,—так-эдак. Втроем проживем!»

Серафима, взяв за-руку:

— «Милый,—обидели вас; нет, не вас, а—себя лишь: слепые, достойные жалости».

Он, представляя непомерно раздутое пузо Пэпэша, в которое этот Пэпэш, как в мешок, надуваемый газом, зашит—ужаснулся; усесться в мешок, за собою мешок волочить!

Пережил это тело; Пэпэш, как Хампауэр, Иван: а Хампауэр, Иван,—

—брат, Иван!

Сострадание—вспыхнуло: «да»—как удар по затылку (слом черепа)—молотом; выжженный глаз, издевательства, тряпка, которой заклепано горло; «со» наковальня: встух из сердца,—любовь; «стра»—се-стра; и тут вспыхнула многолучевая лучами звезда, со звездой сочетавшись.

Созвездье двух звезд: близнецы!

Никанор, чтоб отвлечь от раздумий, к нему приставал:

— «Ты, Иван, прочитай бы записку, которую я передал; а то...»

— «Как же-с».

Достал, развернул: прочитал; и—присел, густо вспыхнув, руками схватившись за бедра; и радостно взаял:

— «Да это же—Киерко, чорт побери!»

И хватил кулаком по воздуху, шаркнув и перевернувшись, как перед мазуркой; и тут же, зажавши свой жест, как в кулак, его выжал в лицо заигравшее: пальцем—в записочку; ею—им в лица.

Увидели, что ремингтоном настукано:—

— Старому другу привет. Николай Николаевич Киерко». Снизу: «Прошу разорвать».

— «Ты—того»;—Никанор, подмигнувши, рвал пальцами воздух—ведь он—нелегальный».

Профессор любовно записочку рвал, точно розу ощипывал,—  
носом на брата, и носом в малюточку:

— Наденька,  
— Томочка-песнишка,  
— Киерко!

— «Время приходит, друзья мои: тени родные вернулись!»

## МАДАМ КУБОА

Меж двух оглазуренных и белоблещущих круглых колонн,—над  
тремя ступенями, пятью ассистентами в белых халатах, стоявших  
под пляшущим пузом Лэпэша,—Лэпэш, пузо выпятив и раз-  
летаясь лапами пальто, лапшу сжав, ей махая,—отдался, как вод-  
ный кентавр, кувырканью среди волн, разыгравшихся:

— «Слаб Синепапич!»

И чмокнул губами пред ручкой, к губам поднесенной, как бы  
для лобзания, пузом взывав, точно в пузе Иона, им съеденный,  
тешился перекувырками:

— «Слаб, слаб: до баб!»

И присел, перепрыгнувши глазками;—

— слева направо—  
— и справа налево—

— меж  
жадно просунутых пяти голов: ассистенты с натугой пустой вожде-  
тели дожидаться конца каламбура: присели и ели глазами Лэпэша  
Как, как?

— «Весом—хе-хе—у краббика этого с берковец—бабища-с!»

Тут, привскочив, разорвался—очками, руками, ногами—меж  
двух колонн блещущих; и—передрагивал пузом.

И—

—хо-хо-хо-хò—

го-го-го—

—расплескалось пять белых халатов  
пяти ухватившихся за животы ассистентов, присевших от хохота  
между колонн.

Николай Николаевич,—шар, выпускающий газ (свою шуточ-  
ку),—с ожесточением в голову шапку всадил и меж них проче-  
сал, перепрыгнувши через ступеньки,—в подъезд, где седой Пяти-  
фьфрев стоял оголтело.

И треск оглушительный: аплодисментов.

— «Каков».

— «О!»

— «Го-го».

— «Николай Николаевич!»

— «Глуп Синепапич!»

Тогда Николай Николаевич перевернулся в подъезде, как клоун,  
притянутый аплодисментами; шапку сорвал, помахал; да и бахнул:

— «Как пуп!»

В глубь кубовочерные кубовочерного выреза двери пропал,—  
под подъезд; над подъездом же—черная рожка; спешил в «Бар-  
Пэар»: в кубы кубовые; ждали—Мирра Миррицкая, Третий Мер-  
тетев и Гурий Гурон.

И ждала—юбка кубовая под боа: в кубы кубовые; иль—мадам  
Кубоа,—из Баку.

А все пять ассистентов, вильнувши халатами меж двух колонн,  
коридорами вправо и влево—как пырскут!

Стоят две колонны; меж ними—дуга; посредине из лампочки  
злой белый бесится блеск.

## В БЛЕСКИ ЗВЕЗД

Пестроплеткий оранжевыми, сизосиними, голубоватыми пятнами  
складок халата из ультрафиолевой он шел в инфракрасную полосу—  
по семицветию спектра—листов облетающих, вид же имея тибет-  
ца, скрепяся до каменного, землей сжатого, угля (вполне адаман-  
товый!), и разрешая вопрос овладения междуатомным теплом, своим  
собственным, внутреннюю теплотой своею!

Что делалось с правым зрачком,—неизвестно: заплатою черною  
он занавесил.

Ходил занавешанным.

Ободы облак окрасились странным, оранжевым жаром.

Вдруг выскочил из-за кустов—шут гороховый в желтом и в  
сером; да—в спину ему, с пересвистами,—выкрикнул.

— «Дурень Иван думу вздул, как индейский петух: в зоб идет  
дума эта; и—то: борода растет густо, а нос—как капуста: ум—пусто!»

Профессор же, как обернется, и пальцем как щелкнет под  
нос, расплеснувши халат:

— «Я—Иван: да—не дурень!»

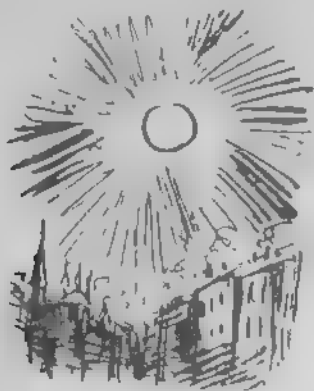
Распятивши ноги и руки (от этого полы халата, как крылья  
тропической птицы, взлетели),—как гаркнет:



— «Я, брат,— всем Иванам Иван!»  
 Запахнувшись полон, вид имея не то дурака полусатого, не  
 то тибетца, как в бой барабанов пошел он: вперед.  
 И в сквозном, в леопардовом всем из заката—изогнута: ясного  
 глаза там ясная бровь.

Воздух—красная свежесть: в нем зов.  
 — «Я ищу вас,— профессор!»  
 В сиреневосером фигурка малютки, снегурочки, с личиком ми-  
 лым, с малиновым ротиком: в мысли о нем.  
 Мысль,—  
 — снежиночка чистая,—  
 — в сердце скатясь, став слезой,  
 как жемчужина, павшая в чашу,—  
 — так екнула в ней  
 ясным жаром; овеяло  
 личико ей, точно ров-  
 ным и розовым паром..  
 Два ветра, два вестника: прошлое с будущим!  
 Два близнеца!

А небесная мысль повисала из неба меж ними: звездинкой.  
 Молчал даже в россверках левый врачок, о чем правый вра-  
 чок не сказал еще, скрытый заплакою.  
 И светорукое солнце лучилось невидимо из красноглавого об-  
 лака; и синерукий восток поднимал свою тусклость.



ГЛАВА ПЯТАЯ

ТИТЕЛЕВ

БОРОДОЮ ТРЯСЕТ, КАК АПОСТОЛ

Лизала метель через колья забора: сквозной порошицей, с се-  
 ребряным свистом; замах за замахом хлестал; заморочили белые  
 ворохи, прядая, двери шарахая.

В быстрых разрывах выскакивали: синеватый прэстор с заобла-  
 ченным, с дымом, с угластыми кровлями домиков дикорябиновы-  
 ских и розовых; ржавый Икавшеву тулупил и сыпал песок

Из сквозной порошицы скрипел, как забор, перержавленный  
 голос:

— «Хорош бы domeц: да жилец!»

Что такое?

Заборы, осклабясь прорехами, заверещали по-бабьему:

— «Знаем: не все говорится, что варится в нем».

— «Ты—копни; и—найди!»

Порошица серебряная, покрутясь простыней завязываемой,—  
 стлалась.

И—думалось: колокола отливает Егор Гнидоедов, сосед; Ника-

нор ухо выставил: недопонять; слова ясные, грубые; смысл их неясен, как слово Терептия Тителева; как ужимки Леоночки, как положение брата Ивана.

И он перекрался сугробом, проколом, обцапканным лапой вороньей,—вдоль тропки; и взбочень стал он в прореху заглядывать; видел: Егор Гнидоедов, да бабица (писаной мискою рожа), да рыжий тулуп, да какой-то, по виду рабочий.

— «Сварили с корову, а нам показали с воробушка».

— «Сам бороною трясет, как апостол».

— «Сама—раскрасава».

— «Как пава бесхвостная».—Психопержицкая дверь распахнула с ушатом помой.

— «С приживальщиком драным».—помои в снег выплеснула—«по прозванью: болван!»

Да и в двери.

И кто-то снегами отхлопал вдали.

Невесомые истины кралась сквозь души людей; и они же, Егором оплеванные, как ковры, на заборе развешаны в бабину рожу, которая писаной мискою кричит на базарах.

Надысь искосочком он шел; ему в спину:

— «Какой нищелюб!»

А Икавшев?

— «Настрял на зубах у меня тут!»

А Агния?

— «Ишь,—топотун, наставитель какой!..»

А Леоночка?

Слышался звук ударяемых дров; и снежиночки падали; и Никанор пригорюнился: травля при помощи грубых тулупов; а он—только ветром ломимый заборик сквозной, под которым присел брат, Иван.

Тут опять оцарапало в ухо:

— «Бородкою в Минина; и сухорукий такой же; очками выходит, что в филина».

— «Бегал третеньнись в больницу».

— «Иван, Никанор: много всяких «Иванычей», как под березой поганыхей».

— «Супа не сварить из них».

Тут рабочий вступился:

— «По-моему кура быка родила; тоже,—слушай: такого наслушаешься, что от чаду счихнешь».

— «А по-моему,—кура, корова ли,—были б быки; а говядина

красная—будет»—кулак умертвительный в воздух зажал Гнидоедов.

— «В говядину, братцы, мы пустим шуров этих красных».

— «Какой черный дрозд!»

И машисто вошел серодранец; с ним дергал седой архалуку.

Встали ворохи—моромом, рокотом; и из пустого простора ша-рахнул, заухавши, страх, как косматый монах: на оранжевый домик; пригорбился брат Никанор, чтобы стужей стальной не зашибло.

А в павертне слышалось:

— «Мороз-бой!»

«Пропустить бы мерзавчик!»

И—выступили за забором сугробища да серебрень; никого; только на леднике, дерном крытом, на целый аршин—снеговина, как белая митра, надета.

И кто-то—

—встает от нее и рукой снеговою и строгою в снег—подымит!

Жались голуби; слышался звук ударяемых дров; жестяная флюгарка, вертяся, визжала с соседнего домика; пусто глядел Непрепрев в свои пустоглазые окна.

Сугроб за сугробом с соседних пустующих дворишков встал за забором,—неоптанный, непроходимый; нигде—ни души; покопайся,—неведомки всюду:—

—как белые вши, вездесущие, ползают.

Вьюга пустилась по кольям забора, как стая насытых смертей.

## НА КРОВЯХ, НА КОСТЯХ

И из снежного дыма расслышалось еле:

— «Живое мясо, когда режут, мычит—говорю я Шамше Лужердинзе».

— «Геннадий Жебевич Цецосу рассказывал...»

Белые массы бросались сквозь белые массы.

— «То—правильно: карта России—пятно кровавое; Москва—на кровях».

— «Петербург—на костях».

— «И пора ликвидировать это».

Охлопковый снег повалился за шею Терентия Титыча; он же,

в сугроб провалился, едва выволакивал валенок; в шапке рысине, в тулупчике с траченным мехом, шажисто шарчил из сугроба и слизывал сырости с белых усов.

Глядя вбок, Каракаллов, Корнилий Корненч, мотался кудрями и не поспевал; загораживал рот он рукою; метался очками; и пар пускал: пачечками:

— «Скоро партию новых листовок»—а в рот хлестал ветер— «на дровнях доставит Пров Обов-Рагъх, ну и ловко ж из моря ловили их».

— «Кто?»

— «Бронислав Бретуканский, Артем Уртукуев, Мамай-Алмамед, Мовша Жмойда... Тюки им бросали за борт: буря, ночь; лодки старые»,—жался в серявом пальтишке, с которого шарф голубой, закрывающий рот, завивался змеей в Гартагалов, мелькающий еле; стихнул.

— «Чох на правду!»

— «Тащили за три с половиною верст из Батума; Цецос при разборе листовок присутствовать должен, а он точно в воду упал».

И скользнувши, рукой—за очки он; а Тителев, даже не слушая, выставил бороду,—белый ком пуха; походка—со стоечкой; задержь в посадке спины:

— «Ветерец!»

О Цецосе,—ни звука.

Под сниженным боком заборика, собственного, в снег—коленями, а бородой—под забор; снег слетел с бороды; разъерошилась,—желтая, шерсткая:

— «Сорвана».

— «Что?»

— «Да доска, чорт дер!»

А в отверстие—психа.

— «Ну, гавочка...»—валенкой он отпихнулся—«Кукушка полезла в чужое гнездо!»

Сдунул иней, под ним обнаружив следок собачинный; под руку ему Каракаллов заглядывал, точно собака в кувшин.

— «Ну, чего надо мной залясали, как чорт над душой?»

И шарчил из сугроба; опять Каракаллов:

— «Цецос,—точно в прорубь».

Терентий же Титович снова—ни звука.

Оглядывая Каракаллова, думал:

— «Жердья: точно чучело на коноплянике; рот, как дыра; кос, курнос; рыло—дудкою; глух, точно тетерева!»

С силою шел: руки—за-спину; клином волос изъерошенных—в ветер:

— «У нас соберутся Ивип Буддогубов, Богруни-Бобырь, Галдаган этот, Нил, Откалдакал; галдят—врозь, вразвалку!»

И—смык смышлеватых бровей:

— «Все Шемяки да Шуйские; как кулаком, заезжают друг в друга»—мигнуло лукавое, польское что-то—«партийным оттенком, я не о рабочих»—взусатился он проработался славно в ячейках заводских; я—о комитетчиках; эти в подпольи гниют; их—проветрить, на воздух; им все невдомек: хладнокровие и осторожность—десница и шуйца—упорил он валенком, в снег ударяющим.

«Шутка—нехитрая? В том-то и дело: нехитрое—очень хитро как огонь, в кремне скрытый».

В его хохотавшем баске с перезвоном икливом, как... хвостик.

И—вдруг:

— «Меделянского пса заведу».

И—на Козиев Третий свернул он, ступая с притопом; и—зная: он—сила больших обстоятельств, которые властью подкрадывались,—уже изнемогает; а вихрь—хлестал в горло; порыв утаив, жестко шел, припадая на правую ногу:

— «Кадет полевел; вылезает эс-эр; и садит меньшевик из-под локтя; пиликает всякий кулик про болото свое... Наши темпы трещат; расслоение спутает карты программ; надо знать из сегодняшней схему поправок на время, когда меньшевик и эс-эр нас загонят в подвал; не бояться вливаемых ядов, их схватывать, кристаллизуя из них силикаты полезные; сила движения—верткая, да-с... Ну,—а мы? Хороши ли? Глафира Лафитова,—та лупит славно; а Римма Ассинова-Пситова,—дай волю ей: тебе кровопускатель откроет; живет на Кровянке, а не на Солянке».

И руку с черешневой трубочкой выбросил:

— «Небопись,—эк?»

Вадул усы; и—с посапом:

— «Леоночка: тоже за ножик; она—декаденточка».

С силою выпустил облако дыма, порыв утаив:

— «Разложение капитализма погубит не сотню, а тысячу эдаких!»

Точно рыдваны, в ухаб опрокинутые,—перегромами пали, ссысь за забор, где сугроб скорбно скорчен, и где Неперепревадом пятнил издали.

Он, педагог удивительный, силой и сметкою бравший, надеялся все же, что есть исключения: служит же общему делу и он, хотя дед—откупщик; в нем замашки кулацкие сжаты в кулак, его собственный: пикнуть не смеют; под бурей и натиском, старый стояло, скрепясь,—развернул-таки красное знамя.

Под собственным домом, вобравши движения, вытянул шею, как сетер на стойке,—в плюющую муть; стать—закал; сталь—не поза.

Но дернулись уши: он выбросил:

— «Во все лопатки лупите: за мной!»

Под ворота летел—от ворот, своих собственных он; и за ним Каракаллов, который и—рухнул в бревно, как кобыла в оглоблях.

В месте, где только что шли, расхлестался рукав; и—занизился, сгинул; и тумба торчала; над ней прошел бритый: безглазием. Тителев выбросил руку, скарячаясь в присядь; а другую—под глаз.

Бросил:

— «Это—Маврикий Мердон: провокатор».

И на Каракаллова:

— «Эк же,—строчит настроенем с бревна!»

И зубами щемил свою трубку:

— «Обычное дело!»

И красная церковка,—

— всплывшее бывшее,—

— сфукнулась.

### ТЕРТИЙ, ТЕТЕРЕВ

Тертий Терентийч Мертетев, блистая кокардой и ясной подковой сапог, перехрустывал в снег—там, где еле тускло лиловым забором; мелькнул номер дома.

Рукою в молочной перчатке махал и пятью белоснежными пальцами воздух отхватывал; статная талия, стянутая бледносерым пальто, проходила в сквозной, улетающий дым; он подрагивал выбитым, синим своим подбородком, погоном серебряным и эксельбантом серебряным; глаз,—как в атаке; в атаку бросал за собою пахучий тулуп и невзрачную личность, которую тыкал он пальцем, лица не повертывая:

— «Говорю, Каконясним, что — зря: Жюливор пишет — Знаменка...»

И увидавши Мердона, возникшего из-за забора, он бросил Мердону:

— «Как с радио? А?»

Снег попадал с усов; и они прочернели, как кокс.

И Мердон:

— «Не похоже».

Мертетев, понюхав, как дымом воняет, в Мердона уставился; и—промелькнуло:—

— матерый мерзавец; и—неутомимый подлец: не доспит, не доест, а—напакостит!

Тертий Мертетев к подобного рода субъектам испытывал только гадливость; к Мердону—напротив:

— «Почтенная гадина!»

Серо рябил из-за них мимобег: мимоезд, мимолет!

И заборы ломящему ветру подставивши спину, Мертетев закуривал:

— «С радио — вздор: ну, а с гелио-», — и проблистал огнишком папироски в бормочущий, пусто сквозной веретенник— «а с гелио- — некуда».

И он пошел, передрагивая подбородком, погоном серебряным и эксельбантом серебряным.

— «Что же те двое?»—к Мердону с дымком.

И Мердон изъязвленной губой изъяснялся:

— «На Знаменке: номер семнадцать, квартира двенадцать».

И шел независимо в белые призраки между морковных и желтых домов, разевающих темные окна; загривина лепку орнамента,—морду клыкастую,—взлизывала.

Возникала проблема: а стоит ли лично ему, когда здесь исполнительный этот Мердон, неворующий вор, не подлиза, не червь,—с положением, с весом; Велес-Непещевич снимает пред ним котелок; и Миррицкая, Мирра Мартыновна, кремовым тортом кормила.

И шли; и—высвистывало: и уж издали выметились, как из неба, сложения серых, кофейных, сквозных, фиолетовых стен, задымившихся трубами; грохотом труб ветер ржал.

Но вмешался тулуп.

— «Они с этого места, из этой дыры в Гартагалов таскают ногами тюки».

— «И вполне не относится к делу»,—Мердон: и к Мертетеву:— «левые просто».

Но не унимался тулуп:

— «И живет непрописанный с ними: и лазает ночью в ледню».

— «Не профессор брат?»

— «Нет,—Муфлончик, эс-дек: это дело не наше».

Мертетев согласен:—Маврикий Мердон бескорыстную ненависть чувствовал к явным «предметам» своих наблюдений, зачеркивая все случайное, не относящееся к прямой цели; ему прикази: «Проследи!» Бескорыстная ненависть вспыхнет; своих мнений—нет: предавая, смотрел он на руку, сжимавшую кандалы, с нежным порывом: ее лобызнуть,—как невестушка на жениховскую руку, держащую сердце:

— «Что, милая?»

— «Гадится мне!»

Что же,—гадил исправно Маврикий Мердон.

И уж издали всплыло сложение трех-двухэтажных цветочных домов—

—как пион, как лимон и  
как лютик;—

—взлизнули вьюнки; завизжав, как стрижи, затрещав, как чижи, под колонну лимонного дома, под фризом серизовым; улепетнули под небо.

— «Позволю заметить»,—подергал Мердон перебитым, мездравеньким носом,—«на Знаменке, от углового окна, дом Фетисова, явно мигает окно с половины второго: в Ваганьковский; тушится ровно в одиннадцать свет; с половины второго—«ф а з р а з!»

— «Вы-то видели сами?»

— «С подзором ходил».

Он давно изучил все оттенки подлогов: подлог на письме, на счетах, на товарах, подлог государственный!

Прядал серебряный пар: промаячил домочек резной, деревянный, коричневорозовых колеров, с легкой, резной, полукруглой надстройкой; там вырезанный Геркулес, размахнувшись дубиной, льва добивал: из-за снежного облака.

— «Кто жилец-то?»

— «Да дамский портной, Цвишенцворш».

— «В списке значится?»

— «От Николаевского с двумя ящиками эти самые прямо к нему».

— «А в Ваганьковском?»

— «Грек Филлилопи с жильцами: Лорййдисом, Маго-Маогой, из Индии».

Третий Мертетев под небо молочного цвета перчаткой с дычком:

— «Значит—Знаменка; значит—не Тителев; здесь—делать нечего».

Порх, перемельк: ничего, перепырснулось все; из-за свиста провесилась кариаида, одною рукою держащая грузы балкона, другою—опрокинутый факел.

Мертетеву вспомнилось: из Хапаранды писали ему: ожидается нынче иль завтра развоз аппаратов берлинских для крыш по шпионским квартирам в Москве; аппараты в разобранном виде-таки унырнули от зоркого ока с границ:

— «Глаз—сюда; глаз—на Знаменку».

И осенило: да что? Тигроватка! Ее и прислать; баба с носом, с принохом.

К тулупу:

— «Аптека ближайшая?»

— «На Петероковой».

— «Вы уж, Маврикий... А я—к телефону».

И Третий Терентий Мертетев, подбросивши руку к фуражке, другою рукой замахав и пятью белоснежными пальцами воздух хватая, от них захрустел в перевзвизг рукавов, куда все унеслось; только—

—кучер в лазурной подушечке задом растолстым провесился из белой пены на белую пену.

А саночек—нет; коней—нет.

.....

И матерый мерзавец,—

—Маврикий Мердон,—

—усмехнулся...

С Велес-Непещевичем,—не с Манасевичем,—путь; как же: Тителев—лакомый кус; не для царской охраны же; «князю», премьеру, его, точно торт, поднесет: «Пораженческий заговор против войны до конца!» Чего доброго: «князя» в придачу с Велесом, он Тителеву, сберегаемому до последних, решительных действий: он знает, «кто» Тителев; и презентует, как торт, потому что Велес—неглижирует Тителевым; Сослепец-кого он прострочит; капитан Пшевжепанский—мозгляк; а Мертетев—токующий тетерев.

А то—охранка!

Скажите пожалуйста: как же!

Вернулся, прищурясь, глядеть на лысое место, как Форд, озирающий шкаф несгораемый.

Винт снеговой, развизжась, полетел из-под ног, развивая рон перевертней; как ухнет из них:

— «Тоска бешеная!»

И тарыхтом полозья снега шерошили; и белой овчиной тороченный, старый тулуп над полозьями мордой рябою скользнул.

## СВИРИСТЕНЬЕ ВЬЮРОВ

Куралесило.

Свист, свиристенье вьюров из пустых рукавов: в разговор подворотен:—

— «хлоп» — крыша; «дзин» — склянка; —

— и серые тени  
прохожих из белого ды-  
ма, —

— как издали!

Провод дрежит; свора борзая храпами бьется о красный забор; вырез серый прохожего гнется в него, жестяной жолоб ржет; подворотня ворот—

— без ворот!

И морковного колера выступ без стен, поднимаемый каменной мышцей, безглавой, безгрудой из снежного дыма; а вырчивый юркий вьюнок—подлизнул под колонну.

Сутулая шуба, без ног, пронеслась за колесами черной кареты в сухой и рассыпчатый дым; и ударилось звонкое что-то, от жолоба свесились гуды снегуры.

Проткнулись:—

— фонарь, верх прэснеженной будки и штык часового с казенного места, которого—

— нет.

И прошел инженер, пыхтя паром туда, где отцокала свора морозная—

— гривистых, нежных, серебряных,  
снежных коней—

— сквозь забор, переулоч, ковровый платок,  
полушубок, тулуп и сквозь стену, с кото-  
рой, как рапортом, отбарабанила крыша.

Москва,—

— как на крыльях, без стен, перегрохами в воздухе  
виснувших крыш—

— улетает.

Их—нет.

Санок—нет; людей—нет: шелестение ботиков, цоки и подскрипы мерзлых полозьев; и—

— «Нод!»

Головою мотается лошадь.

И сереброперой загвивиной переострился сугроб, от которого юркий вьюнок, вознесясь, разрываясь,—

— сквозной синусоидой ши-  
рится:—

— синие линии вьют-  
ся и крутятся!

## БЕЛАЯ ВЕДЬМОЧКА

Терентий Титович из-под ворот появился: лицо его светом стальным полыхнуло:—

— Леоночка:—

— все же предательски держит себя: в настроеньях—сума переметная; перекачи-поле; совести нет ни полушки; садись на нее; и—катись: как в санях; и—пиши с ней восьмерки: налево, направо; едва «гильотина», уже—«лидер-абенды»; как в полуобмороке; эта лютость—жирок буржуазный; а рыльце в пушку: появились знакомства: какие-то Гелюловы, Флитиков-Пли, Тигроватко; ныряет куда-то; шпика привела: он, Мердон, записной!

Это ж в их положении—выстрелил дымом—начало предательства!

И протончилось лицо, точно горный хрусталь; и рукою держась за калитку, не взглядом, а смером обвел: вон—колун стоит в снеге; песок для усыпа в ведре; и лопата, которою снег разгребают, в снег воткнута, перекрестясь с метлой; Никанор там с лопатой, как чорт с сатаной, то ужаснейше морщась под тяжестью кома, а то впереверт, мимо снега махал, проливаясь испариной.

Вдруг:

— «Кровцу выпустим все же: с поры до поры—в топоры; вещь естественная!»

Верещало; и—проволока дребезжала: и—белая ведьмочка, вылетев из-за трубы, вверх ногами и вниз головой, развизжалась икливими криками в воздухе...

Леоночку—предупредить: дружба друбою, а—служба службою: как же иначе? Стальная душа у него; не послушается,—он доложит о ней в комитете.

И—хлопнув калиткой, не слушая вздор о Цецосе, который порол Каракаллов, он упорной походкою меряя снег, жестяными глазами глядел на лысастое место, откуда пустым снегодуем, сквозным пустолясом винтила, вихрами взлетев, коловерть на разном, наметы, канавы, поля.

Вдруг, присев, руки в боки; а нос—в Никанора:

— «Совсем, как мамзель: вы полегче; а то накомсали тут рытвин, смудрили с подкопами».

Варежкой в варежку, валенок в валенок: точно приплясывал:

— «Зря».

Накоробил гримас.

Из тулупа кровавою клюквой пылала огромная рожа Икавшева, тут же стоявшего: теркой,—рябая, как вспаханная; этот—рылом не вышел; и толст: натошак не объедешь.

Ему, с Никанора слетевши зрачком:

— «Вот Икавшев-то—что говорит? Говорит»,—и зрачком в Никанора,—«что—«мажочки» слыш».

А Икавшев, взоржав,—«раз» метлой на него:

— «Ну, чего вы лазгочете!»

Рот—до ушей, хоть лягушку пришей.

— «Ты, Акакий,—брыластый: тебе бы итти в трубачи!»

Руки в воздух:

— «О, интеллигенция! Что говорить, хорошо Чернышевского грызть; а вот эдак—рукой в Никанора он—«мат; ну да из неврастеников быстро смассируем мускулы!»

## БЫСТРЫЕ СМЫСЛЫ МИГНУЛИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Гарком—Икавшеву:

— «Ты на ворота—замок...»

Каракаллову:

— «Ну-те,—в обход?»

Ясны действия: сила устоя—неведомая.

Под конюшней, где в снеге затоптаны щепки, он сметливо из-за сугроба разглядывал, быстро отрезывая:

— «Утварь—вынести!..»

— «Дровни тюки подадут».

— «Прова знаешь?»—Икавшеву.

— «Так их сюда».

И рукою в открытые двери конюшни показывал; чувствовалось: не свернешь.

— «А тючок ты неси в кабинет: этот вот».

И следил, как Икавшев тащил:

— «Осторожнее с ним»

Каракаллову, вскользь:

— «Динамит!»

И—задумался: видню решенья свои проводил, как сквозь строй, разъедаая анализом; но с простотою «дурацкой» выбрасывал.

Вдруг подпираясь руками, почти бородою лег в снег, побежав на карачках:

— «Эге: следы дога...»

— «Ищейка...»—прослеживал.

В криво затиснутом, скрытом усищами рте,—точно спорт: нос—собачий: с принюхом:

— «А вы не смотрите, а вникните: вот,—да и вот!»

Распрямясь, и спиною откинувшись, свистнул под форточку, где Никанор обитал и откуда трепалась синяя тряпка-махавка; пождал.

Как загаркает:

— «Гей! Заросли у тебя, что ли, уши,—товарищ?»

И тотчас из фортки взъерошились дыбом оранжевокрасные волосы; и голова, спугнув двух голубей, вылезала усами и скулами; яркий румянец заржал во всю щеку:—

—Мардарий Муфлончик!

— «Махавку убрать!»

— «Есть!»

И пуще, и пуще отгрохало крышами; свистнулись свисты: ни дома, ни фортки; когда пронеслось, то трепалась желтая тряпка в том месте, где синяя веялась.

— «Теперь узнают, увидят; они, «наши»,—близко!»

Под черепом, как муравейник: мурашиков, мыслей, свершающих одновременные выбеги,—гибель: решения—многосоставные, многоколенчатые!

— «Ну,—поехали?»

И—на лысастое место повел; и зрачком облетевши сугробы, как будто свои диспозиции выметил.

— «Вы скипидаром подметок не мазали? Смажьте при выходе... Я—уже мазал... Не в том вовсе сила»—на бревнушке сел, с силой топнув, «что,—ну-те—кобыла сива...»

И вскочил.

— «А в том сила, она—не везет!»

Стальным торчем с лысастого места он виделся: виделл местность, кричавшую громким галданом солдатским.

Лишь тут, узкоглазый и верткий, склонясь к Каракаллову, быстро ответил на давешний, видю, его удручающий вопрос: о Цецосе:

— «Цецос—пошел раков ловить: пузыри от него на воде!» Каракаллов:

— «Что? Как?»

Вкоренясь в точку трубочкой,—в воздухе варежку сжал; и стальным кулаком погрозил в щелк железных листов, в дикий скрип подворотен:

— «Цецос—арестован!»

Смотрели на местность с лысастого места, где взапуски ветры, вздох—дуновение, где в тихие дни прозяла Россия,—немая, суровая, где повисал сиротливый дымок и лесочек тоскливо синел. Нынче—белое поле; и—завертъ; и—нет ничего!

А когда опускались под дом, он—заказывал:

— «Ну-те, с Мардарием из кабинета стащите тучок в это самое место».

И тут усмехнулся, представивши, как сапогами они прогрохочут в гостиную, дверь приперев; там, погрохают; как языком их слизнет: рухнут в прорубь; припомнивши, как Никанор удивлялся я как на коленях исползал гостиную, стал похохатывать.

Да оборвался:

— «А вы осторожнее; пахнет бедой с динамитом: взлетим; коли пир—на весь мир; коль взлетать,—с растарахамн!»

Чувствовалось: дай упор,—ось вселенной свернет!

— «Пообедаем»—с милой, простой, безобидною ясностью; делалось жутко: что в ней?

И какие-то быстрые смыслы неслись; и какие-то быстрые вихри мигнули пространством сорвавшимся.

И, и, и...

— «Ну-те-ка!»

И Каракаллов уселся, диваном натрескивать, целясь пальцами в клавиатуру машинки; Терентий же Титович, взяв в руки список, и зацепясь за расхляпанную карего поля ковра, клюнул носом, носком отцепился и светлым пятном, точию солнечный зайчик, мигнул на стене:

— «Эк!»

— «Валите же...»

И—дроботнул «Ундервуд»—

—Колбасовкина,

—Мымзина;—

—и тюбетейка — вапры-

гала; пальцем отрезывал, точно щелчком:—

—Герцензохер,

—Рехетцев-Гевец!..

— «Это?»

— «Меньшевики: проживают в квартале у нас».

— «Для чего этот список?»

— «Хватился Малах!.. Нужно знать—все, решительно: ну-те».

И—шелкнул:

— «Эс-эры теперь».

И—трещал «Ундервуд»—

—Бомбандин, Вододонова, Агов.

— «Вы знаете,—Сенекерим Карапетович?.. Дальше...»

Трещало:—

—профессор Нервевич, Кирилл Куромойник, Сергей Гусегурцев...

— «Я,—ну-те—сказал в Комитете—отчетливо, с цифрой в руке: большинство будет наше; противников, меньшевиков и эс-эров, теперь же—

—и всем выраженьем лица сделал стойку—

—«учесть!»

И пошел синусоиды строить ногами, отшлепывая в темносиние каймы ковра: головою—вперед, темносиние кайма отсчитывая и прислушиваясь; и—там снегом визжало, как пулею.

Список швырнул Каракаллову:

— «Сами справляйтесь: немного осталось!»—

—Нил Стрюк, Нина

Пядь, Юрий Песарь, Помыхом,

Фуфлейко.

— «А как с Циммервальдом сношения?»

— «На волоске...»

В шелестениях снега несущихся взвизгнет Россия.

И—

—тысячами развернется знамен!

— «Все же есть».



И уже там повизгивает из-за визгов: иными какими-то визгами,  
п.—Химняклич—

—«старик»—

—из Лозанны глядит.

Почему же—с густой укоризной? И—он, стало быть? Нет же,—  
в руки себя он возьмет.

И как хватит лю воздуха, взвив в воздух руку:—

— «И—меньшевики!»

— «И—эс-эров!»

— «И... и...»

Будет дело: разрушится этот квартал'

Треск:—

—Те-ка-ко-ва!

— «Кончили? Пойдем обедать!»

### СУП С САЛЬЦЕ

Обедали же у Леоночки, на круглом столике; столик качался;  
плохая посуда; Леоночкин ножик без ручки: с железным торчком;  
а тарелки—с потресками; вилки—не чищены.

Терентий Титович выскочил, бразилданскую бороду бросивши:

— «Эк,—насосал папирос Никанор!»

Передернул короткую курточку-спенсер; Леоночке—вскользь,  
мимоходом:

— «Опять зажевала очищенный мел?»

Желчь и зелень локтей оглядел:

— «Износились».

И сел за обеденный стол:

— «Ну-те, милости просим, Корнилий Корнеевич» бросом руки,  
бородой,—желтым клином,—Леоночке:

— «Гость: ждали—с гор; подплыл низом!»

Леоночке стало казаться: она, как на вещалке, виснет в развис-  
лый дымок папироски, который проклочился в воздух из ротика;  
а Никанор подвязался камчатной салфеткою: с меткою «М».

Чтобы что-нибудь,—Тителев руку к бугылке, а бороду на  
Каракаллова:

— «Эк? Кахетинского?»

— «Нет, благодарствуйте!»

И—за графинчик с водою; но руку отдернул отстой,—не вода.

Леонора со скошенным ротиком передавала тарелку остывшего  
супа (с сальцом) Никанору, крича о каких-то разгласиях каж-  
ным своим изогнувшимся пальчиком; видом показывала, что наску-  
тим ей раздабары его; глаз агатовый,—в окна, где дым из трубы,  
выгибаясь, как чорт голенастый, в минуты затишья, выскакивал  
рывами в белые рывы;—

— в разрыв белых вей:—

—двор, забор: за

забором дома деревянные колером виш-  
невым и незабудковым, нежным, едва  
показались; но свисты засыпались снова.

Леоночка, трчно косая: агатовый глаз за окно, а другой, зе-  
леный и злой, наблюдал Никанора, который давился как мерзлую  
кочку ворона,—долбит своим видом и лезет в глаза, как оса, Ни-  
канор; он сопел и отчавкивал громко (дух блюд подаваемых Аг-  
нией—сало свиное); он насморк схватил, нахлебав сапогами  
снежищ.

Каракаллов пытался опять завести разговор о Цецосе, но Ти-  
телев—сбил:

— «Эк, метет!»

Мигунками, сквозными выюнками, забор и домок поминали

Наблюдательность с учетверенною силой, как десять постав-  
ленных автоматических камер, работала: мог крепко спать, все же  
зная, когда там Мердон, не по адресу присланный, ходит забо-  
рами; глазом, как шилом,—в тарелку, в стакан, в Никанора, и  
Леоночку: видел, как залилась, как глазик, зеленый и злой, пере-  
пархивал: под подоконник, под скатерть, под руку.

И глазом забегал за глазиком: под подоконник, под скатерть, под  
руку; я—бегал за ними очком Никанор.

И тут ручка с салфеткой—салфеткою в нос Никанору:

— «Несносный!»

— «Леоночка!»

— «Терентий Титович, я вас прошу...»—Никанор.

А Леоночка:

— «О, уважаемый наш Никанор: не разбейте тарелки мне!»

И Никанор, закусивши бородку, прискорбно давился; и губы.  
сухие и черные, стали сухими полосками в серых устах.

— «Ты, невзрочка какая!» —ей Тителев, переблеснул тубетей-  
кой.—«Ты рожечек, ну-те, не строй: и Никанор, он—хороший;—рукой  
трепанул—трубадуры, голубчик мой, в нынешний век,—трубаду-  
ры; иначе они просто «дурь»; не будьте таким!»

И как будто ему наступил на мозоль он, затронув какую-то тайну его отношения к какой-то особе.

И тотчас—к Леоночке:

— «Эк, закаталась глазками... Неохоть, что ли, тебе?»

— «Опаскудило, что ли, тебе наше дело?»—пытался сказать его взгляд, потому что не губы, а—ржавая жуть; прожесточил усами; в глазах—добродушие.

Ровность подчеркнутая приводила ее просто в ужас; она—верный признак паденья барометра: знать урагану ужасному,— быть.

Но она передернула плечиком.

Пискнула белая стая мышей:—

— за окошком взвилась шелестящая мантия нежно серебряным прбсверком; и громоватый удар тарарахнул по крыше.

— «Ну, ну,—и обеды жел.. Лучше в столовую бегать»—вдохнул Никанор; и—схватился за ножик качавшийся: ручка некрепкая; бросил.

Схватился за скатерть: суровая и с бахромою из синих павлинов; глазами рассматривал брюки, которые он растиранием пепла о них перепакостил:

— «Лучше язык за зубами припрятывать».

И—облизнулся: ни звука.

И—ухнуло с неба.

Низринулась снегом на снег, промелькнувши сквозь чернь размахавшихся веток на бледном, оранжевом домике, бледная девочка, ножками дергаясь в чернь размахавшихся веток, чтоб спинкой разбиться об острый сугроб; и ее пропорола ворона летящая; и все взвизжало; и тотчас ей вслед прочесала свистящими космами баба хрипящая: снегом упала, как скатерть, на снег; и—бледнявый оранжевый домик с оранжевой силою выкровил в снеге; прислушались, как мотор стал подпрыгивать.

— «Кончили?»

Тителев бросил салфетку.

— «Пошли?»

Но мотор у ворот профырчал, ход сорвав.

## КАК ШУТОВКА ЮРОДСТВУЕТ

Черная шляпа, махаясь перьями невероятных размеров, влетела в калитку экспрессней бедер и таза, с лицом, злым и длинным



За ней развевалось дымчато-серым отливом мехов, точно платок героический, шелковая, шелестящая, черная, но с глянцевитым проворком, мантия, схваченная на груди серебрищею пряжкой.

За мантией походилю побежал котелок.

И—звонко

Из передней, походка с шумком, юбка с шуршем; слова закатались, как яйца; тотчас фонтанами страусовых черных перьев плеснулась на них: Тигрватко!

И—что-то: за нею.

И Тителев всем выраженьем лица сделал стойку, как гончая.

— «О, моя девочка!»

С желтого носа посыпалась синяя пудра: на Тителева.

— «Не имея приятности лично вас звать...»

Пертурбация перьев: поля черной шляпы закрыли лицо.

— «Зная вашу прелестную женку»—моталась серьгами.

Коза, а не дама!

— «Простите за стиль фамильер».

Но он с верткою силою мускулов, перемуштрованных в перья, ей кресло подвинул.

И тут:

— «Ташесю!»

Чисто выбритый, чисто одетый, душистый, но старый пажан, как букет, прижимая к груди котелок, подбегал—к Леонорочке, к Тителеву, к Никанору; и каждому, точно взапых,—

—«Ташесю!»

Он сел с видом невинным и розовым на кончик кресла, держал котелок на коленях и нежно любуясь им.

Каракаллов, за ширмочкой сгинул, моргал из постели Леонорочки: сел... на... постель.

И очками пылал Никанор на перчатку грациного колера: руку схватила она вперетяг, до подмышек.

— «А я, мон анфан, на секундочку: ждет—лорд».

И—пауза; и—с серенадой, с руладой:

— «Везет на моторе нас»—долгая пауза—«к князю».

И быстро пустилась мишурить разбором заветов, имен, ситуаций.

— «Парблэ,—ангажирую... завтра: придите же... Прелесть, что будет: такой получала сервиз... И—давайте сестрится!»

И к Тителеву:

— «Вы—не против?»

И юбкою шуркнувши, в креслице, выставив как папоказ, не

прилично икрастую ногу; и муфтой, которую бросилась в стол, половину стола заняла.

— «Отнимаю ее; после вас у нее отниму; вы по слухам»—за глазами злость—независимый, так что отнять—невозможно; и—наоборот...»

Выходило, что он—отнимает.

— «Из стаи ворон, закружившихся над Леонорой Леоповной».

И Никанор наблюдал, как она безобразничала искривлением талии, бедер и таза.

— «Ведь я маркитантка, хотя не при армии, но—тем не менее: мы,—Ник и я, при заботах о страждущих; я появилась—за ней и за вами; за ней—для себя, а за вами—для дела: для общего, нашего»... Ник,—начинайте и муфтой, сняв с половины стола ее,—на Ташесю.

И поставила тощий свой локоть, согнула когтистый мизинец, чеснула им нос, облизнувши сухим язычком губы кубовые; и жестокое, злое лицо ушло в нос хрящеватый, большой, с маслянистой площадкой, посыпанной пудрой, с горбком, круго-слепым.

И Ташесю полетел в котелок, собираясь сорваться и призамирая, до вздрога, от этого.

## ВОТ-ВОТ

— «Леокадия»—и к Тителеву—«Леонардовна к вам меня гонит, я, видите ли... Комитет, нами организованный, нам поручил пригласить вас читать в моем доме».

Он—путался:

— «В пользу «Яичка»!»

— «Какого?»—взусатился Тителев.

— «Красного... Дьё!.. Для увечных...»

— «И раненных»—тут Тигрватко вмешалась муфтой.

— «Воиннов»—едва он кончил.

— «О чем же, помилуйте!»—Тителев: дымом стреляющим; и наблюдательность с учетверенною силой опять заработала в нем.

— «Вы»—сгорал от стыда Ташесю—«всеми признанный, незаменимый знаток социальных...»

— «Вопросов»—вмешалась опять Тигрватко, которую звал он на помощь; и всеми сокровищами разбросалась: лорнетка в оправе

молочного цвета дрезжала стаканом; перо щекотало Леоночку; локоть теснил Никанора, который заметил, как—

—пользуясь перего-  
ворами, эта «мадам», сцапав ручку Леоночки двумя  
перчатками, сжавшими верно цыптячи, когтистые темные  
лапы, затискала ручку; и тиская втиснула в ручку конвер-  
тец; конвертец—исчез: во мгновение ока!

— «О вас» — продолжал Ташесю — говорил капитан Пшеужепан-  
ский: вы—знаете?»

— «Нет, я не знаю!»

— «Как?... Как?... Капитан Пшеужепанский!»

Мосьё Ташесю перепуганно прыдал плечами к мадам Тигро-  
ватко, к Леоночке с видом обиженным и говорившим:

— «А вы говорили?»

Леоночка стала белей полотна.

Как назло Ташесю смешал «Тителев» с «Тителев-«а»: буква  
«а» разрушительна: —нюх розыскной ее всюду разыщет: не сле-  
жую глаз, а ушами, которые слушать умеют, как мысли  
растут:

Вот —

— вот —

— вот —

«Капитан Пшеужепанский!»

И—кончено!

И незначай разглядела взгляд, брошенный от тепевого дивана.  
взгляд грустный, серьезный, значительный: —

точно в пучине кипя-  
щей спасительный  
круг

Никанор!

Ташесю волновался, настаивал; свой котелочек от сердца бржал,  
точно вазочку с розочкой:

— «Вы... вы... прочтите... Вы... вы... просветите, пожалуйста!»

Тителев весело дзекнул.

— «Я не просветитель».

И—«ух»: отдышалась: «о,н»—нет, не ищейка: следов не разгля-  
дывал; ждет, что—покается; знала: жестокий и грозный ее ожидает  
о, нет,—не разнос, а—суд партии!

Но собралась: лишь в зубах дробюток оставался.

— «Итак решено» —лигшировала Тигроватко, с мизинци свер-  
гая лорнетку молочного цвета: в стакан.

«Я же— не специалист: я—статистик».

И громким щелчком, как отрезал:

«Отказываюсь!»

Не свернешь.

— «Ник,—милорд?»

И лорнетка прыжком из стакана на «Ника».

— «Я—жду вас—к Леоночке.

— «Вы почему не бываете у Ташесю?» снисходительно: Тй-  
телеву.

— «Извините же...»

— «Сделайте милость...»

— «Я... мы...»

И все, встав, загремели и быстро прощались друг с другом.

И с силою, с натиском мускулов, перемущированных в первы,  
он, ставши галантным, по-польски, ее выпроваживал; и шелестящая,  
но с гнатиновым прёсверком, мантия легким полетом шушукнула  
в дверь.

И за мантией —

—выбранный, чисто одетый, душистый,  
но старый пижон, перещелкивая каб-  
луками, летел с котелком.

И снежиночки, бледные цветики, падали, плача: все—минуло;  
все—прожитое.

## ПОД ЧЕРНЫМ МОТОРОМ

А черный мотор, тараторя дымком, у ворот передрагивал; чер-  
ный шофер двумя черными стеклами ел колесо рулевое, щипая  
руками в него, чтобы стужей стальною не спшибло.

И сумеречило; двери огненным отброском бросили.

В черном, моторном окошке, склоняся на палку, следила за  
вьюгою бритая серобазальтовая голова; еле серые волосы злились  
под черным цилиндром.

Уже начинался закат; и над Козиевым полетели косматые тучи:  
в закат.

Тут калитка расхлопнулась. Иерья мадам Тигроватко махнула  
к подножке мотора; не двинулся лорд, перевернутым корпусом;  
глазки открылись, которых и не было; были—

— протыки под череп,

откуда белясо и фосфорно мыслью мигнула материя серого

мозга; и воздух куснул электрический ток, когда—

— Тителев,

скорчась, мадам Тигтросатко за локоть юдсаживал; выоркнул  
юкот; ладонь же осталась повешенной в воздухе; клин бороды  
тянул в вырез мотора, откуда лицо показалось.

И, точно железо к магниту—

— два глаза— в два глаза—

— сверка-

нием произнесли роковой монолог.

И, как хвост скорпиона, расщербом морщина прожала лорду  
базальтовый лоб: и прожалился лоб расколовшийся Тителева—

— потому что—

— потому что—

— он лорда узнал по порт-  
рету.

И кто-то ударил из воздуха— воздухом— в воздух; и спетом  
набился без вскрика разорванный рот; и он— шмыг: за ка-  
литочку.

Лорд—

Ровком Абрагам,

— ставши серым, блиставшим мерзавцем,  
за ним головой прынул в вырез; и в  
спину глазами своими хотел—

изометиться!

Но черный мотор, громко гаркнув, как десять козлов, фыркнул  
вопями; и, тараторя, отпрынул.

И тотчас же прынул— вперед, перемаргивая на заборах расши-  
ренным диском; — фырчит—

— и—

— уносится..

## И ОТВАРГАНИВАЛ ОН

Никанор, отварганивши доброе дело, стыдился, как нищий с  
рукою протянутой; он настоящих монет не стыдился; при Тителеве  
состоял и протягивал руку, в которую Тителев скороговорочным  
бряком совал за монетой монету:

— «Не я-си!»

— «Поручители...»

Брал: с подфыфыком:

— «Добрит кашу маслом!»

Так думая, он засигал к флигелечку; и— в дверь; мимо пе-  
стреньких комнаток перемелькнула рябая фигурка седыми клоками  
лю переплетению синих спиралек с разводом оранжевым; креслица,  
в аленьких лапочках, в белых ромашках, стояли, готовые брата,  
Ивана, принять; Никанор засигал мимо них в неказистый чулан-  
чик; махнул рукавом: брякнул пожик, упав:

— «Будет гость!»

Он ходил, опаленный Терентием Титовичем, точно молнией, — с  
того разговора: субъект, обещающий в рог согнуть... мир!

Так фигура Терентия Титовича над Москвою, из Козьего  
Третьего, выбухнула дымовыми столбиками.

И Никанор раз пятнадцать на дню перерезывал двор, постоянно  
выскакивая (не полиция?) из уважения, смешанного с опасением  
за брата, Ивана, который ведь— будет себе выздоравливать  
здесь!

Он— дурак дураком: как оплеванный ходит: в Ташкенте маль-  
чишки однажды приклеили... к креслу!

Схватил папиросу и в дыме исчез; снял очки; и почувствовал  
веред (лопатою мышцу себе раструдил), повалился в кровать, под-  
скочив на пружине на четверть аршина: кряхтящая кровать; да  
и— детская; сам себе выбрал в конюшне из стирбени: не оказа-  
лось нормальной; ему ж предлагали... двухспальную!

Скрипнул; и— набок; таким завалюгой лежал; подушонку ском-  
чив, подложил себе руку под щеку; и функций мозга справлял  
в подзатыль; разговор Гнидоедова с Психопержицкой поддел:

— «Передать, и— скорее: Терентию Титичу!

Ликвидировали типографию— правда: машина-то где? Если не-  
реносили, он видел бы; нет— ни тюков, ни шрифтов.

— «Она— в воздухе!»

— «Посередине гостиной?»

— «Так-эдак!»

— «На пересечении диагоналей, которое вошел!»

Мардарий Муфлончик, Трекашкин-Щевиль и фкт... Иск...  
проходили в гостиную; в ней.. исчезали! Дверей, кроме той, ко-  
ридорной, в ней нет; и замазаны окна

Она, типография—

— в воздухе?!

Терентий Титич же громко  
хает свинцовыми валиками  
прямо в хор... голосов... бес-  
теческих— из воздух !!

- «Надо бы брата, Ивана, серьезнейше предупредить!»  
Он себе самому пересказывал это: и прыгал кадык; и из этих  
себе самому пересказов —

— опять —

— возникала —

— Леоночка!

## КОШКА ГОРБАТАЯ

Это ж — разрыв окончательный?

И Никанор прыдал задом и ржавой пружиной визжал; и подметкой глядел на растреск потолочный, откуда опять перед ним возникал «этот случай».

— «Чудовищно-с!»

Третьего дня, проходя черным ходом из дома, увидел он: двери наружу — открыты; Леоночка в них подставляет мегелище грудь; ветер снегом охлестывает и рвет юбку; глаза сумасшедшие выскочили в рыв забориков

И пережив это все еще раз, Никанор развизжался пружиною

Как гренадерик в штанах, а не барынька, в снег по колено, она, вздернув юбку — на хворост, через веретенник, бормочущий пусто, царапаясь юбкой эз сучья, — так чч-то: олустил он глаза; все же цапаясь, фыркает и верещит, —

— «Леоночка Леоновна!»

в хворост — и он; но — скатился!

Он же, одною рукою схватившись за зубья забора, — в метеллицу: шейкой и ручкой с платочком.

Он, выкинув руку, подпрыгнул: за юбку стащить.

На него как зафыркает:

— «Бросьте вы, — брысь!»

Рысь, — не дамочка!

Ну — махать: в ветер!

Тогда он — к калитке: да в Кузнев, голову выставит.

И —

с изголовья торماشками — вверх; из постели — на угол; сигнул меж углами; и — рухнул опять, чтобы —

пересклизнуть!

Снявши черные стекла очков, иностранец, брюнет степенный глазами ужасно живыми, ужасно живыми, Леоночке представил

без единого слова из бури об... ужасах, струсившихся, видно, над ним; разлетаясь мехами с плечей упавшей шубы, подставив крахмалы и бронзовый просверж своей бороды, ударяющей буре, — рукою, затянутой черной перчаткой. Он снял свой цилиндр под фонарь, затревоживший с ветром.

И ветер цилиндр, вырывая, — так странно ужасно качал.

Точно гипсовый труп, белизною лица, темнобронзовым сверком пробора вырезывался на заборе; и только живели его живые глаза, точно ввинченные бриллианты — в такие же ввинченные бриллианты, которые из-за забора стреляли в него.

Над забором, как кошка горбатая, в режущем скрежете жолоба, скалясь, готовилась прыгнуть за гвозди забора —

— Леоночка!

Миг, и Леоночки — нет, иностранец же, взмахом цилиндра черпнув бурю, уже тащился сутуло, оскалась в снега.

И тащились по снегу меха.

Фрр —

— и все перестроилось: —

— только морковный, кисельный и

синий процвет, как неясные пятна в потопе, обрушенном на Никанора; стоял: отдышаться не мог, трепачка наддавая зубами; и — перкал; и — перкал, и — перкал.

Из гребней какой-то под ухо:

— «Пардон! Я — Мердон! господин в цилиндре, Мандр...»

«Фррр!» — буря.

Он не расслышал.

Расслышал:

— «Разыскиваю».

И какой-то прохожий:

— «В цилиндре?»

И — выбросил руки в метель:

— «Вон — идет...»

И все странно, ужасно, разъялось в душе Никанора.

И вспыхнула цепь фонарей, а из мороза свежего свернул мотор с перекрестка проглотил свернув в ор и в тень пустых рукавов.

Все же к — «пей»: все ж — впустила.

Ну — вид! Грудь — дощечка дрезжащая; точно раздавлена!

— «Вы-то — при чем?»

— «Леоночка Леоновна, я... Вы напрасно меня пошмасте...»



Так трепанул он  
рукой, что манжетка  
бумажная, вылетев и  
описавши дугу, тара-  
ракнула пол.

А она:

— «Домардэн: пу-  
блицист из Парижа...»

— «И все!»

— «И — не ду-  
майте...»

— «Думайте все,  
что хотите...»

— «Все — вздор»,  
Узкогрудой дур-  
нушкой, захныкала:

— «Жалко его!»

Да и он, Никанор,  
прослезился.

— «Вы — что?»

Он — шарк, бац —  
вверх тормашками: в  
дверь; и — ходил с той  
поры без манжетки.

С тех пор у нее  
разгулялась метелица  
злая в душе; на кого  
опрокидывала раздра-  
жение, того как кусали  
мурашки.

С этого ж дня горячил ее вид Никанора; бедняга присутствием  
и доме гневил; своим носиком пренебрежение оказывала, и пер-  
чатку натягивала, убегая из дому, — с насмешкой; а то начинали  
шарахаться, будто за ней, прощенивши кольцом своим нос, пе-  
гритосом гоняется он.

Раз, напав из теней, защемила: на коже ее коготочки оста-  
лись:

— «Язык за зубами держите!»

— «Эк и...»

затрещала кровать,—

— потому что он видел, —

— с какой осто-  
рожностью взвешивала свое слово пред мужем, и как, подойдя  
к кабинету с опиской, глядела на дверь кабинета; и — мимо на  
цыпочках шла...

На прерыв отношений ответил удвоенной предупредитель-  
ностью.

Тут живи, когда —

— брат,

- брат, Иван,

- Леопора Леоновна,

- Тигелев, —

— каждый врезался; и каж-  
дно врез — перерезали: каждого; так что душа — перерезалась;  
страшно дрезжали разъятые части: в метель из метели...

Да, да, — угоняется смысл, угоняется смысл отношений; и смысла  
истории — рушатся.

Ветер в трубе, точно мучаясь, плачет о том, что уже ничего  
нет святого: последняя ставка!

«Хлоп» — крыша железная; с нею история, как от пинечка Те-  
рентия Титовича — «тарарах!»

«Дзып» защелкало с крыши; он рухнул в сны; допроснуться  
не мог; и — стучало —

— стучало —

— стучало: под дверью!

— «Войдите!»

В открытых дверях — милотица крошка стояла в мехах; и —  
малютила глазками.

Видела: даже предметов не видно: дымыщи заухали.

А из раскрытой дряни раскрытый кто-то, ерошась, пле-  
нительно ей одобрил:

— «Так чч-тò, — милости просим в хоромы мои!»

И — стал взбочень он.

В представлении его Серафима росла, как гигантина.

## ГИГАНТИНА

И шубку сукотиную, Серафима страдальчески цыкнула на него, и оправила платье, какое-то пыльное, круглое: цвет хризантемовый, с искрой златистой; села на стулик; косынку — на плечи:

— «Я шла» — начала; и оправила волосы: русые, с отперком золота, тупясь:

— «Как вы?»

— «Я?»

И за папирсой: глазами показывал, будто личины с мешком настрелял: ее крепко любил, но стыдился: прорезывалось из доверия странное, чорт дерн, чувство: любви, из любви, эдак-так, эдак-так!

— «Я давно замечаю: судьба посылает меня на расхлёб; не завариваю, а — хлебаю; по дням тащу с хряглыми!»

Слушала сосредоточенно: в муфту:

— «Брат — раз! Леонора, Леоновна — два-с!»

Папиросу, вторую:

— «Терентий» — вкурился он Титович три-с!»

В синем дыме исчез.

— «Владиславик — четыре! Пять» — пепел рассыпал, вперясь в чемоданик: с кулак; весом — с фунт!

— «Ну, рабочий там класс: я читал; а тут, под боком, и под бока записавшись, докладывал с торомом, с завизом «шито и крыто шаги принимаю» «они» — и взял папирскую, третьей «к тому, чтобы все ликвидировать: даже Россию закрыть, точно лавочку... Явятся, и — опечатают!»

И облизнул черноватые губы, полоски сухие. Язык за зубами стал перепелкой.

— «Шестое-с!» — исперкался: кровь на платке.

— «Надо ж к доктору» — думала, быстрый задох утая.

Не любила она сердобольничать; жаркое сердце лицо каменило; и точно сердилась: морщинки, сцепясь коготочками, дернулись.

Он свои руки в карманы; и набок головку: такой перепелкою вылетел между углами, рисуя ногой грациозные пт и руки с папирской, с четвертой, винта; и посеял в подол Серафиме хлопочки пепла.

— «Так чч-тò, — все заботишки!»

И принялся за Леоночку снова: «Леоночка» — так ног, Леоночка» эдак ног.

А Серафима в ответ на «Леоночку» только:

(Она человек раздражительный!)

Руки стояли на груди, себе и руки смотрела; все дни и ночь ходило, как море; они переждут, а что будет после? Была Леоночка; бегала даже к Глафире Лафитовой; та ей:

— «Да что вы... Да Тителевы... Не носите с Леоночкой: баба двужильная!»

Вздернула плечики, став некрасивой: лиловые тени пошли под глазами; а лоб стал тяжелый, квадратный; и локти в колени; и ноги расставились.

Шла, чтоб узнать, что для нового дома купить: Никанор ей не раз давал деньги; и знала, что — «тй те левские»; удивлялась: а как же жена? И самой приходилось метаться, забрхия пхифессора: тут — керосинка, а там — помотно: для белья; с Домини Ливовиной они по ночам подшивали его.

И расслышала:

— «Не отложить ли а?»

Что?»

— «С переездом».

И пепел седьмой папирский осыпался.

Два коготочка явились на лобик:

— «С лечебницей конечку: нет — останеся одио!»

И Пэпам недвусмысленно стал их преследовать, мстя за низит Синеваншча: —

— бедный старик: оказался на улице; надо скорее устроить его!

И мучительно позеленела.

## А ВСЕ — ЛИВАНОРА ЛЕВОНОВНА

Тут Никанор спохватился:

— «Да вы... Да садитесь сюда: на постель... Стулик коз: не настулишь на нем».

На кривуш свой упав, он ногой — на колено, любуясь, дыряным носком; вырисовывался на обоях: —

— узорик едва розоватый; а жилищный цветок, — как прыжком пританцовывал в серобелявой неварачности; коврик — оборвыш; столишко — не стол: половина стола раздвижного и драная скатертина; стопочка, а не стакан; и хоромы ж!



Вид — ямы...

И вздрогнула: холодно!

Видно дом — с придурью; видно, что он не домашничал, а — куралесил; сам печку топил; вероятно, — дымил, угорал; и от стужи подрагивал: глядь: а жилетец о трех только пуговках; где же четвертая?

Личиком ласточкой сделалась; крылья косыночки, — справа и слева: малютка и милочка: а волосята — пушились.

— «Давайте-ка я вам жилет подошью!»

И мордашкой, раскругленькой, беленькой, заулыбалась ему; платье щупала:

— «Нет, позабыла иглу».

Грохотнула передняя: шамк угрожающий:

— «Ах, ты, топтыжник: грязьщи принес со двора; полоник-то он — вот!»

И — ковровый платок бабы-Агнии выставился:

— «А вас Ливанора Ливоновна просит: она из окошка увидела вас» — к Серафиме.

А — где Серафима?

Зажиурилась: рот — рот суров: «Что-то непереносное! Снова представилось, как Леонора Леоновна, встретив ее, затицуетея классом рабочим, которого вовсе не знает она.

— «Право, — я уж не знаю...»

— «А что?»

— «Мне лора».

За окошком, под месяцем, из зажужжавших там веретен, прилетали воздушные; прытко белье перемерзшее, с мерзлой веревки срываясь, прыгало. на снеговом помеле снеговая какая то перетрепалась под месяцем.

— «Что же: идем?»

Серафима оправила добренькой ручкою волосы; ясным сонланием лобик разгладила.

Встали.

#### МАРДАРИЙ МУФЛОНЧИК ПОД ПОЛ ПРОВАЛИЛСЯ

На Никанора взглянула: зима, а — осенняя шляпа, калошники рванные и перетертое до серой нитки пальтишко; шарф новенький, пушистый, коричневый: великолепно свевается в снег: настоящие так Тителев, чтобы он принял подарок; носил этот шарф с таким видом, как будто не шарф — омофор архиерейский!

Заборники, кучи: вой сизосеризовый! верх Неперепрева над фонарем серебреет снегурками; как все легко и летуче: в накуре сидели; смотрели, как падала буря; и слушали: безутолочи догромаживали с дальних крыш.

И — безвременна брынь; и — небременна жизнь!

Никанор, став люд кремовым, бледным веночком из листьев морозных, серебряных, блещущих видел Леоночку: встала под свет за окошечком, как в полуобмороке, затерзавши на грудке узорное кружевце: в желтом халатике; глазки, агатики, став золотыми, ингнули своим изумрудистым выблиском; и — их закрыла она: папирску к губам; дымок выпустила: и... и... и...

Не глаза, — две звезды, соблестнулись как солнцем!

И тотчас, нащупавши их, стали звезды, как точки: злые; мельк, мельк.

И — в окне: никого.

Проходя коридором, в гостиную, носом нырнул: и мелькнуло, что здесь, меж стеной, потолком и ковром повисают невидимо ассортименты машин, поднимающих грохоты в хор голосов: бестелесных?

— «Пожалуйте: вас ожидала давно... нам о стольком условиться надо... Привычки профессора, вкусы, чего не хватает...»

Леоночка ласково, очень сердечно, излишне, пожалуй, но сдаленно, вогнуто, с быстрым издрогом стуча каблучками, спешила навстречу:

— «Входите же» — на Никанора.

И красные губы раздвинувши, белые зубы, — не душу, — ему показала.



— «Потом», — к Серафиме «потом» — и икливенько выкрикнула, Серафиму схватив, — «вы же знаете, я ваша чтительница».

А лицо стало дряблѐе, злое, в морщинках, когда Серафиме подвинула кресло она.

Никанор влетел с искоркой; он, из кармана чурбашку достав, к Владиславику юрким скачком; Владиславику взявши в халки, сел на корточки, в воздух подкинул, поймал и поставил: чурбашку показывал —

— хоть бы игрушку купила ему! —

— Поднимаясь, коленкой трещал с видом гордым, достойным, учителя русской словесности. Но, оглядев Леонорочку и Серафиму, он понял, что — лишний; и — в дверь; и — и —

— «ррр» — грохотала гостиная; в полуоткрытую дверь — видел он, — что отдернут ковер, под ковром люк квадратный, в который, рукая, пол, вероятно, проваливался; но он пола не видел; он — видел: усы, скулы, красный махор головы: и — Мардарий Муфлончик — под пол провалился! И тотчас: рука неизвестная хлопнула дверью; и щелкнул запор!

Никанор перед дверью: очками блистал:

— «Эге!»

— «Вот оно что!»

Бестелесные звуки, — имели телесную, эдак-так, почву?

Тут Владиславик, который за ним вылезал, — ему под-ноги; с ожесточением правой рукою мальчишку на левую руку швырнул:

— «Они ж газы там делают?»

— «Шиш, — ишь?»

Сломавшись, ширококостое и искаженное очень лицо бросив пупсику, и обдавая едва обоняемым, луковым духом его, он — представьте — запел: деритоником тоненьким; точно писк крысы; руками качая младенца, как мамка, локтями закидывая и полой пиджакишки взлетая над задом, лопаткой и лысинкой; и засигал коридориком, так отбивая под вой, верещание. белые перья, как пальцы, летали по проводу, по подворотне, по крыше: «Да, — да-с, они, видно, отмачивают вещи очень серьезные; газы... А брат Иван, будет посиживать, пока и пол и квартал, и Москва, и Европа, и мир — не взлетят!

Он, в испуге летая туда и сюда, — ну тетенькать, подкидывать пупсика, строить из пальцев «козу».

Носом — в пол гоголочком, почти мотылочком порхал, боро-

денкой мелькнувши в оконном пролете; в его кулаке оказался платочек: Леонорочки; и, точно хвостик, платочничко вилял:

— «Э, они ди-на-мит-чи-ки?!»

А Владиславик, мстасмый, точно кулак, — в оры! Бабушка Агния дверь распахнула из кухни:

— «Чего ты триндыкаешь? Малый не мячик? Чего ты кидаль его? Ты бы песенку спел, али гукал».

Он, пойманный, перкатъ, схватясь за грудь; не отперкался: даже с постоном рычал, чтобы перш горловой не душил.

— «Я тогддя тебе, топотун, говорю, чтоб ты слухал».

И — дверь отворилась; голос Терентия Титовича:

— «Надо к доктору».

Но Никанор, мимо Агнии, — вот, потому что в дверях разлетившийся Терентий Тителев встал.

Постоял он; и —

— он .. —

## ПРОЛЕТЕЛ В КОРИДОР

Пролетел в коридор, притоптывая, но бесшумно; предметы дрожали, а пятка не шлепала; и он — застопорил, вытянув шею; он видел: —

— из зеркала —

— голубоватое поле стены, туалетик, гребеночки белые, щеточки белые.

На туалетике локтем какая-то — мал-мала меньше, с пезвращеньким личиком, тяжеловатым, в хорошенькой шубке с коричневым мехом; обвисла ушастью шапочкой; муфта огромная, мехом свисая, лежит на коленях; в нее опустила с улыбкою ротик неправильный в тяжеловатом усилки высмыслить; сосредоточенно слушает, лобиком вцелясь в икливенький голос Леонорочки; и сожалеет впереннем в муфту.

И вдруг она тихо зазубила: и растворились черты в нежном цвете лица: как миндаль розоватый!

— «Какая такая?»

Рассыпались звездочками из прищуров глаза.

И — вся быстрость, которую он развивал, улизнули в него, притаились в плечах и в руках, подлетевших к подтяжкам, блистающим яркими пряжками:

— «Экий мленок!»

И—вытянул шею: и—видел Леоночку: ножки поджала она под себя на подушке зеленой, которая—в синих изляпинах карего коврика; ручкой берет цвета тертых каштанов она подпирала, следя за развислым дымком папирсы, который прожужжал в воздухе; другою гладила желтый капотик, по тканям дымок папирски веда.

Но—о чем? Но—про что?

И он выставил ухо: ему, как звоночек, икливенько задребезжал голосок:

— «Я овцою паршивой стою перед вами!»

Опять психопатия?

И незнакомка страдательно переложила с колена на стол руку с муфтой; глаза опустила, качая головкою; складки на лобике сделали «же»; и лицо, став квадратным, казалось старше.

Но чудно пропела грудным своим голосом:

— «Вы, Леонора Леоновна, ходите, как в перепряжке; не к вам эта упряжь: зачем на себя вы клеветаете».

Тут Владиславик, приползший опять, зацепился за юбку Леоночки и перебил своим «ааа» разговор; но Леоночка грубо его оттолкнула: «Да бросьте его: тоже—вот!»—Серафиме, как бы извиняясь за жест; вышел—грубый, не дамочкин: бабьин!

— «Несносный мальчишка. С ним—не оберешься хлопот: он—расстроил живот».

Незнакомка вторично, как арфою,—ей:

— «Иноземцевы капли полезны ему».

— «В социализме родителей нет!»

И скривились губы Терентия Титовича, потому что родителей нет: есть друзья; а—какая тут дружба: игрушку купила бы; «есть» в социализме друзья, а не эдакие гренадерки с личиком, напоминающим—скопчика!

А незнакомка внимала вперенем в муфту лица с таким видом, что совестно ей, что она виновата; и вдруг—аверх головку упастую: виделись только белки закатившихся глаз от разгляда в себе Леонориных слов.

Леоночка, ей с огонечком, звоночком:

— «У нас, в социализме...»

— «Э!»—дернулся Тителев.

И—перекрикнула:

— «Вы, Серафима Сергеевна».

Так вот «она» кто? Их жилища? Такая «дитёныш»? Тверденька: морщиночки, как коготочки, на лбу

А Леоночка ей:

— «К счастью я не знавала пустых этих нежностей: мать умерла у меня; гувернантка моя докучала достаточно все ж половым извращением под формой нежности к детям... Совалась во все... И носила два цвета: фисташковый, серый; ходила с опухшей щекою; и все вслюминала Штурциваге какого-то».

Тителев—глазом—

—топазом,—

—как ярким кинжалом, сквозь шерстную, бразилианскую бороду сердце свое просадил: и—кинжал перевертывал в сердце.

— «Петровка проклятая!»

Топанье пятки отчетливо пол сотрясло.

Леонора Леоновна и Серафима Сергеевна вздрогнули; и Серафима Сергеевна стала испуганной ланью: глаза—в круговерт.

А Леоночкин глаз стал зеленый.

И—видели—

—голубоватый отлив куртки-спенсера из теневого ничто появился; и—брюками дымного цвета шагнул: яр-кокрасный жилет прокричал,—

—и—

—все это утонуло: в тень!

Пролетел мимо них в кабинет, хлопнув дверью.

И слышался шаг: как кузнец, ударяющий молотом в кузне, вышлепывал в синие каймы ковра, их отсчитывая, равномерно и быстро.

Вдруг, вставши, глядел, как слепой, в дикосизные стены своим кадыком волосатым и желтым.

И—в дикое кресло упал.

## С СОБОЙ СПРАВИЛСЯ ОН

С собой справился; и—притоптывая, но не шлепая пяткою, в спальню влетел, став в пороге; и руки подпрыгнули к кубовым ярким подтяжкам; и—смык смышлеватых бровей.

И—

—«Терентий»—

— с прищурами—

—«Тителев!»

— «Ах!»

Точно сжиг на щеке!

С невесомой какою-то поступью, легкой и быстрой,—к нему.

— «Мне приятно...»

И личико стало котеночком.

Добрый, задзакавшим смехом, ее упреждая, и даже как будто конфузая ее, подлетел, щелкнул туфлей, ломаясь под муфту, к руке: отблестать тюбетейкой.

— «Смелехонек»—думала...

— «Точно для виду сробел».

Глазки стала, как искорки:

— «Мы уж знакомы...»

— «Надеюсь...»

И—екнуло:

— «Вот он какой?»

И с задором, как будто к нему приступая, она потопталась на месте, смешная и маленькая, как синичка.

Леоночка ей указала на кресло: с ужимкой, желающей выразить:

— «О, преклоните почтенные ваши седины; вам этот ребяческий вид—не к лицу...»

И—под дым: на подушку.

А Тителев в кресло склонился, рукой захвативши колено, серебряной пряжкой и синим носком проярчев; и от столика свесилась мягко ладонь:

— «Вы ведь переезжаете к нам?»

И невидящую глазу улыбку разгляда, которой она «тмечала разгляд ее жестов, скорее узнал, чем увидел; портной кронт глазом нагасканным:

— «Белочка—вспыхнуло в нем».

И—лукавое, польское что-то явилось в баске, —с перевизгом, как с хвостиком:

— «Видно на воздухе много бываете вы?»

— «Чистый воздух полезен!»—она объяснила.

И розовым лосиком, очень задорным, потупилась, думая: от доброты этой, деланной, веяло бойким напором и стропотством, и чтобы—что-нибудь, как-нибудь:

— «Время у вас отняла?»

— «Квас не дорог: изюминка!»

— «Бросьте»—она перебила.

И—в смехе зазубила; и—отвернулась; и—в муфточку; а цвет лица,—как миндаль розоватый.

— «Здоровье профессора?»

У Леоноры—зачем опасок, а в зубах—дроботок?

— «Благодарствуйте...»

— «Ну, а Глафира?»

И стало смешно, что они друг за другом подглядывают.

В черносерое кресло светлейше вдаваясь, вдруг он сиверко мелким раздробчивым смехом рассыпался.

— «Вкрадчивый»—ёкнуло—«точно подушку подкладывает; а склонись на нее,—оглоушит».

Леоночка задрезжала с подушки.

— «Не нравится ей?»—коготочком царапнулся лоб Серафима; и взявши книжонку, глазами испуганно к Леонорочке:

— «Ибсен?»

С Терентием Титовичем—что такое?

Как солнечный зайчик, он выскочил в голубоватое поле стены; головою—под зеркало, в зеркало бросив глаза жестяные; и тер жестковато сухие ладошки:—

—опять векрофагия: Ибсен, грызение прошлого!..

— «Что это?»

— «Сольнес...»

Он—знает, «кто» Сольнес: «Петровка»!

Леоночка видела:—

— точно рапирой стальною он ткнулся глазами из зеркала; тотчас: мигнула из зеркала ей тюбетейка зеленая — золотцем: перевернулся:—

—невинно и дружески...

— «Ну,—я пошла?»

Серафима пошла с невесомой какою-то поступью, легкой и быстрой, мехастою муфточкой носик укрывши, —к Леоночке, видясь не личиком, а меховою, ушастою шапкой.

— «Я вас провожу»—к ней Леоночка.

Тителев вслед бросил взгляд.

Обернулась; и—

— «Ах»,—

—точно сжиг на щеке!

В двери скрылась.

За-нею Леоночка, явно двояся глазами меж ним и носочками, с вниз наклоненной головкой прошла.

Обе остолбенели в передней: подвязанный фартуком бабушки Агнии, напоминающим белый капотик, прилежно себе улыбаясь в усы, Никанор грациозно водил пологою, огромною щеткой, склонив набок голову, напоминавая седую, морщавую и бородатую... Гретхен.

— «Вы что тут?»—Леоночка.

Он же очковыми стеклами точно трубил Серафиме о том, что его положение здесь трудноватое.

— «Собственно, я—ничего: не мое это дело: так-чч-тò!»

Фартук, сброшенный в юс.

— «Расправляйтесь-ка!»

Вылетел!

Тут Серафима задох подавила.

Мышонком—

—испуганно—

—в двери!

## БЕЖКОМ ПОБЕЖАЛА

И--«ффр»: шелестнула юбчонка...

Ее захватя,—муфту вверх, пред собою, как щит, в куралесицу быстро неслась; и развев золотой волосат в фонаре просиял; а мехастая муфта покрылась звездинками.

— «Вот он какой?»

Громкорогий позвал за забором.

Казалась в сердцах.

Представлялся «Терентием Тителевым», домовитым хозяином; тонкая штука; и—трудная; и—с перемудрами!

Точно в сердцах, когда сердцем юго понимала!

И бурной походкой прошла: от восторга, что все, что ни есть, раскидает навстречу.

Зачем не писала давно Николаше?

И все в ней кипело: сплюснутым состраданием; как ей писать, когда нечего думать о будущем.

И—рот суров; и, как рожки, морщинки; на лбу яркий блеск волосат пырснул бурей:—

—как лебеди, переливаясь в темноты, алмазно взвились из темнот завывающих; точно несется навстречу до ужаса узанный; и—

— решено, суждено!

— «Что?»

Представилось: дома письмо Николаши—из Тòрчиша, с фронта; она разрывает его: он ей пишет, что он возвращается; и предлагает ей—

—руку и сердце?

— «А!»

Жизнь будет трудная; жить с мужиками седыми,—втроем; без мамуси она не жила; не сумеет она!..—

—Вытарашивая свое черное око, прошел черноусый в шинели, при шпаге; и—дама;—белеет боа, как змея; вьет белыми перьями...

— «Нет!»

С Леонорою трудности—будут: она—человек раздражительный то, что сказал на ушко Никанор, ей ломает ось жизни; трагедия—будет.

За сердце схватилась.

И—беглые взгляды; и—руки; она походила на отрока быстро-го, когда бежком побежала в танцующий блеск и хрустела серебряным бархатцем;—

—фррр!—

—в кружевные винты ей блиставшие в непереносное счастье и—в космосы света.—

—подняв свою муфту, как щит на

руке, защищался им от предчувствия.

— «Правда и солнце!»—сказала, в снега принахмурилась.

И грозные космы всклокочились.

Дама в ротонде прошла.

И лицо,—

—как раскал—добела—интеллекта, огромного волей.

Чувств—нет!

Ледоперые стекла, сквозь ясное облако,—пурпурны лампочки;  
пурпурно снежные пятна ложатся на снеге.

Он—мудрый, а все же—больной.

Кто, какой?

Николаша? Профессор? Иль...—кто же?

Профессору—нет: не понравятся стены.

Скорее бы «это»?—

—И «это»—

—скрипучие ботинки: шуба; усы хруста-

лями; огнец,—а не нос.

Снеговые вьюны рассыпались; ясная пляска алмазных стрекот  
и серебряных листьев, ей пырнула в веко: кипела под веком.

— «Так вот он какой?»

Николаша?

Который из двух, или... трех, или...

— «Путаюсь я!»

Из глаз—жар; во рту—скорбь: от узрения всех обстоятельств;  
но в блеск электрический; блеск электрический: блеск золотых  
волосы.

А мехастая муфта,—

—направо.—

—налево,—

—по воздуху!

Свертом, направо: к мамусе!

### СЕРЕБРЯНАЯ ДОМНА ЛЬВОВНА

Быстрехонько, не раздеваясь, в шубчонке, в шляпенке, под  
цветик, под скворушку,—в пестрый диванчик: головкой.

— «Мамуся!»

— «Что, ласанька?»

И небольшого росточку серебряная Домна Львовна зашлепала  
к ней.

— «Нет, мамуся,—скажите: как быть?»

Села, ручки зажав меж коленок, дыханье тая и прислушиваясь,  
как старушка молчала дыханьем: подтянутым ртом и очками.

Головкой ей в грудь: в платье карекофейное, с лапками белыми;  
и подбородком легла на головку малютки старушка, руками ее  
охватив; и прижала к пылавшему сердцу.

И ей Серафима отрывисто: с пылом:

— «Была фельдшерницей...»

— «Стала—сиделкой...»

— «А думала,—докторшей буду!»

Старушка вдавилась в диванчик веселых цветов; и глядели в  
обои: веселого цвета.

— «Дитя мое,—благословляю тебя: труден путь, да велик;  
обо мне и не думай; я—здесь: с Мелитишей моей; Николашу ты  
любишь...»

И—носом дышала; и после молчания:

— «Истина—в этом пути: он—прямей».

И проснувшийся скворчик: «чирик!»

— «Ну, а платят—солиднее: дров прикупить, вам на платье,  
посуду какую...»

Не думала: жизнь отдает без остатка: так все, совершенное ей,  
от нее отпадало, как сладкое яблоко с дерева; пользовалась не она,  
а—другие.

И—нет:—

—не любила она сердобольничать!

Нет же,—

—любила пылать!

И—согласием лобик разгладился:

— «Буду сиделкою!»

Тихо!

Старушка глаза опустила в пестрявенький коврик; блеснули  
очки очень строго; в дыханье—покой; а из глаз—золотистые слезы;  
и бабочка зимняя бархатцем карим порхала под лампою.

Нет!

Уверяла себя, что верна Николаше.

С мамусей прощаясь, мамусе она говорила какие-то трезвости,  
ластясь прищуром на все.

Домна Львовна вязала чулок.

— «То-то будут жалеть на дворе; ты—любимочка ведь у со-  
бачек, мальчишек...»

И—

—знала:—

—у «гулек!»

— «Мелькунья!»

Старушка, качаясь, на кухню пошла, проводив Серафиму; а ложкой махала она Мелитише:

— «Да,—мал малышеньки...».

— «Любуется, барыня,—солнышком, небом, котенком».

— «И самую малость показывает»—Домна Львовна грозила ей ложкой своей—«от великого, что в ней творится!»

— «Уж,—ний!»—Мелитиша отмахивалась—«Ее знаю: слова—пятачки; рассужденья—рубли...»

— «А сердечко—червонец»—ей ложкою в лоб Домна Львовна.

— «Дарит свою милость»;—прихныкивала Мелитиша—«а—как-с? Без огляду!»

И бабочка каряя бархатцем—

—перемелькнула—

— под лампою.

Бурею ринулась в бурю.

В глазах—совершенство; во рту—милость миру; и белые венки на щеке огонь раздували; на муфте—звездинки.

Звездинка лизнула под носиком.

Снежные гущи посыпали пуще; и—нет—не видать; лишь блеснули и сгнули искры из искр—не глаза!

Да серебряной лютней морочила пырь.

## САЛАМАНДРОВЫЙ БАРС

Выключатели шелкали; планиметрические коридоры бледнели; и блеск электрических лампочек злился.

Профессор—

—седатый, усятый, бровастый,  
брадастый,—

—бродил коридорами.

Ждал Серафиму, вздираясь усами на блеск электрических лампочек.

Плечи прижались к ушам: одно выше другого; с лопаткою сросся большой головой; с поясницей—погами; качался лопатками вместе с качаньем лба; серебрел бородою; оглаживал бороду, с черных морщин отрясая блиставшие мысли.

А издали виделась комната: склянки, пробирки, анализы, записки; там—Плечепляткин; студент.

И оттуда дежурная фартучком белым мигнула; и—скрылась. Туда оттопатывал.

Точно давно не имея пристанища, странствовал он, разлетаясь халатом, с которого оранжеватые, белые и терракотово-красные пятна на кубовом и голубом разбросались.

Он думал о том, что открылось ему, как другому, и что, как другому, себе самому пересказывал; глаз разгорался, как дальний костер из-за дыма.

А там—

—из палаты в палату,—

—став в пары, халаты проли,

з предводимые Тер-Препопанцем, врачом,  
ординатором, дядькою, профиль Тигла-  
вата-Палассера долу клонившим.

И—кто-то оттуда шептал; и—показывал:

— «Он—стоголовую, брат, головою мозгует».

— «Губою губернии пишет!»

Он помнил, пропятая носом,—что именно?

— «Каппу, звезду?»—нос, как муха, выюркивал.

— «Математическую,—чорт,—механику?»

Нос уронил в земной пуп: вырастает из центра на точке поверхности!

— «Сколько же было открытий?»

— «Одно?»

— «Или—два?»

Он с отшибленной памятью, паветром схваченный, жил.

— «Или же—нос закатил он в зенит—«наша память не от-  
тиск сознания, а—результат, познавательный-с!»

Нос говорил, как конец с бесконечностью, жары выпыхивая. В бесконечности планиметрических стен саламандрою пестрой на фоне каемочки синей выблищивал.

Вдруг:

— «Поздравляю вас!»

Кто?

Пертопаткин.

— «А что?»

— «Везжаете?»

— «Это еще—в корне взять...»

— «Ах, оставьте пожалуйста: следует, знаете ли, павишам иним показать, извините пожалуйста, нечто под нос; и вы—мужественно показали; от всех—вам спасибо!»

Кондратий Петрович вспотевшими пальцами руку горячую тискал; но кто-то взорал в отдалении:

— «Не скальпируйте меня!»

— «Полюбуйтесь же, что происходит под игом тирана!»

И—нет Пертопаткина: блеск электрических лампочек: шаг—громко щелкает.

.....  
Помнишь не то, что случилось, а то, что—случилось бы; носом, как цветик невидимый, нюхал.

Ресницы прищурил на блеск электрической лампочки; луч золотой, встав в ресницы его, распустил ясный хвост, как павлин; глаз открыл; и—павлин улетел из ресниц.

— «Дело ясное»—он показал себе точку в воздухе памятно то, чего не было.

Целился носом на точку.

— «Воспоминание—с воспламененное в совесть сознания,—повесть!»

И точку взял двумя пальцами; точно пылинку, разглядывал.

— «В корне взять: вспомнить—во всем измениться, чтоб колючую память утратить!»

И точку бросил, закинув нос; точки—не было: перекрещение воображаемых линий она!

На скрещении двух коридоров стоял с разрезалкою, точно с зажженной свечкой, плеснувши полкой, на которой малиновые, темнокарные, синие и терракотовые перегороды, серая износом, всплеснулись, когда перед воображаемой точкою, ставшей профессором, в точке, такой же, всплеснув желтосерым халатом, Хампауэр Иван, с костылей своих свесился:

— Очень жалею я вас, потому что меня—и тут руку с гнилою картошкой, которую грыз, с костыля, в потолок вы лешаетесь!»

Желтую спину подставил; вскомчил седину; костыли гулко тукнули за поворотом.

Профессор же носом, которым кончалось лицо, покачал с сожаленьем; добрело лицо, утопающее в бороде, успокоенно добрело.

серебряной, мягко спадающей в кубовые, в желтокрасные пятна; казался седой саламандрою; крупный, стенающий воздухом, нос защищался усами.

И вдруг, точно барсы, усы полетели прыжками, почуя добычу.

— «Открытие»—вспыхнули щеки огнем, отчего борода побледневшая бросилась в бледную зелень.

— «Открытие—сделано»—барсы, усы, залетали.

— «Открытие—

—«сделано»—

—«иной!»

— «Не одно-с»,—убеждал он себя же скачками своей бороды—«два открытия сделаны мной: Серафима открылась! И—«Каппа», звезда!»

И пошел, торопясь коридором, искать Серафиму—в открытую дверь своей комнаты; из глубины коридора затыкались в пеструю спину—два пальца; слова раздавались о том, что губою губернии пишет, и что—стоголовой башкою мозгует.

Мелькнули халаты пяти ассистентов: за пузом Пэпэша.

## КАК МОРДА РАЗБИТОГО СФИНКСА

Вошел.

И увидел—предметы стояли сплошной перебранкою: стол проливался потоками слез, а не скатертью; кресло закорчило рожу; мурмолка сидела под столиком красною жабой. Профессор боялся восстанья предметов и стен, из которых застенный сумбур нападал; Серафима ему укрощала предметы; казалось: вокруг нее воздух зыблет улыбками; а без нее стол слезился; и кресло гри-масничало.

Серафима—открытие, вышедшее из удара оглоблей, над ним разразившегося, потому что события жизни, которые бьют, как оглоблею,—благодения.

И—залетал разлезалкою: жало воцпил в свое прошлое,—в то, от которого он выздоравливает.

Залетал его нос за концом разрезалки:

— «Да-с, жало вонзил!»

Руку он уронил, распрямился; и—замер:

— «Припомнить,—опомниться, вырваться: с корнем исторгнуть!»

И—руку вознес: как бы с пальмовой ветвью торжественный



ход нытопатывал:

— «Память—восторги живого ума».

Его лоб нарастал, точно снежная шалка; в сплошных мускулистых морщинах ходили огромные, лобные кости, волнуя седины свои; имел вид, как в венке из ковыли.

Тут—свечку увидел; и—вспыхом жегнуло; морщины, скрестясь, как мечи, поднялись; и повисли—угрозою: он пепелил свое прошлое, точно зажженной свечою, бумагу; наткнулся на свечку; поправил ваплату квадратную.

Сел, положив на груди свои руки; покрыл бородою; и —замер; как умер,—от дум:—

— если только—

— не ткнули зажженной свечою его, как во сне, им увиденном?

Страшным отсверком выблиснули сквозь усы его зубы. Видел во сне:—

— из дыр вылезал на него очень тощий, кровавый, седой мексиканец, весь в перьях, с козлиною, узко пропаченною бородою, над которой всосались щеки; и пламенником, размахнувшись в жестокое время—огонь всадил: в глаз!

И—взвизжал.

И—все сделалось красным затопом, расплавившим землю.

— «Слепцы—прозревают, а зрячие—слепнут»—взблеснул он глазом.

Так «Каппа», звезда,—

—спускалась кометою в глаза!

Ослепительный глаз, ослепляющий глаз, но слепой, вобрав блестя, ушел за пределы миров, как комета, взорвавшая орбиту солнца, свернувшая с оси систему вселенной и ставшая даже не точкой, а—местом ее в черной бездне.

Чернела заплатка, как глаз, ставший углем, который, в алмаз переплавленный—

—чиркнул:—

—по жизни!

И жизнь, как стекло, перерезалась: надвое!

Да, эфиопское что-то в лице; голова, точно морда разбитого сфинкса; щека—расколушина; нос—глядит дырами.

Встал,—заходил: в повороте выбрасывал руку—направо и вверх, как весло, и потом опускал, как весло, глубоко, как неслом, ей

загребывая свое прошлое; и на загребе, с подскоком, повертываясь—на прошлое.

Жил прозябанием—в мороке серозеленых обоев; вырывался в поля; старый, серозеленый туман,—как обон,—в полях настигал.

Не улыбка, а отсвет улыбки явился в лице, потому что припомнилось, как—

—в котелке, в черноватой крылатке, под желтою тучей бежит он из серозеленого поля; а кто-то, седой, догоняет: в зеленом, прокрапленном желчью,—его—

—как себя!

Страшным отсверком выблиснули сквозь усы его зубы; и—выблиснуло стародавнее,—то, чего не было в жизни!

Открытие—дома,—в бумагах, рассунутых в томики! Надо спешить в Табачихинский! Надо—скорей, поскорей,—в них изрыться!

И—к двери: в дверях—

—Серафима!

Они как бы замерли, не замечая друг друга; и вдруг—бородою, как облаком, он к ней навстречу вскочил за рукою летевшей, расширив полою, как пестрым павлиньим хвостом.

И—ударил серебряным громом ей в уши:

— Я—сделал открытие!—

— «Вы?»

— «И—забыл!»

Бородою—вразлёт; тормозами—враздран.

— «Скажите мне,—где оно?»

Ноги и руки разъехались; стал буквой «ха»; глаз—с лица; а лицо расширялось в исполненную выражения, провопнявшую плоть:

— «У кого?»

В двери пузом вдавился Пэпэш, передрагивая, точно лошадь, стоняющая оводов, красной кожею:

— «Тише, пожалуйста: здесь—не кофейня-с!»

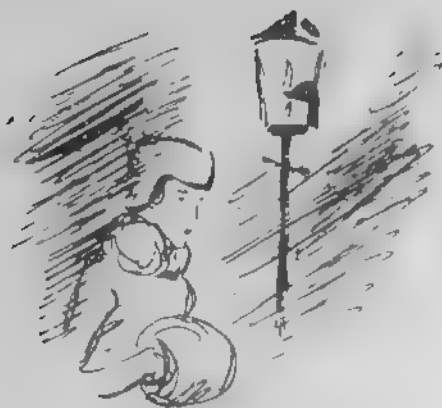
Тогда, отступая, две руки на груди в кулаки зажимая и выбросив голову, мрачной Эриннией, точно щипцами затиснула вдруг Серафима в морщинах тяжелого лобика взгляды Пэпэша.

И—лобиком в бод!

Два шажечка, с притопом, как в танце, — на согнутых твердо коленях; в позицию встав, помотала головкою;—

колаевич прочь ушлепат.

— Николай Ни-



#### ГЛАВА ШЕСТАЯ:

### «ПЫРСНЬ»

#### ЦИТАТЫ

— «Па-па» — Никанора за руку схватил, изловчившись, Тителев.

— Стой-ка—попались: идемте-ка!»

И—в кабинетик: «топ-топ!»

Никанор же, на пуговицы застегнув пиджачок, переюркивал.

Тителев стал над столом; руки фертиком: вметится в мысли какие-то; бросивши их, стал хвататься за дикие пятнами папки; одну он рванул; шлепнул в сизое поле стола, развернул. и — посыпались вырезки.

Все это — хватом.

— «Вырезки из иностранных газет»; — он показывал — «о вашем брате; открытие видна, унюхали рыбу» — он зубы показывал.

— «Это строчат: для французь», что ж, — Яков кивает на Якова... Вот — «Тагеблатт»...<sup>1</sup> На досуге, — потом: дело плевое.

<sup>1</sup> Газета.

— «Вот «Фигаро»<sup>1</sup>; прочитайте» — ткнул пальцем... «Да что вы тут все топошите... Оставьте трепак!»

И пошел синусонды строить ногами, вышлепывая в темносиние кайма, — вперед головой.

Никанор же — прочтет, ужаснется; и — вскочит; и — сядет.

— «Прочли? Ну, — «антанта» старается дело поставить иначе: открытия — нет: почему?»

Замигал Никанор.

— «Трепетница не дошла, — вникните! Да потому, что — расчет на открытие; значит, — прицелились: шуба была бы, вши — будут!.. А прежде писали, что — есть».

Никанору казалось: в мозгу вырезает, — простым сочетанием вырезок.

— «Версия третья» — и новая пачечка.

— «Ну-те?»

Глазами блеснул; и, закинувшись под потолок, похохатывал. Лунные пятна за окнами тускли; кисейно летали снега; голосили, бренчали, качались, курились, клочились.

— «Прочли?.. Эге!.. Вскочил, как чорт из ада, кингалец, Цецерко-Пукнерко, парень-ловчак; он открытие выжал из брата — рабочему классу, ведóмому в бой Гинденбургом; и это-с, конечно с немецкие денежки-с!.. Вот до чего англичане додумались: Энгельс и Маркс полстолетием ранее, выдуманные немецкой армейщиной, для Гинденбурга рождали Либкнехта!.. Да вы трегубительно так не смотрите... Вы — вникните: и ароматы ж!»

Ваусатился:

— «Американцы при помощи Англии хапкают... Мало: им все — недохап... Ну-те, — прежде писали о воре, Мандро».

Топотец Леоноры вдали.

— «О том самом, который... Я вам говорил...»

Никанор, перестегивая пиджачок, стал узехоньким; а топотец приближался.

— «Теперь нет Мандро; англичане не верят-де; вор-то — Цецерко...»

Скрипление цыпочек остановилось у двери.

— «Французы ж молчат на иных основаниях: нащупали; нет-де Пукнерки: две ориентации!»

Вскочил из-за стола; ухо выставил: он многоухий!

Леоночка, с тихой опаской глядевшая в двери, — вошла.

<sup>1</sup> Французская газета.

— «Брось, Леоночка, — брось: не мешай... Негораздо!»

Снял руку с плеча; взгляд сказал:

— «Если ложь, — лги во всю».

И она их оставила: он ей казался опасен: во всякое время; и он ей казался сугубо опасен теперь; а спасителем был в роковые минуты.

И вспомнила первый его на нее рассверкавшийся взгляд; с этим взглядом в «Эстетике» встал перед ней: взгляд опасный!

Конвертец, ей сунутый (от Тигроватки), достала; опять перечла содержание: «Не поминай меня лихом, Лизаша. Я все же — отец».

И прочтя, с горьким плачем записку она растерзала.

Луна рвала, тучи, как фосфором; в голубоватых сутробах — какие-то тени; оранжевый вспых бросил луч; и его перерезала тень; фонаришка маячил далекою звездочкой: знать у забора.

## В ПЕНЗЕ-ТО...

Тителев выпохнул новую пачечку дыма:

— «В российских газетах».

Прислушался к шуму под окнами.

— «Что я сказал? Да; об этом о всем — ии гу-гу, потому что ваш брат — русский подданный; стало быть: дело полиции, дело разведки».

Под окнами — топоты, шурки:

— «Ведите...»

— «Валите...»

— «Идем?»

И наставилось ухо: на окна.

— «Нас держат в прицеле; у них данных нет... Вы оставьте трепак: мы кровавников этих повесим...»

Как стулом придвинулся, как две руки положил пред собою на стол, как сцепившись пальцами, палец о палец зертел, была силаща.

И Никанору мерещилось: стул, на котором сидел — точно выдернут.

— «Правда — из силы растет; оправдание есть волевое начало; оправдывать: взять, да и сделать; немецкое слово «беграйфен».

что значит «усвоить», в первичном значении — «схватывать»; ну-те: собака хватает говядину!»

В окнах сквозной, застонав, гал в заборники.

Падала—

—кондовая, неживая Россия.

«Сивница» Терентия Титовича Никанора сражала без промаха. Но, чтобы вид показать?

Воротник—торчеш; нос—торчок; грудь—колесиком: гордость, величие, пренебрежение!

Дергал словами, как блошками.

— «Чч-тò-с? Мировое значение» — плечи взлетели — «Терентия Тителева — эдак-тáк, эдак-тáк, по «Лаврову» — не так-то уж каменно!»

Тителев встал, подняв трубочку в замуты веркала, чтоб увидеть лопату своей бороды; и увидел растреск потолка.

В кресло сел:

— «Ну-те, что-то вы галиматейное подняли?»

Будто страдал ломотой всех суставов.

Разглядывал, как замурованный, ногу дерущий штиблет Никанор, положив на колено, метал в нос его:

— «Я и сам был народником: резал лягушек... И в Пензе...»

— «Да,—слышал: что в Пензе-то... в Пензе...»

— «Дубинушку пел,—так-чч-тò: Маркс—про одно; «мы» с Иванчиным-Писаревым—про другое,—так чтò!»

— «Вззз»—

—сугробы разматывались, как клубки у забора; и снова наматывались, как клубки: у забора.

И Тителев в бразилианскую бороду глаз уронил: и забрысил ресницами, точно слепой.

— «Неотвязчив, как гвоздь в сапоге!»

И в сизую сизосерую аолотецм он тибетейки на серые руки упал: не лицо,—тибетейка глядела в лицо Никанора, как ма-сочка.

А Никанор—наседал: кто же лучше-то? «Тителев» с Марксом «Коробки» с Лавровым?

— «Я думаю,—чч-тò: оба лучше!»

И так посмотрел из-за стекол очковых, как будто отарытые это Америки испепеляло: чорт с ведьмой! А разве его, Никанорова жизнь не есть форменная революция быта так что? Зад «тягов», брата, Ивана,—обфыркал; Ермолову у Стороженков (лет двадцать назад) едкой критикой встретил? Он, он «ним покажет»!

Не Тителеву—тибетейке, лежавшей на серых руках: видно, Тителев спал; тибетейка слетела: глядела открытая лысинка и закрывала под черепом—лабораторию взрывов.

Решил Никанор очень твердо, что после открытия люка, в который проваливаются «они» и в который Иван, брат, еще, чего доброго свалится, —так—чч-тò: противиться будет тому, чтобы брат—переехал.

А кто-то в окошко царапался: там—тень тулупа.

Терентий же Тителев—значит не спал,—вдруг квадратный спиною взлетел, вырезаясь из синего кресла, как серенький зайчик; глазами, как шилом хватил:

— «Сила—сила!»

Защелкало: свистнуло; с двора на перламутровоснежном коне пролетел в переулочек невидимый воздух.

И—резкий звонок.

И—ввалились рабочие с грохотом, с кашлем: в переднюю; Тителев мячиком—к ним, разлетаясь рукою, прощелкавшей в ираке передней:

— «Здорово, товарищ Жерозов, здорово Трещец: ну,—и как? Боевая дружина?»

— «Как видно»—басило.

— «Запомните: синяя тряпка —валите; а желтая тряпка—ни-ни!»

— «Есть»—басило.

— «Товарищ Торборзов?»

— «На улице: у ледника стражу держит».

— «Так вы позовите...»

Ушли

## ХИМИЯКЛИЧ

— «Ребята славнецкие: с ними легко; дай упор,—мы вселенную с оси свернем»—дроботнули два пальца.

— «Упор этот дан!»

Припечатал к столу кулаком:

— «Мировую войной... Погодите, что будет; что есть уже!»

Бросило в дрожь пред безумием этого лысенького господничка; и Никанор посмотрел на него, будто полинезиец трепещущий на фетиша; так бы вот и орнуть на него:

— «Куда? Стойте! Себя, свою партию, класс, да и нас—Серафиму Сергеевну, брата, Ивана, —свергаете в бездну!»

А тот лишь стальными глазами блеснул:  
— «Независимого положения — нет: быть не может; эге: либо с нами, — вполне-с; либо — против: с мерзавцами; там — диктатура; и здесь — диктатура».

Влёр руки в карманы; и сдвигом морщины решение брата, Ивана, оставить в лечебнице—стер в порошок.

Запыркало: снежный, сквозной, извизжался отряд кавалерии, снегом пропырснувшей на переулочек.

— «Я—подставное лицо»;—подбирал свои вырезки Тителев в  
дику пятнами лапку—«сигайте с Иванчиным-Писаревым, точно с  
торбою расписанной—по деревням: лыком шить по парче... Толь  
ко...»—

—пальцем настукивал—

— «Брат с поручителем встретится» — па-  
«у меня-с!»

И—товарищ Торборзов вошел; сталь—не мускулы; серый гранит—не лицо; Никанор его сразу узнал: тот рабочий, который на двореике Психопержицкой прислушивался, как ругали их; значит—подосланный...—«нашими» чуть не сказал он себе!

— «Коли ночью сегодня, товарищ Торборзов» — осканился Тителев — «что, то — ракетой дерну вам: с крыш... Валите тогда через Психопержицкую: в сломпы; сталелитейщикам роздано?»

— «Роздано: в двадцать минут душ пятнадцать при бомбах слетится...»

— «Не думаю, чтобы сегодня, а все же: чуть что,—так? Торборзов,—как не-было.

Тягелев, локти расставив, схватясь за подмышки, откинулся, переблеснул лобтейкой; и, выставив красный жилетец, зевнул в дикосизые стены, оглядывая Никанора, решавшего смутный вопрос, все недели тревоживший:

— «Кто ж поручитель? Цецерко-Пукнерко?... В сущности, — новый полон?»

Над окурком тиранничал: рвал и разбрасывал. Тителев, пряча портфель, портфель показал:

— «Тут бумажки, которые ну-те, щипали из томиков вы в Табачихинском... Целы... Коллекция... Вам—не отдам; брату ценный подарок,—не вам».

В каждой хватке—орудие, в поте лица передуманное — «Ну, а я»—Никанор: и там же, там же, там же.

— «Ну, а я» — Никанор; и пошел.

Ему Тителев — вслед:

— «Вы—окурки, окурки-то: вы их берегите-ка: торжище...» — он показал на рассор. — «Да вам, может, монет?»  
Никанор, разъяренный, — взавертъ:

— «Как видите: сыт я по горло; обут и одет» — руку сунув в жилетный карман, перебреничивал, точно полтинниками, пятаками своими.

— «И то: у меня куры тут» — перебреничивал он — «не клюют...»  
В коридор.

— «Ну,—как знаете!»

Тителев точно ломотой суставов страдал: простонал, потому что сквозь вой снеговой он расслышал, как—в стены бросается белое поле, дверями шарахая, точно оттяпывая толстой пяткою: вот «он» войдет, колыхаяся зобом—сереброволосый, под бременем болей заохавший.

«Он» —

—Химияклич—

— старик!

И сжимая в грудях кулаки, он попросит опять, как просил уже (громким, грудным человеческим голосом), чтобы открытие взять от профессора,—ясным профессору сделавши: долг его силе открытия делу рабочего класса отдать; это дело Терентиев, убегая в Лозанну, «старик», как ребенка, в колени сложил.

Если бы только «старик» догадался, — открытие уже в руках! Почему утаил перед партией?

Интеллигент с сантиментами—

—Терентий Тителев!

## Если старик догадается?

И—из бессмыслиц, качающих все, что ни есть под окном, чтобы все, что ни есть, разорвать,—человеческий голос:

— «И ты» — меня бросил?»

— «И ты» — отступился, товарищ, друг, брат!»

Если он, даже он зашатался, так—что же Леоночка!

«Бац» — крыша —

—“Бау!”

## И ЛЕОНОЧКА

В двери — Леоночка!

Видела профиль его удлинённый и волчий: прижатые к узкому

черепу уши; и нежною жалостью все передернулось в ней: он — овца в волчьей шкуре, которая травит... волков!

И, подкравшись, погладила:

— «Брось ты, — Лизаша!»

Но — знала: «овца» разнесет все препоны; ее разнесет, коли что!

— «Ты бы лучше постукала мне!»

Узкогрудой дурнушкою, бровки сомкнув, села; целилась в текст; презротноул «Ундервуд»; перещелкивали, как зубными коронками клавиши; буквы плясали в присядку.

И вдруг перестала: не слышался щелк.

Как вода рвет плотину и сполст стога с берегов, так несся она в прошлое; под неосыпные свисты; там пырсню отсвистнулся Кознев Третий, как зпавес сорванный, из-под которого старая драма, — в который раз — пусто разыгрывалась; перед ней промелькнули —

— Анкашин Иван,

— Кавалеввер,

— Мадам Эвихкайтен!

Терентий же Титович, лежа на старом диване, насккивал лбом — не глазами, закрытыми книгой, которую, лежа, проглядывал он; он ей — «муж».

Приподнялся на локте с дивана потертого:

— «Что ж ты не пишешь?»

Да как ей писать?

«Ой», «отец» — невидимкою!

Мрак, одев фраз, из угла выступает двумя черными бровями, а не заостренным бронзовым черчем теперешней, перекинувшись своей бороды, но все с тем же цилиндром; его громкий голос, — родной, — как густой фисгармониум.

Он в ней живет темпераментом негрским: она ж негритянка!

— «Опять все напутала?»

И над машинкою, — клоч бороды, желтой, шерсткой: не бронзовой!

— «Нет, я уж сам!»

## НЕГРИТЯНСКИЕ ПОЛЧИЩА

Двери остались открытыми; видела: Терентий Титович в тусклом свете стоял — руки в боки, вперясь бородою в колап

«Ундервуд»; снял, сел; чистил клавиатуру; нацелился в текст; двумя пальцами задроботал.

Завернулась она от него занавесочкой черной; сугробы острелились серебряно в голубоватом растворе; и — думалось неопиcуемый ужас прошелся меж ней и отцом — вот уж два с половиною года.

Из ротика — быстрый дымок; окно желтое из кабинета стреляло квадратами света; и крест проморчил в снега за окном; но в кресте теновом — вдруг очком встарантил... Никанор: точно сыщик!

Язык показала в окно; и — упала на черное кресло, чтоб желтым жасным пятном вырезаться с него:

— «Знать преступник: отец, — до рожденья!»

Упала: но пав, раскосматясь, вскочила; и — бегала в желтом хлататике с крапами, в воздух стреляя дымками.

В открытых дверях кабинетки лихо могучие плечи упорились, жестко усы подымались; трещал «ундервуд»: —

тах-тах-ах!

Пусть отец, изживающий высшие чувства свои детородными органами, каторжанин! Пусть он grimpsрует рожен, надетой на духе мятущемся, — пусть! И на ней его маска: распухшие губы!

Преступны и он, и она — до рождения, — в мире, преступном еще — до творения!

Агния, злая, беззубая, сунулась в дверь перевязанным ртом:

— «Самоварчик-то — вздуть?»

— «Как вот это морщавое тело, душа у меня!»

Верещало: за окнами.

И полосатою шапочкой цвета протертых каштанов и желтым капотом в подушку зеленую коврика карего с крестница черного грохнулась.

Из-за окна бирюзовым прорыв, скляясь желтою тенью и черною телью, — сквозь серые, блесные, бирюзоватые и серебристые прорывны фосфорами улепetyвал, сляся с осн сорваться, как дошты с оглоблей.

И вдруг: —

— как рукой теневой, по головке поглазито облако черное —

скрылась луна.

Ей казалось, что это погладила черная тень деревянного негра, того, под которым валялась на шкуре малайского тигра она. Ночь смыкала свои негритянские полчища.

## БРАТЕЦ, СЫН?

Червёный котик, с подушки ей руку царапал:

— «Брысь, брысь!»

И ногой оттолкнув Владиславу, стрелками глазок нацелилась, приложив тот самый (увидела перед «тем самым») свой сон,—

— как явился чернявый мальчишка во сне; он с кривою улыбкою (и Владислава, когда остаются вдвоем, улыбается так) — ей протягивал ножик: «Ножом ты его». Показалось: «Ножом ты — отца»; оказалось: «Ножом ты — меня!»

Еще вспомнилось: видели ж лужицу крови пред дверью отцовской квартиры; и видели, как незадолго до этого сел черномыш мальчишка пред дверью.

Расслышалось, как, прилетевши к окну, Вулеву с Мердичевичем, с Викторчиком, с Эвхикейтен,—

— «Ссс... Слушайте!»

— «Ссс... ссс... ужасно!»

— «Сс... С ней!»

— «Ссс—ссс!»

Снег!

Так во сне приходил до рождения к ней Владислава с ножом, чтоб... его она... этим ножом, если он в ней посмеет зачатся; им в ней преступление оформилось; так из нее он вломился насильно из бреда кровей—в эти комнаты; он не рожденец, а—взломщик; и ей с ним конфузливо вдвоем: может,—вырастет сереброгогий такой же; и—

— кто же он ей? —

— Сын... по матери!

— Брат... по отцу!

Уронив подбородок на пальчики, с ненавистью на мальчишку глядела, своим животом растирая ковер и бодаясь ногами, растаптанная, точно кошка, которая кинется—вот: расцарапать мышонка!

А он, точно старец, с карачек косился, ее урезонивая:

— «Успокойтесь, пожалуйста: вы,—как вас звать-то,—мамаша, сестрица?»

И—в двери сигнул Никанор.

— «Леонора Леоновна,—так что!.. Я вижу... Я... я... Вы—меня... Происходит недоразумение: я—объясниться пришел.

Но увидев, что—кинется, прып от нее, защищаясь ладонями и закрывая собой Владиславу:

— «Нет, нет... Не буду... Я, собственно, даже совсем не в этом...»

Вдруг:

— «Отдайте мне—эдак-так»—и к Владиславу—«шйшника» я ведь могу его взять к себе; вам все же—некогда; и—эдак-так—и наставник; так-что: на бульвар поведу; и—там всякое... Я...»

А она с живота,—к финтифлюшкам, катачиком ноги, спиной к Никанору:

— «Вы... вы... вы ведете себя, как мой враг; и вы—враг-враг-враг!»

Затрепетал подбородком и штаниками:

— «Леонора Леоновна,—я ли ваш враг?»

А фальцет «Ундервуда», который надзекивал громко, всхрапнув, оборвался; и—клин бороды над ним выставился.

— «Вы с добрыднями вашими вертитесь между ногами: мешаете мне добродетелями, дон-кихотствами!»

— «Вы что же выдумали?» — с перефырками он—«Доброделен?... Я?!»

Быстрым корпусом бросился к ней—на ариин:

— «Я же... Я непорядочность сделал—такую, что вам и не снилось!»

Гримасу состроивши, подал ладонью: с бородки—под носик:

«Терпеть не могу добродетели»—взвизгнул, как будто, накрыв ее в добром поступке, летел, размахнувшись, на дверь, чтоб... прирезать за дверью кого-нибудь.

Уже за дверью свирепю он выбросил в сумерок:

— «Делай добро, брат,—не бойся!»

И воздух резнул этот всхлип; и простроились светом стены; прорыв бирюзовый явился из туч.

Черным ходом,—к себе, бормоча.

Бормотал пусто воздух.

## РАСТАПТЫВАЛ ЖИЗНЬ

И она, как во сне, подборматывала.

Разрезальный свой ножик схватив,—скок-скок-скок: от подушечки, на Владиславу, как лягушонка: на короточках!

С визгом икливеньким—ну Владиславику, воздух зубами покусывая,—перекатывать и перешлепывать; и—закаталась с ним вместе.

— «Давай...»

— «А?»

— «Не хочешь?»

Он—в рёвы.

Рукою с ножом захватясь за юбочку, как в танце, ее распустив, приподняв до колен, а другою скруглив над беретиком,—тонкими, худенькими, как у цапли, ногами, скруглив их, острея носочками туфель с помпонами—

—вокруг мальчонка—

— галопиком:  
дохленьким!

Тителев—в двери!

Он затылок в загривок затиснул, а бразилианскую бороду выбросил под потолок; как корсетом затянутый,—вышел.

А руки—по швам: на нее!

Отлетела: затылочком—в стену, а ручку, которая с ножиком,—за спину; глазки задергались; и забагрилось то самое пятнышко: вспыхом скулы!

— «Ты—чего?»

— «Я играла с ребенком!»

К ней, выкинув ногу,—ей в нос: бороною; а руки свои—в кулаки, зажимаемые на груди.

Продрожал,—не сказал:

— «Так нельзя!»

Она—руки к лицу; и—захныкала в угол: как будто в том месте, где шлепают маленьких,—шлепнули.

Он, подхвативши, младенца понес в кабинетик.

.....

И слышались топоты:—

—Терентий Тителев с хмурым лицом в пляс пустился, стараясь растоптать младенческий плач; но он будто за-тапывал жизнь.

И—растопывал ветер железную крышу.

И ВЬЮТСЯ, И ВЬЮТСЯ...

Четвертый уж день, как визгливые нежити, руки взвивая из улиц, безглаво неслись; и, как нежити, призраки серых прохожих: морочили.

Там, где над тумбою заколовертило, синий околыш с бородкой, тороченной снегом,—по грудь отмилькал; николаевку ветер трепал напрохват; перебором трезвилили шпоры; и тятинула, лед оцарапавши, сабля.

И голос,—простуженный, лающий,—тятиул.

— «На мерзости мерзости едут!»

Околышем красным проткнулось другое лицо:

— «Успокойтесь!»

— «Я—с кем? С негодем, которого бьют? Или я—с негодем, который бьет? Все перепуталось!»

Кипнем кипит, дрожит, дышит, визжит, извивается; и—угочается; выскочил карий карниз, от которого ломкий хрусталь ледорогих сосулек повесился с низкого и черносерого неба, где галка летела: к трубе.

Пшевжепанский под треск снеголома бежал; вон рукав, раздуваемый в ветер крылом от шинели, которую в бурю с плеча развернул Сослепецкий, худой, точно шест.

«Что,—сюрпризами встретила Ставка?—дразнился пан Ян Дураков генералы ломают?»

— «Сумели запутать: и—тут! Знать, не знают, что, собственно, есть Домардэн...»

— «А вы знаете?»

— «Я?»

И тут город, как в облаке всплыл.

Пшевжепанский руками разъехался—в бурю:

— Допустим же, что Домардэн есть германский шпион».

— «Коли так?»

— Он—судим».

Сослепецкий ускорил свой шаг:

— «Оказался же—американским шпионом».

— «И это вам все перепутывает?»

Ветер сваливал.

— «Все же уверенность—есть».

«Вопрос совести: недоказуемый...»

Молодецватый кварталный, хрустя, канул в дым.



— «Мерзость—в чем»:—Сослепецкий в метель руку бросил, отдернув меха на плечо и царапаясь саблей о лед—«они думают, что похищение открытия Соединенными штатами вовсе не кража, а...»

Черная кошка,—у ног, хвост задрал.

— «А услуга России?»

— «Откуда вы?»

— «Ну, Сухомлинов,—судим, или нет?»

— «Он—судим!»

— «Если так, то и кража бумаг у него есть услуга—Антанты Антанте».

И выскочила крыша синего домика.

— «Лгут же—все, все...»—сипел носом в меха Сослепецкий — «Мандро—Домардэн: устатовлено, что выжег глаз, изнасиловал дочь, крал бумаги...—они сомневались!»

— «Состав преступления в воздухе!»

Где-то ворона откаркала из руконогов, друг в друге ныряющих:

— «Ясно».

— «А в руки взять—нечего, как вет. . метель; крутит, вертит, а—воздух пустой».

Дверь шарахалась: стены ампирные белую каску показывали.

— «Протопопов, царица, Распутин, Хвостов, Домардэны!» плясал под шинельным крылом, как в навозе воробушек, пан капитан.

— «Тоже птица: ломает Савелья с похмелья» проржало.

— «С ним синий холера прошел».

Над забором вскочила папаха седая:

— «Кинуться сзади, да шашки из ножен; да —раз: людорезы они!»

— «Разом двух истребителей пустим на дно» —гоготало.

И кто-то орал из-за снега:

— «Дома, братец, —в слом: до костей; с костей мясо-то слаще: режь, ешь!»

Сослепецкий, шинель распахнувши, по воздуху лайковым, белым своим кулаком саданул:

— «Миллион чертей в рожу!»

Взмахнув рукавами, крылами, мехами, шинель подскочила с плечей, как медведь, собиравшийся лапнуть; и рухнула, в снег:

— «Истребить!»

Пшевжепанский набросил шинель, как ротонду на дамские плечи.

— «Тсс!»

Бросились.

— «Стой, миляк,—стой»—проститутка за ними малиновоперая. Нет—никого!

— «Они метят в Цецерку-Пукнерку: этот—фанатик, с идеями... Нет,—я из принципа действовать буду, скрывая его псевдоним».

— «И не стоит Цецерку ловить».

— «Хуже: метят в профессора!»

— «А Домардэна, по-моему, просто отправить!»

— «Позвольте»,—два лаковых пальца снега рубанули—«в Мельбури Домардэн не поедет: мы в Ставку притащим его,—в запакнованном ящике: да-с!»

Сослепецкий неистовствовал.

— «Вы хотите дичину напырить на вертел? Не стоит... А знаете что? Ровоам Абрагам—здесь, в Москве, в таком именно смысле хлопчет: но только: он—за Домардэна; он хочет напырить на вертел профессора вместе с Цецеркой-Пукнеркой».

— «Гадины!»

И Сослепецкий взлетел кулаками в метель из шинели распахнутой.

Место, где шли они,—стало: танцующий снег: вон-вон—синие линии—

—выются и крутятся!

## ТОЧНО ИЗ ПАРА МОЛОЧНОГО

Каменным шлемом является белая статуя; дикая дева, над башенным выступом в небе.

Сиреневый колер сквозит; и сиреневый выступ балкона, подпертый колонной, как вздох, вылетает из роя снежинок—

— и—

— стол—

бик снежинок над фризом винтит.

Выше, в выси—зачесы, как в облаке, пырсают блеском на гривистом гребне.

И—резко рога верещат.

Как из пара молочного,—

призраки дальних.

квадратов—

—и белых, и желтых, и  
кремовых—

—в слезы ударились окнами!

Кубовый куб бремениет; и—крест колокольни, сквозной, вы-  
резной—бриллиантами—

—плачет: из воздуха.

Выше,—

—из воздуха,—

—круглые и розоватые башенки, синезеленая  
рябь черепицы и нежные вырезы ясных домовых квадратов; и—  
перст колокольни худой, как наперстницей, блещет; морковного  
цвета дворец; полуэллипсис красный Суда; и—корона на нем, как  
на блюде серебряном.

В небе стоит это все!

Прямо, рядом: на розовом выступе—стая, как сахарных, белых  
колонн; и—воздушная арка ворот бледнорозовых,—в веющем,—  
в белом!

И—львиные лапы; и—львиные морды...

Подъезд, где какая-то дамочка в серой рогонде звонится; и  
кто-то над нею глядит из окошка—

—в серебряной блесни  
мороза—

—на мельк миомлет-  
ных саней; и—на  
мельк миомлетных  
прохожих.

Отчетливо, тихо и ясно.

То—миг!

## СЕРЕБРЁИ, ВЬЮНКИ

Серебрёи зареали: засеребрёили; заверещали из скважин забора...

И—

—арка ворот бледнорозовых смыта метелью лилией, в воз-  
духе взвеванной.

Нет никакого окна; нет колонн; безоконный брандмауэр при-  
шел; и глумится своей вышиной.

И вывизгивает, и вывистывает.

И—

—сиреневый выступ стены,  
серебря, бледнеет: свезается—

—в оры и в дёры пустых  
рукавов.

И сквозной синусондой серые, синие  
линии—

—вьются и крутятся—

—в месте далеких домовых квадратов.

И—«дзаш»!

Лишь—

—орел золотой над кремлевскою башней, да каменный  
шлем бледной статуи—

—в небе—

—намечены: еле!

Чугунная, семиэтажная лестница торчем поставлена в небо:  
без стен; чернокрылый каркун машет крыльями; и—треугольником  
врезался угол трезвонящей крыши с обрывистым жолобом.

Странно моргает метель теньвыми, домовыми окнами; и овно-  
рогая морда бросается в бурю—

—с оливковотемного

фриза—

—на—

—шапку мехастую с синей подушечкой  
и на усы оголтелого кучера,—

—странно

летающие: в воздухе!

Саночек—нет; коней—нет.

Людей—нет.

Белоснежный, гигантский клубок зараспутничал от горбосвер-  
та, рукав занеся над давиною крышей; вороны летели сквозь белую  
руку его; и прохожий согнулся под ней в три погибели, голову  
пряча под руки.

И—ррр:—

—батареями грохнуло в рожу распутищу!

И сквозь летящую бороду, рот разорвавшую, желтым и жест-  
ким закатом оскалилась даль.

Передергиваясь над забором, качаются призраки розоворыжими  
космами; снег, как стекло, дребезжит, разбиваясь свистом, как  
взвизги разбитых дивизий под Минском и Пинском.

И красною гривою врезалось в серолиловые линии поля и в синелунцовые линии леса—под ясною тучею, над—

—странно безгла-  
вой—

— Россией!

## И ТРУПЫ ПОВЫЛЕЗЛИ

Ночь.

Под вагонным окном генерал Булдуков ткнул в бумаги навис-  
лину носа, мотаяся черною лентой пенсне и седыми разгрызанными  
перетрепанным бак; пенсне—падало; и—не пишу перо.

Тихо тикали часики; жаром и паром душило; и в желтую лы-  
сину блеск электрической лампочки был.

Генерал Булдуков, перо бросив, похлопывая по серебряным  
пуговицам,—разогнулся; и, вставши, процокал кровавым лампасом,  
имея малиновым фоном вагонный ковер; шаг не слышался; выставив  
свой эполет, оглядев эксельбант и поправив орла, серебрищегося  
на груди, генерал в Сослепецкого, ставшего—руки по швам, по-  
дрожал неживыми глазами мешками:

— «Садитесь, пожалуйста!»

И на окно подышавши, к глазочку приставился; мимо окошка  
свистели сквозные; воздух за воздухом<sup>1</sup> раскидывал в воздух руки  
без руки; на путях, точно звездочки,—стрелки; стреляла игла  
семафора вдали.

Генерал сел с прикряхтом, клокастою бакою—в дым:

— «Тэк-с!»

И пальцами по серебру портсигара побрякал:

— «Так вы на своем еще? Что-с? Все же Кьерку—ищут».

Дрожали мешки под глазами;

— «Как вы говорите, его псевдоним вам известен?»—на па-  
лец пенсне насадил.

— «Точно так!»

— «Вы же—влил с передрогом в стакан из бутылки бургунд-  
ского—«не соглашаетесь»—тыкнул стаканом—«его псевдоним огла-  
сить? Ну... За ваше-с»,—он выпил.

И ижицу сделал лицом.

— «Ваше превосходительство,—наше ли дело?»

— «А Англия—что говорит?»

Ухо выставил:

<sup>1</sup> «Воздух» — погребальная рубашка.

— «Американцы—и те...»

Сослепецкий вскочил:

— «Ваше превосходительство, и Протопопов так скажет».

И тут генерал со стенаньем, в котором сказались усталость  
и долгий запой,—трепетавшими пальцами к лысине:

— «Знаю-с: не спрашиваю-с!»

И—кровавыми жилками сизого носа—в бумаги:

— «Политика Франции в сем деликатном вопросе—никая со-  
всем...»

С хитрецою:

— «С французами, стало быть?...»

Битыми окнами дернулся поезд; из поезда грохали.

А генерал—рассердился:

— «Меня не запутайте!» цокнул он ножкою в красном лам-  
пасе; заперкал, бутылку схватил; и в окошко ей тыкался:

— «Армия-с!»

Бросили светами мимолетящие окна; и поезд—который бро-  
саясь, на фронт: прочесал; и—мигали спокойные стрелки.

Бумажкою серенькой,—в нос Сослепецкому:

— «Вот-с...—телеграмма. На фронте—бубукают. рвака пошла».

Телеграммою—в стол:

— «Лопанули Россию—да так-с, что кишки ее вылезли; фронт  
стал—паршивое логово вшей.. В полночь тронемся А-с?... Англи-  
чанин погнался поездами... Бишкекс себе жарит.. Которая катит  
дивизия... Кто и вернется,—так...»

Налил бургундского.

— «Лютым-лютешенька жизнь... Ну-с. а—я-с...»—лбом в бумзги;  
а пальцем—в ладонь:

— «Знать не знаю-с!»

Пристукнул; и—побагровел.

— «Разговора такого и не было... Что-с?»

— «Точно так-с!»

Сослепецкий вскочил—кругом марш:—

— «Дз а н»

—и ткнулся в про-

щелк мальчугана, отдавшего честь.

— «Генерал Бидер-Пудер!»

— «Просите!»

И тотчас же

тихим чирканьем шпор замелили куриные  
ножки лампасами красными: кокала косточка, а



не безусый, безбрадый, безвласенький труп —  
помесь карлы, шута и Кошея, — со слабой  
улыбкою, с кожей серебряной, как от проказы.

Лицо — проострение бирюзовато-зеленого носа с оранжевой,  
страшной ноздрей; и, как белые вошки, слезливые дырочки в недрах  
глазниц; ручки, серосеребряные, быстро бились из воздуха.

Голосом, слабеньким, как музыкальная и задилнькавшая таба-  
керка, он силился выразить:

— «Нэ... вэ... мэ... квэ!»

Вероятно:

— «Ну вот, — я и к вам!»

Только белый Георгий, как впаянный в грудь, безобразие это  
оспаривал.

В нос Сослепецкому бросилась помесь из запахов: тлена с ва-  
нилью; он — в ночь: из вагона.

— «Кто это?»

— «Командующий пятой армией: новоназначенный!»

— «А из каких нафталинов «они» его выпули?»

— «Право не знаю».

— «Чем славен он?»

— «При барабане стоял, на котором сидел князь Барятинский,  
при полонении Шамиля...»

— «И все?»

— «Нет, — еще: этот старец ночами мазурку с собою самим в  
пустой зале все тпаает — для поддержания бодрости... Вы предста-  
вляете: очаровательно!»

— «Трупы из гроба повылезли — к Константинополю маршем по-  
беды вести: конец — близок!»

И —

— в ночь!

## МИЛЛИОНЫ

И стоны, и дзаны сливались в плач паровоза; и песни звенели  
из воздуха; видел: покойники носятся, белые пляшут, — безруко,  
серебряно.

Разорвались: —

— заборик — враздрэй; под забориком — жалобы:

— «Тут тебе уши отмерзнут...»

— «Отвалются пальцы...»

— «Кампанию делаем».

— «Будет мамзель тебя: «Воин увечный». Да — «наши», да...»

— «Уж пуюмо бы резали».

Вон горюдьба, занесенная снегом; снега разгребные, миганцы домишек, бугор за путями; с бугра же — качается — маловетвистое дерево.

Сноп: поворот колес красных; платформа облещенная: разодранство мешков, серых лиц, сероватых шинелей с желточными пятнами; никнут папашники вшивые; шелест неслышимый:

— «Ишь!..»

— «Знать, не битый».

— «Серебряный глист!»

— «Самоправ: с чорта вырос».

И кто-то на локте с мешка поднялся; и к кому-то; кто сидя, кто лежа на брюхе, кто — в полуразвалку пристроился; давами глаз разгорелись на щеголевато одетого, в мех запахнувшего офицера: — сплошной кривосуд поднимался от этих к нему приосававшихся глаз!

— «По ватылку его: ты за доброе дело стоишь».

— «Уж там про себя».

— «Что же, битому псу только плеть покажи; он скряхтит... Говори, братцы, смело: терять уже нечего...»

— «Два кулака под бока».

— «А то сел: «До победных проливцев!»

— «Из пушки им выстрелить в этот победный проливец!»

Не евший годами, засохнувший клоп, ставший шкуркой, когда из матраса кусаться бежит, то — брр — жутко!

А тут — не клопы: миллионов семнадцать парней, детей, дядей!

Он прочь — в бледный воздух.

С далеких путей дергал поезд отгуда, где злою щетиной штыков лихошерстый простор опоясался, где —

— за воздухом безрукий воздух, рукава раскидавши, Россию оплакивал.

«КХХ-ПФ-ПФ!»

Желтой, короткою юбкой вильнула мадам Тигроватко, поставив на пufик икрастую ногу:

— «Родная моя, — я о вшем отце: переносят не это еще...»

Подбородок — на палец; а носом — к Леоночке; на леопардовом фоне головка Леоночки, виделась старой шапчонкой, которую мех горностаевый, дракный, белил.

— «Ну и вышлют, — неважно» — мадам Тигроватко разглядывала горностаевый мех: подбородок на палец; и носом — к Леоночке:

— «Нет ничего тут ужасного; он переедет!»

Трепала по щечке:

— «Фэ рьэні!»<sup>1</sup>

У Леоночки вспыхнули глазки.

В гостиной, завешенной серооранжевой шторой, лопнуло:

— «Две орьентации!»

— «Нашим друзьям из рззедки нет дела до ваших друзей; ну и муж... нелегальный, — эк невидаль? Ищут шпионов, — не левых; и пусть: это нас не касается!..»

Пальцами мнение ей подавала на лобик: от кубовых губ:

— «Нет, вы — милочка; в вас — же не сә куа<sup>2</sup> — шарм... Развлекитесь» — и выгнулась, треснув корсетом, как будто она исполняла испанские танцы: под треск кастаньет.

— Только вот: одеваешься; я бы» — и из-за ресницы ее желтый глаз оглядел Леоночнину талию — «что это?» — палец затыкался в грудь, плечи, спину — «для стили «дэгү»<sup>3</sup>, «нихи́лст» — назовите, как знаете: только штанов не хватает! К чему безобразиться?»

Вдруг:

— «В ресторан едем, — что?»

Как тигрица ей стиснула талию.

Пырк бриллиантов за окнами снесся: в окошко фонарь, не трезвонивший ветром, мигал.

— «Нет, — пошла...»

— «Не пушу!»

И одною рукою — за талию, с тиском; другою, с развернутым веером, — в бок; и ломалась, как балерина; о : дывала черноватой ноздрею; и с треском раздвинула штору.

И —

— «кк-кх» —

— «пф-пф!!» —

— Пшевжепанский, 1 чашечку с пепельносерыми бледными, с золотоватыми блеснями<sup>4</sup>, занготал в

<sup>1</sup> Ничего.

<sup>2</sup> Я не знаю, что.

<sup>3</sup> Отвращение

леонардовый цвет бархатистых и серооранжевых стен;

— и заперкавши в чашечку, бросивши чашечку, хохотом лопнул Велес-Непещевич, зашлепываясь в желтопепельном кресле.

## РОЛАНД ПЕРЕД МАВРОМ

«Щелк-дзан» — Пшевжепанский вскочил, наклоняясь одной головою; «шлеп-топ» — и Велес-Непещевич, привстав церемонно, одной головою склонился к Леоночке; и — каменел, как мужчина перед непредставленной дамой.

Леоночка, — бросаясь рукой с горностаевой муфтой под мех-горностаевой шапочки, рот разевала испуганно, точно она наступила на мерзость; лицо — ее сон, тупо-дикий, больной, где-то виданный, после забытый, но — сон, изменяющий судьбы! Ей будто старинную и позабытую гадину выкинули, чтоб отныне жила она с гадinou этою.

Все — один миг.

— «Вы знакомы уже» — Тигроватко с нее к Пшевжепанскому черною палкою веера.

Веером: от Непещевича — к ней:

— «Познакомьтесь: Вадим Велемирович, — друг!»

Шлеп-топ-топ!

— «Леоночка Леоновна... Тителева».

Непещевичу:

— «Едем?»

— «Конечно».

Леоночке:

— «Я — проведу: вам Параша прическу поправит... И прочее все... Же ву лэсс!»<sup>1</sup>

И с Леоночкой, павшей в безволие, точно колибри под глазом боя, — с переюрками: в двери...

Молчание — длилось...

— «В метель, говорите» — Велес к Пшевжепанскому, щелчками тыкаясь в выцветы серооранжевых стен.

И вскипело —

— «шш» —

— «свсв» —

— за стеклом.

<sup>1</sup> Я вас покидаю.

«Представляете? Да: шашку выхватил, с ветром рубился» — руками развел Пшевжепанский и носиком клянул.

Велес-Непещевич — за грушу; и — скороговоркой хохлашкой:

— «Даже не с мельницей?»

Шурш из передней: на них.

— «Сослещского я понимаю» — влетела «мадам» — «он же — рыцарь», — вамах перьев — «Роланд».

Как струна, лопнул в нос Непещевич:

— «Для пальцев Роланда — хо-хо — мавританское горло готово... Она — часто к вам?»

Влокотясь в подушечку, тускло оранжевую, Тигроватко в иви-винец склонила свой нос:

— «Забегает ко мне: утешаться!»

Горбок почесала.

— «И вы утешаете?»

— «Да».

Облизнулась.

— «О, о, — утешайтесь! Зачем ее тащите?»

— «Слово дала показать ее — Мирре».

А он перенес подбородок натруженный, — красный квадрат, — справа влево; и красным квадратом оскалился:

— «Ну, а пока там она, — покажите же комнату».

— «Э бьэн, — идем!»<sup>1</sup>

Взявши за-руки их, головою взбоднула пространство; и — диким галопом, втроем, — в коридор.

И за окнами пыркали змеи сквозные.

Галопами — мимо обой цвета кожи боа, мимо пятен, чернеющих в бронзовотемном; вломились во мраки, где может подняться лишь вопль; и — сопели.

И жолоб, укушенный ветром, как вебрь — хрюкал, брюкал.

## ЯЩИК, ВЕРЕВКУ, МЕШОК И КЛЕЩИ

— «Щелк»: все — вспыхнуло: серое, мертвое, тусклое; где пестрота?

— «Здесь и есть?»

Тигроватко им бросила черною палкою веера:

<sup>1</sup> Что же, хорошо

— «Здесь».  
— «А не слышно?»  
— «Быка зарезай» — черной палкою всера в пасть — «Там же — кухня; а дверь запирают».  
— «Простите, — минуточку: сам посмотрю» — Непещевич; и щелк каблуков лакированных:—

— светом —

— безлобо, безглазо —

— он бросился в черный квадрат; и оттуда — безлобо, безглазо — вернулся с: черным квадратом; и залопотал, хлопоча, как кухарка, над гусем ошипанным:

— «Вы приготовите ящик, мешок холстяной, но покрепче, веревку покрепче, рогожу, моточек веревочек, гвозди, иглу для зашивки рогожи, клещи... Все тащить — подозрительно будет: шофер... мы с собою привезем нечто маленькое, да удаленькое».

Телефонный звонок.

И Параша, прислуга, влетела:

— «Вас спрашивают» — Пшевжепанскому.

Влетел.

...  
Став безобразной, мадам Тигроватко казалась совсем индианкою.  
— «Ну, а зачем вы меня приплетаєте: женщину... Разве нельзя в другом месте?»

Велес с разволнованным, бабьим, каким-то слюнявым лицом заваркал, как старый фагот, в аллегретто пустившийся хриплым «пьянйссимо»:

— «Негде: везде наблюдают... От вас он — на фронт: в запакованном виде... Захватим на улице; и — с ним: сюда. Вы отпустите вашу прислугу, конечно; уедете сами; ключ — нам, чтоб Лебрейль с чемоданом приехала, — с визой, сертификацией, паспортом; место, купе, будет занято; не Булдуков, — ваш Роланд постарается; в «Пелль-Мелле» знают, что может в любую минуту исчезнуть: на фронт... Такова его миссия, данная Фошем: се-крет-ней-ша-я... Больше — негде: везде следит око; а арестовать — невозможно: по-сольство, английское, тотчас вмешается. Фронт же, — там пули, там газы. Уехать живым ему нужно отсюда. И только отсюда!»

Он так посмотрел, что «мадам», закрывая свой нос, из прощелочка пальцев глядела напуганным глазиком

— «Ведать не ведаю...»

И — помолчали.

— «Что «он»?»

— «Представляет собой замечательный просто феномен».

И — светски:

— «Для дела союзников» — бросился корпусом — «вы представите комнату — нам?»

Тигроватко ж, спиной к нему, надув губы и носом капризно бодаясь в веер:

— «Гамэи... Я не знаю, — зачем это комната вам: еще девочку с улицы мне приведете?»

Он — тоже гамэном:

— «Француженку вам приведу; с темпераментом; пальцы — стальные; веревку на шее затягивать — может».

— «Мадам», сделав вид, что она спохватилась — на дверь: громким сестринским голосом:

— «Милочка, — скоро?»

## КИКИМОРА

А капитан Пшевжепанский, оскалась, кричал в телефон:

— «Ездуневич?»

— «Прекрасно, корнет Ездуневич!»

— «К кому?»

— «Где, в котором?»

— «Дом?»

— «Илисть?»

— «Табачихинский?»

Из коридорика, точно из ада, явились: мадам Тигроватко с Велесом; пан Ян, не без юмора бросивши трубку, руками раз-ехался:

— «Ну, — поздравляйте: увижу сейчас знаменитость»

— «Какую?»

И щелкнула гнутым листом подоконника.

— «Самую, — э т у: Коробкина».

Жолоб взвизжал.

Непещевич:

— «Скажите!»

Мадам Тигроватко:

— «Пожалуйста!»

И отчего-то все трое, — как лопнут от хохота.

Грохнула крыша.

Мадам приложила свой палец к губам и показывала на гостиную, громко воскликнув:

— «Милочка, — так вы готовы?»

В гостиной стояла Леоночка с красным, распухлым, надувшимся ртом перепудренного синеватозеленого и лупоглазого личика; так изменила прическа: на взбитых волосиках, напоминающих шерсть завитого барашка, тропической бабочкой встал желтый бант, отчего вся фигурка, — безбокая, с грудкой-дощечкою, в стареньком, черненьком платьице напоминала б кикимору, если б не шаль —

— ткань сквозная, тигриная (бурые полосы в желтом); —

— она закрывала покатые плечи и талийку, падая и волочась по полу.

Мадам Тигроватко все это швырнула из шкафа, сажая под зеркало; прочее — дело Параши: завивка, прическа; сама лишь раскрасила губы.

— «Ну — едемте... А вó сервис...»<sup>1</sup>

Тигроватко вошла из передней, ведя Непещевича с громкими вскриками о Ван-дер-Моорене: друг знаменитостей Франции! Видели в окнах: и гонит, и воет, обхватом качаясь, чтоб взвиться со всем, что ни есть, на земле; и — качаться со всем, что ни есть, на земле; басом охало где-то; и писком под окнами белые пыли бесились; и вдруг — между басом и писком, — страдающий, громкий, грудной, человеческий голос.

## ВЕЛЕС-НЕПЕЩЕВИЧ ВЕДЕТ ИХ

Проход в первый зал, отделенный ступенью; шатня и туда, и сюда: шаркотали, шарчили, шатели, бежали в уборные...

В даях — жары: разлетались светá из-за хмари — янтарными, красными, голубоватыми пятнами; даже не комната, а человечник, где головы, плечи, и груди, и спины, слипаясь, закрыли и стены, и столики.

Стены — цвет моли; такие ж диваны у стен; полосатые, голубоватые шторы в квадратах оранжевых.

<sup>1</sup> К вашим услугам.

Тут же — эстрада, где над головающим, лающим, пьющим, жующим кишением — фрак капельмейстера, куцого; вовсе немые смычки тарантият; и метаются локти; один ерундан барабана.

Велес-Непещевич, Леоночка и Тигроватко не шли, — перетискивались, растираясь боками чрез хавки и гавки; их мелкой трусцой обогнал беломордый пиджак, подрожав подбородком; все бросилось пятнами.

Кто-то курносый, затянутый в серую пару, показывал гребни лопаток; и рот разрывая, бросал кружку пива в такие же кружки; и кружкою бился о них; и ходулила дылда вдали; и обсасывал кто-то, вцепившись в коричневожелтую кость, — эту кость; и какой-то художник, наверное, сивая масть, вакачавшись на каблуках, стал икать на мадам Тигроватко; и дама в фуляровой шали, с гранатовой брошкой, голила руками; ей в спину — ерзунчик! стаканом вина:

— «Ooo!»

— «Отстаньте».

Приступил к компании:

— «Ну, тилиснем!»

Хитронырый пролаз — тилиснул, сделав вид, что фривольничает перед маленьким сдохликом (видно — со средствами); деятель желтооранжевой прессы, а глазки — грязной поедали грудничку дамскую, — лиф «Фигаро» — черный, шелковый: рюмочка! Синелиловый букетец фиалок в корсаже; и — шурш желтокрасных «дэссу» из-под юбки, отделанной кружевом.

Бросилось все это из перезвона ножей, из икания, гавка, раскура.

Забились в пороге второй, пестрой зальцы, где ус тараканий, военного, цоками шпоры, с «пардон», разделяя толпу, волочил мимо стуло.

Вино подают, а не пиво; и — воздух, и — чистые скатерти.

И уж за пестрой эстрадою вздетая комната, — почти пустая; ковер заглушает шаги; заказ столиков по телефону; и ткань — ярко-тигровая: краснобурая, с черчем полос чернобурых; и — черное, вылитое серебро канделябров, серпчато изогнутых; каменно матовы пепельницы; темнобурый медведь из угла поднимает поднос на серебряный блеск —

— зильберглас: —

— приготовленный столик лакей

обирает, расставив двуухую форму чистейших крахмальных салфеток.



Сюда Непещевич, ведомый почтительно распорядителем в смокинге из обнищавших князей, — дам ведет; ярко-желтая юбка мадам Тигроватко и тигровая шаль Леоночки тонут в оранжевожелтой портъере: и — в креслах.

## СКАНДАЛ

Мадам Тигроватко становится вдруг своенравным «анфанчиком»; выщипнувши пахитосочку, бисерной стружкой стреляет в какого-то, мимоидущего; штрипки одернув, он сел против них; и — показывал томный носок цвета «прюн»<sup>1</sup>.

И лакей, отмахавши салфеткой, пронес огурец свежесольный.

Леоночка виделась издали злым, перепудренным личиком и ярким бантом, кричавшим с волос; Непещевич склонился над ней:

— «Что вы пьете?»

— «Я...»

И — затруднялась сказать.

— «Нет же, Леокади, — научите ее!»

Как во сне: —

— Прочно вылезла гадина; точно во сне: соблеснулись тигриные полосы с колером серооранжевых стен; и припомнились ей желто-красные крапы дешевых кретонов, в которые Терентий Титович, «Тира», — ее ожидал:

Крапы, черные мухи, летали вокруг головы.

Вот гречанка, голая плечами, проходит эгреткою; с ней — перепудренный труп: прыщ его розовато сквозит.

Из-за дыма далекая зала — цвет моли; в ней — месиво; громко таракают: горлом, ножами, тарелками; кто-то першит, кто-то тащится с кем-то; кого-то зовет за собою; откуда-то щелкает пробка; синее не дама — щека; и она — примазная замазка.

Кто?

Вскакивает и бросается, чтобы увязнуть в проходе; он рвется замятой визиткой; как будто, надевши ее, оказался в трактире, где пил; в ней и спал; и — опять затащили в трактирчики; вид парикмахерской куклы, но — трепанной куклы: клоки бронзовой с просверками бороды сохранили едва очертание тонкого клина: парик — съехал набок.

<sup>1</sup> Сливы.



И тотчас —

— за ним, —

— шпорой цокая, —

— Третий 'Мертетев!

— Миррицкая, Мирра: в шелку темновиневом, черными пятнами!

За-руки схваченный Миррою — из-за оливковых, как неживые круги полудохлой очковой змеи, ужасающих странно глазниц золотыми глазами, — живыми, — блеснул, через головы выкинув руку; и психой, которую греют нагайкою, взвизгнул на весь ресторан:

— «Она — дочь моя!»

Загалготали, вскочили, сбежали, таращась усами, кусаясь зубами; и дамочка бросилась вместе со всеми.

— «Пустите» — взвизгало в кольце голосов.

Но Мертетев, отрезавши путь, навалился могучею грудью; и — распорядителю бросил:

— «Больной!»

Все усатые губы и морды, напучившись дьявольски, точно собаки на кость; только серая пара (в лице — лень тюфячья) повесила локоть и тихо зевнула в жилетед свой —

— персплетение розовых лапочек в карекаричевом: на пестрой комнате.

Распорядитель лакею дал знак подбородком, чтоб мчался: вести, куда нужно, иль... вывести.

Все это издали слышалось еле; и — виделось еле.

Мадам Тигроватко лениво лорнет навела, как с эстрады, — на синее облако дыма:

— «Что там?»

И лорнировала, как с эстрады, соседнее зальце, где — пятнами стены, кирпичные, с кубовыми кувирками, с лиловыми грушинами (взрезы розовые в чернобурых кругах): с желтым кантом;

Вон дама с фарфоровой грудью, губами коралловыми из соломинки тянет под кушей из розовых, собственных, перьев на фоне дивана оранжевого с голубыми изливами; с нею же шеголеватый с щеглячьим, щепливеньким личиком юноша; белые ведра («Шабли», мозельвейн) блеск бросают с отдельного столика в дымчато-голубоватой, — с распрясами сурика, — шторе.

Велес-Непещевич назад посмотрел:

— «Вероятно, скандал...»

На тарелочку, как драгоценность, ему принесли шоколадного цвета сигару; он, сняв сигнатурочку, ловко обрезал, вскурил.

А Леоночка — не повернулась.

## ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

Скандал — продолжался.

В кольце раздражительных, нетерпеливых людей бормотали:

— «Кто?»

— «С кем?»

— «Отчего?»

И опять резанул этот визг!

— «Моя дочь!..»

— «Да вы — кто? Да вы — что?»

— «Я — Ман...»

Дррр!

— «Он сумасшедший!!» — Мертетев орнул.

И рукой заклепал рот больному.

— «Ведите же» — к распорядителю.

Тот сделал знак подбородком лакею, а взлетом руки — капельмейстеру, за голов выставившему голову; с Миррой, с лакеем, больного отрезал от рвавшихся броситься скопом на этот скандал.

— «Ойра, ойра!» —

— с эстрады сорвался оркестр с музыкантами, стульями, нотами, с ожесточеньем локтей, точно тыкавших воздух и резавших горло!

Откусывая концы слов, —

— «ойра, ойра,» —

— теперь забросались

друг к другу усами, носами, глазами кровавыми, кружками, — «ойра», — забыв о скандале: орнуть:

— «Ойра, ойра».

И даже мадам Тигроватко подхватывала: «Ойра, ойра!»

И бзырил Велес-Непещевич.

Мертетев с лакеем ташили больного к передней, откуда навстречу, — лиловое платье: в галдане из брюк, шаркатавших туда, —

— где, —

— себя потеряв, капельмейстер, взрываясь ногами, коками, локтями и пальцами, перетопытая в правый угол, где тпали — «ойра», — взлетая над столиком, где вытопывали —

— «ойра, ойра», —

— мотал головою над столиками, зверски харкавшими — «ойра, ойра», — с прсклятием, с ожесточением, с клятвой!

— «За ваше здоровье, мадам!» — подбородком к Леоночке лопнул Велес-Непещевич, Вадим Велемирович.

Ев Тигроватко:

— «Я пью за союз, — наш особенный: трех!»

И — за талию; а Непещевич, Вадим Велемирович, щелкнул двумя каблуками под столиком.  
Гологоловая, красная морда пропыжилась баками, белым жилетом, цветком хризантемы: —

— весь вечер, как пес ожадевший, кидалась под дамские перья, разглядывая телеса, а не лица, — она; и теперь затащила к пустому, серебрянобелому столику — не волоса, — беложелтую дымку, не платице розовое, — светлосный туман, под которым, как голенькая, —

— еще бледная  
девочка, —

— синими глазками засиротев точно жаворонок, подняла тихий щебет.

А издали —

— бас —

— в тятки аплодисментов на весь ресторан произнес величаво:

— «Григорий Распутин — убит!»

И Леоночке — дурно: вино, — вероятно.

## ПОД ПЫРСНЬЮ

Рыжавые, карие, сероседые дома; шоколадные, бурые, желтые, синие домики: этот — в гирляндах, а тот — в факелочках; забор; особняк: полинялые ставни, подъездные выступы, гермы, литые щиты на решетке; труба выдыхает мгновенно растерзанный дым:

— рах —

— ррассс-пуууу —

— -тица!

Синеголовая церковка: изгородь белого камня, лампадка пунцовая. Цветоубийственно лица пылают — у шапок, манджурок, папах и платков: все — седые!

Вот трое идут —

— в армяке, в зипуне, в полушубке, в откидку,  
в раскачку, в размах, —

— там, где в белом кру-

жении светлы прорезались: три беспокойные тени заширились; спереди — бисерной пеной вскипели ворота, откуда под юрками — в юрк мальчуган; сзади — билось о вывеску снежное облако.

Свертом: —

— и —

— вывесок пестрая лента бамбанит; тусклеет в воротах пятнадцатый номер; и — миломехавка бежит; и — визжат в отдалении трамваи в блеск выпухов у запертых магазинов, где вспыхивают — губы, серьги, перо, лицест, пробегающий в реву моторов, оплескиваемых из тускли лазоревым и фиолетовым свегом: «К и н о»!

Поворот; —

— и —

— зашамкала с Ваньки сутулая шуба над шарком полозьев под семиэтажную глыбой, к которой домишки приклеились, точно старушки на паперти, где снеговинной покрыт тротуар; одинокий, протоптанный только что след слононогого сходит в покатый каток, по которому лиловолицая бабища, ярко желтая платком, с визгами катится: под-ноги.

И безголовый проходит мешок на спине по заборам — у взроицы, вывертов и коловвертов, которыми четко остреют загрявны в чистом, нетоптанном снеге; на дворике вцеплена бочка в сугроб; за него человек испуганно юркает; очерком темносуконных домов мрачно тусклит надзаборье; там —

— крыльями изшут и стаями  
пляшут —

— порхать, свиритеть, стрекотать, —  
как стрижи, как  
щуры, как  
чижи, —

— перепыр-

скивая под пальметтой фронтоначика розовокарего и  
нападая на крылья шинельные.

И прогорланило:

— «Где... тут?..»

Забор осклабляется зубьями; дерево бросилось сучьями перед нахмуром оливковотемных колонн; на серизовом доме сереют серебряно пятна луны; серый дом — зеленеет, а желтый — бледнеет; и кто-то в кофейного цвета мехах, от которых остались лишь

снежные гуши, бежит сквозь охлопковый снег: снег — вертят, визжит, вырывается, пр'изорочит!

И мерещится, точно отламывает от Москвы за кварталом квартал, растираемый в пырсни, взметенные свистом и блеском в сплошной — перешурш, перегуд, перембам!

Точно взалупок пурговичи бесятся!

Домик фиштакковых колеров: снежные вазы повисли над окнами; мимо спешит белоперая: красные волосы в инее — белые.

Снежною тенью огромная масса, которая издали виделась белою, — бросилась из-за угла с оглушительным грохотом.

И все — уносится.

Ботик, усы; нос — лилов.

Сереб'рни струят по стене, по забору; и тихая баба в зеленом платке спину гнет: ветер душит, врываясь в рот; кисея с кисей под ногами снимается: фосфорный фейервэрк нитей серебряных.

Голос несется по воздуху, — незабываемый: веер открылся из кружев над домиком. Нет его. Нет и метели; и месяц упал: синероды открытые: синезеленая звездочка —

— красненьким вспыхом, зелененьким вспыхом —

-- мигает.

И как мелкогранные серьги, слезящийся выблеск заборов; на стеклах алмазится молния.

Пырсны!



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

## СЕРДЦА ВОЛНУЕТ

### СНЕГ, КАК ЦВЕТ МИНДАЛЕЙ

Серафима Сергевна в ушастенькой шапке и в шубке с коричневым мехом, упрятала в муфту лицо — защититься от блесков: и лед — сверкунец; и жестянка — звездянка: и —

— ах!

— «Бриллиантистей всех бриллиантов!»

Двуглазкой ловила блестинки снежинок; профессор в медвежьей, заплатанной шубе, васунувши варежки под рукава и подняв рукава под лицо, шел перовой поховкой из инеев

Мягкими метами бледный фонтан за фонтаном под бледное небо взлетевши, стал инеем; роща березовая повилась из света сапфирового, точно кружево: снилась.

И веялись инее в синие тени.

И — замерли: великолупно блестение серого камня из дряни заборной.

И блески сблистались

— «Да-с!»

Глаз, как быстрый мал', из-за века открыл на нее; и понесся из тени: на блески.

— «Я сделал открытие!»

И — глаз: погас.

— «Вы?»

И беличье что-то в ней дернулось:

— «Где и когда?»

Он надулся усами и ей не ответил.

Она закусила свой ротик; и стало ей горько: зачем он тантеся;

— «Я — не понимаю!»

Ее посерело лицо: от усилий понять.

— «Я, уже!»

— «Что?»

— «Сказал-с!»

И — расставила ноги; и — рот растянулся:

— «Про что?»

— «Про открытие».

Сосредоточенно выслушала:

— «Вы сказали тогда Синепапичу, что никакого открытия нет, а теперь говорите, что есть: как же так?»

— «Оно — сделано-с; по-с... Мне открылось» — и так посмотрел, будто глазом зажечь хотел снег.

— «Оно — вздор-с!»

— «В каком смысле?»

Нос — в ноги:

— «Ну, — ясное дело: открытия вроде как нет!»

И пошел, давя снег, как на гору; и шубу тащил за собою по снегу; из меха морозом нашипанный нос вылезал.

Ее гневное личико, точно на крыльях, на плещущих мехом на-ушниках, — дернулось.

Он повернулся к ней, точно из сна:

— «Что вы это? Я — так-с».

И уставился в сон, расстилавшийся инеем; иней от доха слетал.

Выражение гневное сваялось, будто слетающий иней; и отсвет улыбки явился в лице: это просто — шарада.

— «Герон» — и серебряная борода появилась из меха — «писал свои дробы, лептá»<sup>1</sup> — гладил бороду — «буквой со знаком».

Уловка: укрыть настоящую мысль; он, как с мышкой играл.

— «Так: две пятых писалось: «бэта»<sup>2</sup>, — два-с, — черточка».

В синие тени плыла его шуба.

<sup>1</sup> По-гречески: «дробь».

<sup>2</sup> Числа обозначались буквами.

— «А «эпсилон»<sup>1</sup> — выставил нос — «пять, две черточки-с: знак знаменателя, — ясное дело».

Локтями прижавшись к бокам, распахнулся мехами клокастыми; и на усах, как стожары; и — млечная, вся, борода.

Взяв за руку ее,

показал ей как призорочит —

— там —

— цветами из света: сквоз-  
ными и розовыми, как  
миндалы!

## ПОКАЗАЛ ЕЙ НА СОН БИРЮЗОВЫЙ

С любопытством вгляделся: вон — черные валенки; серозеленый армяк; мех — с отжелчиной; морда — безглазая: кучею меха на морду он двинулся через нацоки ледышек.

И прыгнувши, грохнулся носом и ботиками, как тяжелая кукла:

— «Вы — что-с?»

Человечек — вскочил.

Серафима — кузнечиком прыгнула.

Ус — из мехов; из усов нос, мортирою выстрелив, точно в ку-сты, сел в усы; и усы ушли в мех:

— «Это — хмары!»

Рогом котиковым на сосулечник, через блешák, стал отхрусты-вать; но под серебряной крышей, бросившей яхонты, встал:

— «Хмарь: такая есть станция!»<sup>1</sup>

Помнил: —

— стояли жары; липы зыбились в дымке; их лист — за-мусоленный; кто-то таился за листьями; взглядом пой-мал — человечка, который себя догонял на обоях его кабинетика: чернозеленый и желтый, —

— с обоя убе-жал!

Серафима же силилась высмыслить:

— «Хмарь — аллегория?»

— «Хмарь» — он впечатал морщиною — «дачное место такое, где жили мы с Наденькой; коли направо итти, будет лес, а налево —

<sup>1</sup> Греческая буква.

<sup>2</sup> Смотри «Москва под ударом». Глава шестая.

зеленое поле под серою пылью; там желтые тучищи: пыль-с, бученики; там оборванцы ютились; и — тропка оттуда вела».

Он прошел этой тропкою:

— «Моль-с!»

Серафима же думала, что аллегории.

— «Что вы, профессор?»

Ударами ботишков закосопил:

— «Оттуда гонялись за мной!»

— «Кто?»

— «Да он, человечек: с обоями; — а его растереть между пальцами: моль-с желтоватая!»

— «Вы объяснитесь, профессор!»

— «Ну-ну-с: ничего-с.. Заведем нафталин».

Возмущалась на эти шарады глазами, огромными, синими, ротик зажавши с достоинством горьким; и серыми ботиками за ним топала; и не вникала; берег ее: —

— девочка-с!

Как ей сказать, —

ходил?

— что ходил он дорогой, которой никто не

Ровно несли по снегу, блаженным пространством дыша; он, дорогою страхов пройдя, не боялся.

И — там: —

— синева отдаленных домовых квадратов — совсем голубая; как в паре опаловом; розовожелтыми персиками пронежнел — красный дом; тот, вишневый, — вино; а этот, беленький, — розовый воздух невидимый.

Он ей сказал, точно светом облещивал:

— «Не обращайтесь внимания, — в корне сказать Я тут, — ясное дело — шучу!»

Изумлялись: —

— вершина сосны, схватясь ветками в облако, розово вспухшее, свесилась с кареянтарного, ставшего ясным, ствола; ствол сосновый, вот этот, как смолотый кофе; и карий, и красный; березовый ствол, как коралл; —

— дом, —

— лимон, —

— апельсиновый!

Сделал рукою с достоинством ей пригласительный жест:

— «Ну-с, — мы завтра отправимся с вами: ко мне-с!»

Красным носом — к земле, точно знак подавая стоящим в низине:

— «За томиком Клейна... Там в томике, — листики, кое-какие мне нужны: для вычисления».

Заговорил в первый раз с ней о доме своем; и шарчил в черч ветвей — на прозор заревой: через розовый иней.

Как шапки миндальных цветов, возникала за дальними купами купа лесная; и лес над лесочком висел, точно в небе, —

— дымящим облаком!

Медленно шел под деревья, с которых свесались охапками иней, — на бирюзу; и — на облачко, облачко срезавши шапкой; и — шапкой означился: в розовом фоне зиборика.



## ТЕР-ПРЕПОПАНЦ

Огнецовой блесной стали тяжести красочных линий; поскрипывал стол:

— «Уезжаете?»

— «Мое почтение» — скрипнуло кресло, в которое сел над столом; десятью задрожавшими пальцами бегал.

Внырнула в себя, вздернув плечи под окнами; стиснула пальцы, растиснула: белые пятна остались; рванулась навстречу.

И думала: он затаил про себя свою главную мысль.

Наблюдала за ним, как кричал:

— «Дроби, дроби, — «лепτά», скажет грек».

И схватился за голову, вздернув плечи, качнулся — налево и вправо: точно голову, сняв с головы, — бросил в пол ее:

— «Чорт побери, надробят челюстей: и налепят затрешиг!»

Пошел, выбивая ногами, как на плац-параде солдат:

«Тоже, — дроби, взять в корне!»

Унять не умела его.

Наблюдала: ладонь, как лягушка, прыжком пролетела в жилетный карманец; и нож перочинный явился подскакивать в воздух (ловил превосходно его).

Равновесие восстановилось.

Над дальним забором, в окошке поблескивать стала звездночка: аирочка.

Видел малютку —

— в зелененьком платье,

поправивши золото мягких волос и сиреневосерую шаль завязавши в изящную, венецианскую шапочку, билась, как птичка.

И стало ему и добрее, и лучше: от шлепов двух ножек.

И он разразился сентенцией:

— «А Диофонт» — к ней поехал он носом под носик — «писал свои дроби — «лепτά» скажет грек — как и мы-с».

И поставил два пальца себе:

— «Ставя букву под буквой, и их отделяя чертой».

И стоял перед ним Пифагор, как фантазия мысли, и точной, и образной.

Крытую бархаткой лавочку в ножки поставила; ножки — на лавочку.

Личико из-за коленок заигрывало: то в открытки, то в прятки,

и напоминало ему щебетливую мордочку ласточки; выставив очень задорненький носик, скосив его, зубками нить перекусывала, улыбаясь мило малинозым ротиком, очень задорненьким; что-то такое она вышивала: узорчик лилейчатый строился.

Ушки прислушались: ножки с подлавки слетели.

— «Шаги?»

И округлым движеньем, как в ветре, — прыжком: мягко вылетала; промельканьем зеленого платица —

— «фрр» —

— погналась, не-

известно куда, неизвестно зачем.

— «Вы чего?»

Ножки — «топ»; и — попала к окошку; и беличье что-то в ней выступило.

## СИННИНА

Тук!

— «Войдите!»

В пороге, конфузясь, стоял. Препопанц; нос Тиглата-Палассера в красные пальцы дышал.

И составила чашечки чая, жалея о чем-то: сдвиганьем предметиков; Тер-Препопанц стал являться к вечернему чаю совсем не как доктор, а — просто; с профессором был безупречен; сидел, опустивши свой нос, и молчал: мирозрение Тер-Препопанца с недавнего времени стало: ее лицезрением.

И усмехнулась; чтоб скрыть этот внутренний прѣсмех — в шитье; откусила без нужды и выплюнула шелковинку, когда Препопанц занкнулся о том, что...; себя оборвал; и глазищем расширился, ножку увидевши:

— «В психиатрии есть много еще нерешенных вопросов, решаемых жизненно...»

Видел: звездой над нею ночует свободное небо.

Ей он не советовал: нерв изучать.

Она ножку свою под себя подтянула: морщинки, как рожки, боднулись со лба: мала птичка, — остер коготок; Препопанц засопел, покраснел; Серафима подумала, что при профессоре можно ходить нагишом.

Препопанц же вскочил и ушел.

Про себя рассмеялась; и — ямочки в щечках; и — ямочка на подбородке; и личико стало котеночком: сколько мальчишества?

Синие линии выступили; иней — призорочил; вдруг за стеклами с треском сосулька упала на жолоба; тень пересекла окно; и пятно — лицевое.

— «Подглядывают!»

И себе улыбался профессор: подглядывал тоже.

Прилипла к стеклу: никого: синерод, углубленный и прыснувший ярким, глазастым согласием.

Он шарахнулся от ее беленькой ласточки, —

— ручки, —

— кото-

рая, — «порх», — опустилась на голову.

«Я — тут... придремнул-с».

И так нежно расшамкался:

— «Добрая ручка моя».

И проехался носом под носиком:

— «Гнездышко вить, дело ясное?»

Знал: будут — птенчики, мысли.

Остались они ликовать вдвоем и показывать пальцами, тыкаясь в стекла, на звездочку: блеск бирюзовеньких искорок переигрался в зелененький блеск; и вдруг вспыхнули отсветы, точно кошачьи глаза; и погасли.

— «Какая звездистая ночь!»

Дух захватывает; слепнет глаз облесненный: дрожит и горит синина углубленная: нет им числа; бездне — дна<sup>1</sup>.

## КАК ТОПАЗОВЫЙ ГЛАЗ

Синина белоперая; воздух, живой солнописец, сияющий окнами; наст — золотая блесна; лед, как белый чугунок; и — алмазным кокошником крыша.

Милело ее кругловатое, белое личико: мордочка; малиновели пропевшие губки; щелели за губками зубки жемчужные; в солнышке взор ее — медистый.

Он же согбенный, закутанный в лезлую шубу, шагал, волоча мех с поджелчиной, рваный рукав прижимая к микитке; казался ей дряхленьким; в мех уронил красный нос; и на носе мутились очки; желтизна световая бросала отчетливый отсвет.

<sup>1</sup> Перифраза из Ломоносова.

Шаг ширя, старалась с ним соступать; солнотечные синие тени резки; как, сметаясь, густели они в углублениях стен, становясь чернотой; ледорогий сосулечник.

Сколько!

И варежками — под рукав его рваный:

— «Здесь сколько, профессор: позвольте я вас!»

Он ей вырвнул:

— «Герц полагает в телеогенезис материю: мы — дети света, — сказать рационально!»

И нежно взглянули — на гелио-город: как дом угловой белокремовых колеров ярким рельефом шербит; на нем солнечный луч, точно взрез ананаса; оконные вазочки, как — сверкунцы; три ступени — белашки; не крыша, а — пырь; в алмазном блеске беленные стекла; дом жмет к колонному пятиэтажному зданию; вырезано в синем воздухе бледным, фишашковым кубом: веночки и факелы, — темнооливковые; солнце дрыгало искрой зернистой на окна.

Сверт, —

— синие сумерки!

Где-то присвистывает; и смотрела она золотыми от света глазами, как бросил ладони, в которые тихо слетало большое старинное солнце.

И волосы отсверком розовым вспыхнули; в отсверке — красное пламя; и луч, звездохват, облеснул переулочек Африков; и на заре уже слабая звездочка, зирочка: искрилась тихо.

И красная церковь — заискрилась в солоноватые, зеленноватые, золотоватые воздухи, ставшие красными кислями; котиковым колпаком ей дорогу указывая; и повернул в Табачихинский: высмотреть, вцелиться: —

— может быть, он собирается даже урок поведения дать?

Просинелые домики; желтые глазки, оконца, сверлили сплошным любопытством, ехидством: зелененький, этот вот, желтенький, этот вот, домик, в котором, как клоп между бревнами, Грибиков, сплетнями, точно клопными яйцами, опоганивал этот квартал.

Номер шесть: он, уставившись носом в него, потом носом в нее, носом бегал меж ним и меж нею:

— «Тут я, дело ясное, — жил!»

И конек дальней кровли, — топазовый глаз, налился, как слезой, своим блеском.

Слеза пролилась.



И топазовый глаз —

— уже розовый, красный,  
пунцовый, —  
— глаз: гас!

## ТОЧНО ВОР

Позвонились; дверная цепочка зацачала:

— «Кто?»

— «Дело ясное, — я!»

И профессор нацелился носом на ручку дверную, пропятивши свой добродушный живот, удивляясь дрезжанью пьянино; и — «Чижику».

— «Ясное дело, — пьянино купили!»

— «Кто «я»-то» — ему из-за двери.

— «Коробкин!»

Он хлопнул себя под микиткою:

— «Барыня дома-с?»

И — дверь он рванул.

— «Да кто будете-то?»

Добродушие слезло с лица; он полез с кулаками:

— «Я... я, в корне взяты!»

Серафима, смешная синичка, в сердцах топошилась.

— «Кореньев не надо... Какие такие» — сердились за дверью.

И плакали клавишами.

— «Вы скажите, — профессор: профессор Коробкин» — разбилась о дверь Серафима, махавшая муфтой.

— «Сам, значит? Сказали бы сразу».

Цепочка снялась: Анна Бабова супилась:

— «Барыня не приказала цепочку снимать, а то всякие воры шатаются тут».

Он ввалился в переднюю шубою, распространив запах уличной гари, под взглядом, его осуждающим:

— «Барин! Под собственным домом шатается...»

— «Тоже!»

— «Зарылся, как крот, в сзю шубу».

И видел: они провели телефон; а малютка сморкалась, мгновенно же насморк схвативши: от затхлого воздуха комнат.

— «Ну, ну-с, — ничего-с»; — шептал в ухо он ей — «приготовимся, ясное дело: идемте...»

А сердце стучало из глаза, которым он, как фонарем, открывал глубину коридора; тут выблеснул свет, бросив черную тень от лорнетки:

— «А вы не смущайтесь... Идите за мною: вы — гостья моя». Звуки «Чижики» оборвались.

И безбокая женщина в пепельносеросиреневом вышла навстречу; она приложила лорнетку к глазам; и разглядывала их на фоне обойной из тусклолинейных хвостов:

— «Как» — с испугом лорнеточку выронила — «это ж, — вы?!»

И за ней — бряки, цоки; и — треск сапог.

## ИГОГОГО!

Василиса Сергеевна сухо и вынужденно подала кончик кисти руки Серафиме, и щеку подставила мужу; он дураковато причмокнулся...

— «Игогого... Отец!»

«Чмок», — чуть отца не свалил сапогами вонющий Митя, — мордач, погон розовый.

И — «дилинь-дйнь» — зачирикали шпоры: погон бирюзовый, лицо розоватое, глупое, пикало, «Чижином».

— «Вот и знакомьтесь: отец — игого» — Митя, полутуза и подтыкивая Ездуневича, давшего сдачу, к отцу подтанцил:

— «Ездуневич!»

И запахами сапог переполнилась комната.

Эта здоровая рожа, способная стену сломать, — как? Мальчонок с прыщавым лицом, так недавно еще воровавший? Профессор наставлял носом своим, как мортирой:

— «Вояка какая!»

А Митя полез на него, чтобы шубу сорвать; он особенно как-то поглядывал, точно он с места в карьер собирался взорваться рассказами:

— «Мы, — игого — воевали; и мы, — игого...»

Но сдержался; сжав руку, чтоб мускул напрягит, дрожа под бородком; и руку разглядывал, — как напрягается: этим движеньем мужчины показывают свою силу друг другу; профессор стоял перед ним в скюртуке долгополом, измятом, изношенном (в локте — заплате), который надел в первый раз после заболевания; в нем он казался равнином бердичевским, а не профессором.

— «Да-с, — чорт дер: дело ясное!»

— «Ты уж того, — игого, выздоровливай, что ли» — ему наставительно Митя; и чуть было не сорвалось: «Выздоровливай-брт» (то есть, брат).

И профессор от этого стал горьколобий:

— «Уж я... как-нибудь!»

Носом, как кулаком, саданул; и — загорбился: вспомнилось, — навоевал, а больного отца навестить поленился.

— «Ну что же, — идемте в столовую: кстати, — пьем чай...» — Висилиса Сергеевна вынужденно к Серафиме, — лорнеткой:

— «Пожалуйста».

И Серафима, поймав подозрительный взгляд на себе, обезличилась: сделалось совестно, смутно, как будто она виновата, что жизнь бережет; черной узкою юбкой она шелестнула, сжав плечи, головкой ныряя в проход; и как мышка вынюхивала, потому что кислел отдаленный миазм.

Ездуневич задерживал Митю в передней, ему тараракая в ухо: и слышалось:

— «Нет же!.. Обязаны?! Этот Цецерко... Мы... Я — позволю...»

— «Брось-брт» — Митя ему.

Зацепясь друг за друга, друг другу доказывая в полусунтку, пыряя друг друга в крестец и пониже крестца, — стали спорить; и Митя перечить устал, отмахнулся и дернул в столовую, чтобы усесться, закинувши ногу за ногу, и громко прикивая сапогом, пред отцом развернуть «патриотику» надо же чорт подери, отучать от неметчины этой отца; и поймал бы он, чорт подери, того самого Кнерко, Циммервальдиста!..

Корнет же повесился над телефонною трубкою:

— «Пять, сорок шесть... Как?.. Нет дома?»

— «По номеру тридцать пять, восемь?»

— «Пожалуйста: тридцать пять, восемь...»

— «Корнет Ездуневич... Пожалуйста, вызовите Инженерского».

— «Здравствуйте... Ну, — пришел случай: лупите...»

— «Да, да... Притащился: свею персоною...»

— «Дом номер шесть: Табачихинский... Ход с переулком...»

И бросивши трубку, присев, щелкнув шпорами, он отколол антраша: журавлиной ногой.

«БА, КОГО ВИЖУ Я!»

Положив свои лопаты и извопросительно выстанив, встретив ладони, профессор протиснулся в дверь; снял очки, на них дуя, присел, носом бр-сился под потолок, опрокинувши лоб; поглядел на очки, протирая очки; их надел.

И увидел он —

— в рабенькой, серенькой, светленькой паре над чайным столом, вырзаясь на серосеребряном фоне белясых обоевых разводь, Никита Васильевич ерзает задом своим наг ногой, на которой сидит; и мотается палец накрученной лентой пенснейной.

Увидев профессора, он растарашился выпуклыми готубыми глазами; зиплечав губою и пузом дрожа, привскочил; и на пузе дрожало пенснэ.

Тут профессор, его упредив, точно прыгая с кочки на кочку, понесли навстречу, ладонью из воздуха воздух отхватывая и трепля половицами; прыснул усами и жвакнул губами. И — руки ранит

— «Ба!»

Никита Васильевич дураковато замыкал:

— «Кого вижу я?»

И четыре руки за четыре схватились руки; и четыре руки потряслись; и профессор, с достойным притоном пускаясь в присядку, товарища старого силился утихомирить: как будто не он, а Никита Васильевич хворал; стал усаживать в кресло его; сам сел рядом: локтями — на ручки, ногами — под ножки; глаз, точка, — беспокоился.

И Серафима подумала:

— «Он — представляется».

— «Ну, как Никита Васильевич, ясное дело. — живень?»

Опрокидывал стулья, столы, опрокидывал даже людей, а свифт пож перочинный ловил удивительно: вставши и дернувши борозу вверх, он ладонь, как тарелку, подставлял; над ней помогал перочинный свой нож; его спрятал, поглядывая на кудрею волос, перед ним очмывавшую сутуловатые плечи почтенного старца, который с прикрихотом полез за платком, олаживая слезинкою выпуклое, водининое око; платок развернул под навислину носа:

— «Ну, Аннушка Павловна.»

А Серафима, как мышка из щели зтыкалась носом

«Кришьяльщик какой» — удивлялась она

— «Долго жить приказала...»

И трубными звуками высморкавшись, стер прожелевшую пядь, какое с испугом ликнуло лицо Василисы Прекрасной, которое перекривилось;—

— как, как,—

— неужели к покойнице старой ревнует аргритика старого?

Сухо сидела она с мелодрамой в глазах, высясь на тех же серебряносерых обоях сиреневолепельным платьем, под горло заколотым той же оранжевой брошью.

Профессор, который, уставясь очками себе между ног, ожидал окончания мелодраматической паузы, теплой горячей ладонью подкрался, как к мухе, к плечу Задютова:

— «Ясное дело,— мужайся: еще чего доброго...»

И— оборвал себя.

Дамы сидели, глаза опуская: профессор, открыв, что штаны не застегнуты, быстро присевши за кресло, застегивал их, полагая, что делает это вполне незаметно; но дамы сидели, глаза опуская, и ждали, когда с неподатливой пуговицей он покончит.

Покончивши с пуговицей, из-за кресла он вышел; и взывая:— «Прожить бы без подлости: с кем,— все равно-с!»

В Василису Сергеевну тыкнулся глазом.

— «Ай, что он делает?»— екнуло всерьез в Серафиме «Зачем он касается ран? Испытует?»

Никита Васильич пыхтел с таким видом, как будто готовился, сдернувши с кресла, под скатерть нырнуть головой от стыда, сознавая: больного хозяина дома он все-таки выжил из дома, используя тяжесть болезни, чтоб в кресле хозяйском засесть; он казался себе самому срастотерпцем от этого, ерзая задом, как будто горячие угли ему подложили под зад.

Тут забили часы под сквозным полушарием на алебастровом столбике.

## ПРИМАЗИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Цокнувши шпорою, Митенька чай перед л Серафиме Сергеевне: и думала: в тоне каком разговаривать с ним? Николаша— такой же ведь.

— «Что на войне?»

— «Не умею рассказывать я... Итого: наше дело, - того,— убивать!»

И дал тоном и интонацией: гре-па-де-ры!

И— «дзан»; отозвался, войдя, Ездуневич, как будто хотел он прибавить: не кто-нибудь,— конница мы!

А профессор уткнулся в малюточку: из-за спины Ездуневича; «фрр»—шелестнула она черным платьем; сочувствие выразил быстрой спины ее легкий изгиб.

Тут профессорша с дергами губ, с придыханьем, с лорнеткой— про случай с Копыто:

— «Представь, что мы тут...»— кривобедрой казалась она.

— «С милой Ксаной моей, ан тр ну суа ди»<sup>1</sup>,— криво-скулой казалась она.

— «Пережили, когда»— интонировала— «разлетелся к нам в полночь действительный статский советник Старчок со шпионами» и обвела их глазами, взывая к сочувствию их— «за несчастной Копыто!»

Капустой несло изо рта:

— «Нет, позвольте,— какая Копыто? И Ксана: какая такая?»

— «Жилички! Копыто-Застрой, или правильной Застрой-Копыто; а Ксана— мой друг: к сожалеению— съехала!»

Снова профессор, как палец, матюжке укрادком протягивал нос, и потом с быстрым грохотом прятался.

— «Вынуждена, а пропоб»<sup>2</sup>— ударяясь в ухо— «сдавать пилин комнаты».

Пенсии мало ей?

— «Басни».

— «Что?»

— «Будто пилинка . Зачем ее вняли?»

— «Военная необходимость»— мигнул Ездуневич.

— «Честь родины,— и того-го»— мигнул Митя.

Профессор не слушал профессоршу: он пабтодал с удовольствием, будто ел сладкую кашу, как, сев к Серафиме, Никита Васильевич, старый пузан, от волнения оправившись, заиряв в голову и рукой, из которой оныхиние пачыцы, зажавши пению, рисовали какие-то линии.

Выставив ухо, профессор расслушал:

— «Несем свои скорби...»

Куда?

С молодыми курсистками старый пузан проталкивал ветровку

<sup>1</sup> Между нами будь сказано.

<sup>2</sup> Между прочим «кстати»



ничал, скорби куда-то неся; запыхтел, оборвался, поймав на себе подозрительный взгляд из лорнеточки, тотчас же переведенный взволнованно на Серафиму, — сухой, оскорбительный взгляд.

— «Вот... мерзавка какая!»

Все вскрикнуло и маленькой: чай разлила, запырля головкой, как будто хотела под чайною скатертью спрятаться:

— «Что?»

— «Нет, нет: я — ничего...»

Ей представилось, —

как из стеного пролома бросается стая горилл на нее, а не этих сидящих людей, разукрашенных примазью цивилизации.

Там на обоях, не стертый очищенным мелом, размазался знак: или — пять бурых пальцев, когва-то кровавых.

Профессор не видел его.

Барабанил по скатерти, носом уставился в прошлую жизнь из-за жизни теперешней: —

— как? —

— Он мог жить таким способом?

И повернулся к малютке, которой тотчас увидела: врычий, морщинами, точно глазами играющий лоб; глаз, ушедший в себя, как костер из-за дальнего дыма горел.

И загиснула радостно пальцы под скатертью; жарам вспыхнуло ожесточенное: ичико — мимо него.

## ПОДАЛ ЗНАК

Подал знак:

— «Мы за томиком Клейна зашли».

Василиса — с досадливым недоумением:

— «Из библиотеки кое какие тома выносили».

— «Куда-с?»

— «На чердак».

И он с лаями:

— «Вассочка, Василисеноч мой, — книги без толку не трогайте вы!»

И забегал руками по скатерти:

— «Я говорю — рационально!»

И ножик столовый схватил: барабанил по скатерти им:

— «Я... порядок томов...»

Серафима, не выдержав, вынула ножик из рук; он, схватившись за шипчики, стал их подкидывать:

— «Сам устанавливал».

Тут же взлетело пенсне на обиженный нос Задопятова, явно вопившего оком:—как, как: сумасшедший, а—помнит, что комната есть у него? В ней Никита Васильевич туфли на кресле оставил.

— «Да что говорить,—уравнение это решаемое!»

«Что?»—волоокое око бессмыслило.

— «Как?»—звоняла разомкнутым ртом Василися.

Но—резкий звонок: Митя—в дверь.

Серафиме осмыслилось:

— «Он же их водит за нос!»

Знала: высечет вздрог; где нет жизни, удар механический—страхом, томлением, или бессмыслицей—нужен.

Профессор вевнул, живо, выпитив:

— «Просто хотел я сказать, что пойду посмотреть, цел ли томик... И—все-с!»

Тут влетел офицер:

— «Капитан Пшевжепанский!»

Приветствовал издали.

Встав выжидательно, с места не трогаясь, зорко косясь, пожал руку, качая над ней бородой; и рукою на стуло указывал; став простецом и юродства, точно Эзоп, раб двадцатого века, вещающий из двадцать пятого им:

— «Днофант имел способы для разрешения всех уравнений... Идем...»

Поклонился достойным поклоном в носки; с Серафимой отбавил в дыру коридора; холодную ручку поймал в темноте; прикоснулся дыханием к ней:

— «Потерпите, малютка: недолго вам маяться!»

Но тeneвая рука замигала на поле обой: тeneвою лорнеткою; и кривобокая тень, обогнав на стене, улизнула в переднюю.

Это—профессорша. И выжидали, что скажет.

— «Я шла, чтоб узнать, антр ну суа дй»,—в Серафиму—«когда говорит жена с мужем, чужим делать нечего».

И—

—Серафима мышечкомом: в дверь кабинета от них.

— «Шла узнать, что и как».

И он пальцами бороду стал разгребать, порываясь удрать, го уставясь в усы; а профессорша стала глазами мочиться в плагод:

— «Все же—прожили вместе: я вам выпиваю пакнижник!»

Рукою он вскинулся, будто очки защищая от больно хлеставших кустов; и с простоном схватился за голову:

— «Да уже вышла ты—Задопятову!»

Ваял себя в руки: чихнуть, или—фыркнуть?

— «Для разнообразия»—руки развел и чихнул между ног—«ты набрюшник бы вышла,—что-ли...»

Профессорша пальцами шаль затерзала; разглядывала полинялый горошник обой; лепетала сквозь слезы:

— «Уаорик...»

— «Линялый...»

— «Горошником...»

— «Ну,—я пошла...»

Так совместная жизнь откатилась: горошником.

## ВЗВЕЯВШИ ФАЛДОЙ СЮРТУК

Взвевявши фалдами свой косоплечий сюртук, головой изваянной из тел он в открытую дверь, где предметы выяснялись из пятнистокоричневых сумерок; в синих мерцали за окнами глазки озлобленных домиков.

Вспых эл:ктричества;—прыгнули, из темноты выпадая, узорики темнозеленых обой; с них гналась за собою, кривляясь, желтая с черным подкрасом фигурочка, перед которой...

Он встал, сложив руки, как поп пред предметами культа, в обстанови коричневожелтых шкафов и коричневожелтых томов,—головой эфиопской разбитого Сфинкса.

И к креслу пошел, на котором лежали две старые туфли, которые сбросил и пяткою шваркнул об угол с презрением:

— «Экая дрянь!»

И сел в кресло: опомниться; лоб, как глазами, морщиной играл.

И вокруг все неяснилось желтыми пятнами, брысьми пятнами с подмесью колеров—строгих, багровых; из них Серафима, свой надох затаив, стиснув ротик, склонилась локтями над белой космою на черные мордч ослабленных сатирос, вырезанных в спинке кресельной; в губках же вспыхнувших—боль за него; глазки, точно кристаллики,—твердые.

Вдруг, как за мухою, носом он ерзнул из кресла, нос выбросив, и потащился за носом на шкаф, чтобы дверцы расхлопнуть,

задержаться и затрястись, жилой рукой вкопаться в набитые полки, выщипывать томики.

Кучечку томиков вынес, насыпал на кресло, с надтуженным и выбухающим лбом перед креслом на корточки сел и расшлепывал томики, нос прижимая к страницам, исписанным формулкой, формулки втягивал носом, как пег, выдыхал их страдальчески:

— «Нет-с!»

И над ним, с легким топом, махая беспомощно ручками, ротик раскрывши, малютка металась: казалась в сердцах!

Вот, коленом треща он поднялся с колен; дернул плечи лопаткой; очки затевшие снял, безочковой заплатой тенясь; потащился, кряхтя, за платком, косолапо закинувши руку за фалду; и дул на очки, протирая их, сисяя вспомнить, куда делись листики:

— «Кто-то здесь лазил и листики тибрил?»

Напомним: по этим местам уже осенью рыскал за листиками Никанор.

В коридоре затопали: дзикали шлюрами; на построперенькой ряби обой, как маз, ркою, дергая б, тень Пшвженанского силилась носом вынырнуть в кабинет; а за этою тенью на ряби обой теневой головой Ездуневич выглядывал.

Тут Серафима — на цыпочки к двери, присев за углом, ухом — в дверь; глазки — два колеса; ротик — «о»; пальчик — к роту.

Слушала.

— «Он — сумасшедший: вполне» — петушком горлосила, хрипя, голова теневая.

— «А вы — почем знаете?» — вздернулся под потолок теневой капитан; и оттуда, сломавшись, сгорбаться, висел головой, пятипалой и черной качая рукою:

— «Юродствует ол: без дымов нет огней... А тут, — вы захотели бы к нам, и увидели б: папки, dossye, отношения дипломатические».

Тень под тенью, присевши, проткнула — тень тень — теневым, указательным пальцем; и тени, сваялися в четверорукое, четвероногое брюхо, которое прыгало.

У Серафимы же личико — в пятнах; из глаз — точно молнии; мягкие волосы, мягкая кожа; ступала, мяукала, — мягко; а тут стала —

— стала негодующая!

Кутачишки зажав, собиралась на них с криком прыгнуть: — «Как смеете вы!»

Раздалось иготание:

— «Братцы, — да бросьте; я знаю отца; это — этот кинталец, Цецерко; он, bestия, — где-нибудь, через кого-нибудь, — дергает; и вы его расстреляли!»

И тут нос Ездуневича, в дверь заглянувши, отпрянул; дзан, топ; и китайские тени, как стая ворон, заметались в обоях: слизнулись.

Ей стало ясно, что — слежка, до... дома, до... сына, до... до...; стало ясно, зачем он намерен в саду человечка спугнул; он давно это видит, а ей он — ни звука: ее бережет.

И руками всплеснула, присев; и как солнечный луч в ней прошелся, из тучи блеснул.

А профессор, рукой хватаясь за чернолапое кресло, склонил седину: —

— как вояка, бросавший под грохоты пушек свой полк и задымленное пушками поле, попавший опять на то место, не видит полков: видит поле пустое; и тычется пальцами в кочки и шамкает: «Здесь был вот этот убит, а там — тот!» И почувствует вдруг, поправляя глазную повязку: проколотый глаз — студенистою влагою на обожженную, краснобагровую щеку протек: —

— так и он: —

— из-за

кресла осматривал поле борьбы, где гранаты дрезжали и пули выщипывали.

Вдруг — от ужаса стал желтоглазый он: —

— кто-то растерзанный,

дико-косматый, в халате подпрыгивает, яркой, крашеной прядью мотает, вцепившись зубищами в тряпку, которою заткнули оскаленный и окровавленный рот.

Щеки вспыхнули; шрам почернел; борода из серебряной стала зеленой, когда он, присевши, распластывая на ковре свои черные фалды, вдруг выбросил руку вперед с пальцем, загнутым вверх; и к ней повернувшись оскалом страдальческим, пальцем показывал: —

кто-то —

— сидит: п.верху!

В двери бросив заплату и ставшие двумя клыками усы,—за  
усами он ринулся из грохотающих ног, как боча юк, катимый  
по бревнам,—стремительно: в двери.

И—

—ту-ту-ту-ту—

—грохотало откуда-то с лестницы—выше и выше,  
туда,—

—куда палец показывал!

## КТО-ТО СИДЕЛ НАВЕРХУ

Он в пестрявую комнатку Нали влетел.

Но ее переклеили: черная лапа сцепилась с оранжевой лентой  
на желтом на всем, источающем крапные крапы, узорик обон,—  
на котором—то сное—наглое кресло, блистая пропором пружины  
на дверь, за бока схватясь ручками и приседая козлиными нож-  
ками к полу,—свисает, как зобом, морщинистым, желтым чехлом,  
уронивши со спинки штанину верблюжьего цвета; в углу толпа  
перетопанных туфель; везде—табаки, соры, дряни; корнет-а-пи-  
стон золотой: блещет в тусклы

Не армейщину нюхать, не Надину жизнь вспоминать прибежал  
он сюда, а стоять перед этим вот креслом, которое вдруг из-за пыр-  
снутых книг, обнаруживших черный пролом в кабинете,—попер-  
ло в пролом, чтобы, вспомнив, к нему прибежал,—

—и увидел—

—сидящего в кресле:—

—вот эдак вот!

Бросился к креслу—вот эдак вот, чтобы, им грохнув, поста-  
вить—вот эдак вот.

Стал перед креслом, скривляясь ногами,—вот эдак вот; и на  
кровать побойше крапов и лап появился трехрогий космой, поды-  
маясь усами на бред, с задрожавшей рукой, пригипавшей к кри-  
чащему сердцу.

Ладонь, как паук пятилапый, запырала пальцами над пусто-  
тою, увиденной не пустотою, а тем,—

—кто в сиденье ввалился в  
рыжавом, промокнуем халате; прикрученный за ру-  
ки, смуглыми скулами пучился в красную лужу,

куда еще канало что-то; и—ямою красной, не  
глазом, качался

—над телом, таким же кровавым,  
как он:—

—труп под трупом ве-  
ревку распутывал трупу!

Труп—тринку, которой заклепан был рот, перекусывал.

Став сумасшедшим, профессор воссел в пустоте того кресла,  
схватился за ручки и прыгая пальцами; от бороды отделились усы,  
точно рыбы; и вновь утонули в безротой своей седине, под ви-  
рапаным в щеку, чернеющим шрамом; он видел и странно живые  
глаза под собой, и того, кто лобзал ему руку с оскаленным за-  
лизгом:

—«Ты—победил».

Этот труп—

—и профессор себя им  
представил—

—восстал над другим, им представлен-  
ным трупом;—

—профессор восстал,

и закинул чело, с протопыренными, точно строгие роги, сединами;  
пальцем потряс и пятою растопался:

—«На основании какого закона копался ты в глазе моем?»

И труп, ползающий, трупу—с завизгом:

—«Ты стал путем, выходящим за грани; отныне твое—мне  
возможно; пусти меня в кресло; дай участь твою!»

И руками прожнутыми умолят, чтобы мучимый—мучил.

Профессор же, руки под горлом скрестив, уронил на них бо-  
роду; и две морщины, скрестясь, с чела, как мечи, поднялись и  
чернели висящей угрозой, измерявая, какой мерою мерить

И прямая спина, провисавшая фалдами к полу, сломалась у шеи,  
когда он, насулясь, увидел свечу на столе; тогда нос, как крыльям,  
бровями взлетел, отделяясь от лба, задрожал, схватил свечку, ко-  
торую видел зажженной, чтоб ей размахнуться и пламя всадить  
в остекленный, как у судака,—этот глаз.

Но—

—заплакал корнет-а-пистон; барабанными палками забалала-  
кали балки, заухали трубами—в таяк отдаленный, и  
шавяк сапогов, набухающих в снег:

—«Расправа—неправда!»

Не разразился, утратив усы в бороде и морщины свои потеряв, потому что —

и Апель, став Капном, Капиз, ставшего Апелью, тою же мерой убиавши, — убийству подвергнется; видел очажии души, как два тела, себя догоняя по кругу, бежали друг к другу сюда, чтобы здесь, за порогом, — пройти: друг чрез друга!

Как солнце, играющее на зоре, глаз слезою разыгрывался: — «Я и ты!»

Свои руки развел точно поп, на алтарь выходящий; качаясь лопатками, дважды шагнув поясницею, выбросил над головою скрещенные руки; и после скрещеньем ладоней слетел, чтобы видеть, сквозь пальцы им воображенную голову, и чтобы глаз ослепительный головноного чудница, —

— глаз осьминога, слезой овлажнялся, —

— стал человеческий глаз!

Свечка выпала.

— «Я — это ты!»

А слеза, подрожав на щеке, самоцветом скатилась в провалы телес раздвигавшихся; не балалакали балки; и провопнявшие камни молчали; но таяк голосов еле слышался: —

— где-то отряд пехотинцев прошел.

За спиною стоял его сын, с задрожавшею челюстью, чувствуя, как разделялись составы его, —

— потому что —

— родной, одноглазый старик сумасшедший — нал над местом собственных пыток.

## ВЗДИРАЛСЯ УСАМИ ПРОФЕССОР ИВАН

— «Теперь мы прочтем обратную сторону этой страницы» шептался, вздираясь усами, профессор, —

— Иван!

Потащился, лопатками дергая голову и помянутой бросая сту-

чавшие ноги, — под стену, откуда из красного крапа и желтых, и черных схватившихся лап его звезды рождающий глаз перенесся на блесках, — увидеть.

Увиделось: —

— он, —

— над столом вычисляет какое-то «пси», угрожающее городам, паровозным котлам, броненосным эскадрам; довычислил: осуществилась возможность разгрома, — котлов, городов, броненосных эскадр.

Ну, а — он?

Добродушно надчесывал спину; и думал о Неленьке:

— «Пси!.. Плюс...»

— «Скажите, пожалуйста!..»

— «Кси!»

Как? И — только? —

— Еще; —

— подмаршевывал, перетирая ладони: — «Так-с, суларь мой, — так-с: переверт всего дела военного!» Было ли сказано? Было! —

— Так был он убийцею — него-родов, паровозных котлов, броненосных эскадр — человек.

Колено свое положив на колено, хватал двумя пальцами крашеный клочок бороды, похотывал тихо в усы над —

— детьми, над еще не рожденными, но обреченными в ряде веков разрываться под действием «пси»: —

— год тринадцатый: осень!

— «Так где ж была совесть?»

Как не наложил на себя он руки?

Лоб, как камень, дробящий пустые скорлупы, раздвигал — собственный лоб, согреванием мозга грозя... задрожавшему Мите, который —

— схватился за лоб, отступая с порога: за дверь.

— «Кто ж преступнее?»

Носом стена, схватясь руками за голову, вздернувши плечи, качнулся отчаянно, наискось, сняв с головы свою голову, точно

<sup>1</sup> См. «Московский чудак». Глава первая (I-го тома)



стеклянный футляр, его шваркнул о пол, чтоб — разбилась она: руки сжав, стиснув пальцы, качался своею бородой над раскоянным прошлым;

— «Убийцы — мы: все!»

Митя вздрогнул, схватился за голову, всхлипывал под проростающий голос профессора:

— «На основании какого ж закона?»

— «Механики!» — путался «тот», кем он был.

— «Так с механикой — можно; а так, как тебя убивали — нельзя? Скопом — можно, поодиночке — нельзя?»

И себя переживши убийцей, склонясь над убийцей своим, его видя у ног, локоть свой на ладонь, чтоб в другую ударился лоб, точно камень.

Он — всхлипывал.

Грохнулся в пол головой:

— «Удар — дар!»

Из стеклянного глаза, как у судака, слеза капнула в слезы визжавшего плачем преступника: слезы смешались.

Трупы не плачут:

— «Я — ты!»

— «Мы — есьмы!»

— «Победили!»

...  
— «Отец!»

Митя ринулся в двери, и став на колени, оттащивал от отскобленных следов красной лужи растрепанного старика, захватившего пальцами кончик штанины верблюжьего цвета, которую он сорвал с кресла и слезы свои отирал.

Но увидевши сына, — отдернулся, усом всторчался; с кряхтением чистя колени, поднялся; штаны — отшвырнул; щеки — вспыхнули; пальцы вонзив в подбородок, разгреб ими бороду; и не усы, а два белых клока, как клыки, отделяясь от седины разделившихся, вдруг забодались на сына, а зубы блеснули из-за бороды его, как электрический свет:

— «Сколько времени жил я с тобою: и ты не узнал меня, Дмитрий!»

И глаз закатил мордотрещину сыну

— «Отец!»

— «Никогда не любил ты меня!»

Руку выбросил, точно с мечом, отсекающим руку, и ею с размаху

— «Мне осталось недолго с тобой говорить!»  
И слезу кулаком отеревши, прошел мимо сына.

...

А Митя стоял пред стеной, как прозревший на... пол только мига: —

— разъялись стены в стенах.

Но — задвинулись стены: и пережитое в полмиге ничем не мигнуло ему в оставшемся кончике бедной, еще до рожденья загубленной жизни его: —

— через несколько месяцев  
будет он —

— труп!

## СОШЕЛ В ПЫЛЬ

Серафима ждала в кабинете; профессора — не было; грохот раздался — из-за потолка: с того места, куда он показывал; тотчас, — столовая грохотом стульев ответила; серую ящеркой прошлестела профессорша, точно сухую травю, — по лестнице; прошлестела обратно.

К ней выскочили: Задопатов, корнет, капитан; Митя — дернул наверх; а она в Серафиму вцепилась.

— «Скажите, — всегда он?»

— «Что?»

— «Так безобразничает?»

Задопатов не выдержал:

— «Шер! — не то слово!»

Лорнеткой грозила туда, куда палец показывал:

— «Вы посмотрите-ка!»

И Серафиму тащила с собою наверх.

Задопатов тащился им в спины; за ним потащились корнет с капитаном чириканьем шпор; в темноту они тыкались пальцами, точно пугая друг друга.

Но Митя, заухавши сверху, ладонями рутнул на всех:

— «Оссади!»

— «Оссс...»

И опять сиганул сапогом кверху; и каблуком, нало лбами взлетевшим, как камень, пронесся во тьму, у которой, казалось, — нет дна.

А все прочие —

— топ-топ-топ-топ —

— покатились —

— по лестнице:

в серые пыли:

— «Шу!»

— «Шу!»

Точно стая мышей.

Забацало сверху: подсвечниками; каблучки, как каменья, грозили свалиться по лестнице; всхлипывал кто-то: и гудом, и дудом.

Забацали бубнами; ухнули трубами; брякали, рывкали:

— «Рраз!»

— «Прррр-аво!»

— «Аррррш!»

Барабанными палками маршировали папахи: под окнами; дружно шинели прошли безголовые:

— «Трра-та-та-та!»

Ездуневич, просунувши голову в тьму, и от этого видевшийся безголовым, как конь боевой, из ничто вострил ухо на трахнувший марш: —

— «Под двуглавым орлом!»

И как конь боевой, забивавший копытом, он стал подчиркивать шпорой; задергался ухом, чтоб дернуть к окошку. Прошли пехотинцы.

И голос профессора, рывкая, грохался над потолком.

— «Говорите, что — тих» — верещал из теней капитан Серафиме — «а может быть он представляется?»

Туг Серафима не выдержала; свои ушки заткнула она, убежав в кабинет, чтоб кататься и мяться головкой, не видя, не слыша. Услышала: рывом отпрянули.

«Он» — опускался, —

— бросая торжественно правую руку над космами предавшего животом Задопятова; левую руку он выкинул над темнотою, в которой корнет с капитаном, сцепясь руками, ногами друг другу показы-

вали на его восклицательный вид, что он —

— в памяти!

Ей же казалось: не из-под крыши спускается он, а из вогнутой бездны.

Со строгою твердостью шел, разговаривая сам с собой, как конец с бесконечностью, чтобы отчет ему дали: зачем жизнь — зигзаг вверх пятнами в отверстую —

— даже не бездну, а пыль?

Голова его, вовсе не нашей планетной системы, кусалась, как пес.

## И ГЛАЗА ОТВЕЛА, ЧТОБ НЕ ВИДЕТЬ

Расставшись с собою самим, он прошел мимо них в кабинет, чтобы томик коричневый взять.

Еще раз —

— прокривлялась желтявым прокрасом

та черная тень человечка —

— на фоне обоя.

И свой взгляд перевел от нее на присутствующих, будто сделал открытие.

Встали подробности «случая»: рпортовали ему деловито и сухо: делец, —

— фон-Мандро, чернобакый, с сигарой в зубах предлагает четыреста тысяч, которые он отклоняет; Мандро он наносит визит; он чудачик с какой-то девчонкой; в передней кота надевает на голову, с шапкою спутав кота.

Так Мандро! — ддр-дрроо-дорр!

Барабанил он пальцем по креслу:

— «Права человека-с!»

— «Да, да-с!»

Все — летит, пролетает, как облако в облако; зрячие слепнут; слепцы прозревают.

Он вспомнил теперь лишь, что ехал тогда он в Москву, чтобы след уничтожить открытия: он — не преступник; и тут показалось ему, что все тяжести, перевалась через плечи, — свалились за плечи.

1 Ремизов-цензур 3-й главы «Московский чудак».

Лицо изменилось его ярким черчем морщинных растресков; и стало оно точно выбитое из столетий резцом Микель-Анджело; и борода, и усы,—точно слиток серебряный; а два вихра, как два каменных рога, от каменного, высекаемого из столетий, чела, протопырились справа и слева: и строго, и благостно; взгляд его... — тут Серафима глаза отвела, чтоб — не видеть...

Но взгляд этот — лет улетающей звездочки. Скрывши усами свой рот, он пошел деловито и сухо в столовую в сопровождении сына, жены, Серафимы и двух офицеров, как будто добился он цели; и не было верха.

Все сели: кривилось в глазах, потому что сидели, тусклея,— кривые пред ним. Он не сел.

### В ЧЕМ ЖЕ ИСТИНА-ТО?

Он на сына смотрел, бросив руки по швам: наступила неловкая пауза.

— «Так ты — на фронт? Ну, а — я-с...»

И загнулся; лицо онемело, как маска, с покойника снятая; взгляд прокричал о мирах неизвестных.

И Митя потупился.

Он же — ладонями:

— «Все это — рухнет!»

— «Так вы против нас?»

Все попадали в обморок.

— «Вы» — провизжал капитан — «против цивилизации?»

— «Ты — против мира всего?» — провизжала профессорша.

Выбросил грудь:

— «Не всего, а — се-го!»

Серафима подпрыгнула.

Щурясь, профессорша из-за лорнетки кривилась: всем, всем.

— «Можно думать, — перечить пришел?»

Задоплатов глаза с тихим ужасом выкатил:

— «С неба свалился ты?»

Вышло — «из желтого дома свалился».

Тогда Серафима движением ручки, протянутой к муфте, сказала ему, что — пора: больше делать здесь нечего.

— «Нет, — не свалился я, а, как пришел, так уйду, унося эту правду с собою».

И злобою перекопилось лицо капитана:

— «Вам правда — известна?»

Он шпорою шелкнул, повесясь бирюшкой; в пол:

— «Ну, я вас поздравляю!..»

Откинулся, в плечи уйдя и трясаясь жестыбантом, пиджаками, пальцами.

— «Мне» — головою, как гусеница над листом, он взлетел; и — затрясся, как множеством лапочек:

— «Мне, — откровенно скажу, — неизвестна: скажите, пожалуйста, — в чем эта правда?»

Как цветок невидимый нюхая носом, профессор уставился на Серафиму:

— «О правде не спорят».

И радостный ротик ее не сказал, о чем сердце забилося:

— «За правдою следуют».

Он же ответил:

— «Пойдем».

К коридору ударами ног перетопыть стал косолапо и грохотко, он, как всходя к перевалу, откуда ландшафты далекие видятся: маршем казался простроенный шаг.

И за ним, мимо всех, — Серафима; за нею — все прочие

Только Никита Васильич из кресла давился без воздуха, рот разорвав, волоокое выпучив око: вдруг — быстренький, маленький, дряхленький, — кинулся, перегоняя их всех и себе помогая короткими ручками в беге, — из кресла, в переднюю: не для того, чтоб поддать под крестец своей пухлой коленкою другу, которого он выживал, а чтоб шубу сорвать и стоять с ней сплошным вопио-сительным знаком, мигая из меха.

Профессор лавнул под микитку его кулаком, проревевши, как слон, — с добродушием:

— «Ну, брат, — отдай, чего доброго, шубу мою».

В шубу влез.

Постояли они, перетаптываясь, будто не было лег; были отроки —

— Ваня и Кита! —

— И око какое, — огромное, выпуклое, — стало синим, как синий подснежник цветок...

Цепь зацакала; дверь отвалилась, как камень могильный: их выпустить; и — завалиться.

Враги —

— человеку —

— домашние.

## ВОГНУТЫЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Вогнутая глубина кособоко спускалась над крышами; синяя вся, — издрожалась она самоцветными звёздами; звёзды ходили, распялись лучами:

— «Профессор», — просительно сморщился носик — «зайдемте ко мне, на минуточку: тут, — по дороге».

— «Идем: хорошо...»

Промилел ее ротик родной.

— «Но сперва» — он схватил ее за руку — «я покажу вам...!»

Свернувши на дворик, провел мимо дров, вдоль забора гвоздистого; свет из оконца обещивал насты, которые дергались искрами; из-за забора же инеями обвисали деревья.

Калитку расхлопнул; и ботиками провалясь, зацепляясь мехами за жерди, но не отпуская руки, притащил под террасу; открытое место висело над ними; над крышею пал Млечный Путь; и печная труба протыкала его.

Здесь он бросил ее и прошел на террасу, покрытую снегом; и в стекла заделанной двери, в которую с этого ж места когда-то вбежал, еле помня себя, — он загля-  
дывал; —

— да: —

— от него шарахнулась толпа: он был взят в свои бреды<sup>1</sup>.

Вздохнул, бороною наставясь на синецветную звездочку; красненьким вспыхом мигнула она, ставши беленькой, с нежнобирюзовеньким отсверком.

Проблески вспыхнули: мылили голову в ванне и били массажами тело его, когда он, прокричавши, впервые очнулся: в больнице.

Сплошным самоцветом дышала вселенная.

Дальше: —

— малютка, —

— звезда!

<sup>1</sup> Профессор, измученный Мандро, бежал в сад в июле 1914 года, в это время, узнав о несчастии в доме, вломился в квартиру обитатели переулка. (См. «Москва под ударом». Конец 6-й главы.)

Звездоглядное небо!

Как голос из воздуха: крупные звезды в крупе бриллиантовой пырсают в черных пустотах, как в бархатах млечные блески неясны; нет места, где выблеск не вспыхивал бы; и висит между ними — звездило сапфирное!

Он поманил Серафиму к себе.

Забарахтавшись в снегу и муфтой махаясь, протаптывалась через снег, — под окно, на террасу, где он ей показывал, как из-за мира он смотрит на мир, где, при жизни под камнями зарытые, с тенью профессорши тень Задопятава среди теней, странно бьющихся, — быются в испуге: за окнами.

Он — тот испуг!

— «Заключенные в камень, — не видят звезды!»

Поглядела на них синечерная впадина: я — пред тобою, с тобою; не плачь, или — плачь: плачем вместе!

И капнула, как самоцветной слезою, — звездою.

Ея руку пожал; и — сказал:

— «Ну — пойдем!»

Но едва повернулись и стали спускаться с террасы, зажмурившись от самородного блеска, — под окнами тень от них: бросилась. Он Серафиме, свои же слова вспоминая, — на тень показал:

— «Я в саду говорил, что она только — хмарь; было время: я — тень от пяты, — содрогаясь от страха, тащился по жизни; теперь, сообразно с законами оптики, будем сбрасывать мы эту тень».

И повел от террасы из вырину, над которой когда-то и он, повинувшись инстинкту животного, кровью кропя на бурьянники, — околевал<sup>1</sup>.

Пальцем ткнулся под ноги себе:

— «Вы запомните: здесь — вы стоите...»

— «Да где ж я стою?»

Утаив от нее свою боль, он пролаял:

— «Могила — пса: Томочки...»<sup>2</sup>

И удивлялась она, почему так торжественен он.

А он повесть себя самого же себе самому — пересказывал:

— «Стал человеком!»

И вздернули голову.

<sup>1</sup> Смотри «Москва под ударом». Глава шестая.

<sup>2</sup> В этом месте зарыли понтера Томку. (См. «Московский чужак». Глава вторая.)

Звезды шатались лучами; от мрака и выблисков в ухе, как взвизгнет: стрижи над крестом колоколенным так пролетают, как над головой эти дико визжащие звезды; —

— казалось ему, что за звезды пророс: головой.

И глаза опустил на нее, ей любуюся: мордочку вздернув, глядела на звезды, как ласточка; шейка да носик: ни глазок, ни лобика!

— «Жизнь моя!»

И разведя свои руки, и кланяясь жизни меж ними, следил за ней глазом, который покоился в собственных блесках, как будто в слезах; свои руки локтями сведя, раскрыл пальцы и медленно подымал, чтобы в воздух отдать; наблюдал с удивлением, как принимала она его жизнь, сжавши пальцы свои под губами, склоняясь под отданное.

А летучие ужасы мира стремительно вниз головою низринулись — над головою не нашей планетной системы, — чтобы во-  
дьяк был возложен венком семицветных лучей!

И вселенная звездная стала по грудь: человек — выше звезд!

То снежиночки из набежавшего облака: падали; видел: под ботиком ползают, как бриллиантовые насекомые.

Отдал ей руку:

«Ведите меня: к своей матери...»

И — слова матери вспомнились: ей:

— «Нет любее, когда люди людям становятся любя!»

Пырснь радуги от зарастающей звездами муфты; и — буйной походкой пошла —

— от восторга!

И опередила себя самое — оттого, что старалась со всем, что ни есть, сослупать по снежку, к звездам выбросив личико, — камень сквоаной, турмалин розоватый!

## УПИСЫВАЛ МАННУЮ КАШУ

Передняя тесная — в полутенях; и — ударилось в ухо:

— «Так чч-тот?»

Дело ясное, что — Никанор.

И в цветочки, — голубенький с аленьким, всею клокастою кучею меха профессор просунулся, точно медведь, появляясь на кре-

мовом фоне обой, чтоб разглядывать, как Никанор, метнув погу на лапочки желтого кресла, рукой захвативши колено заплатанное, отчеканивал: в пар самоварный:

— «Мы — с братом, Иваном!»

Заметил клокастую шубу; и — ногу спустил; побежал из-за столика, от самоварного пара, в котором, блистая огромным очком, поднялась небольшого росточку старушка в капоте коричневой:

— «Фимочка, — ты?»

Но увидев ком меха, она уронила вязанье.

— «Брат» — с пренебрежением и недовольством воскликнул азапых Никанор.

— «А, так вот это кто?»

И старушка всплеснула руками; и тень на обоях всплеснула руками.

А «Фима», гостегивая с себя шубку, заметила, как торопился профессор свалить кучу меха на стул, чтобы, вглядчиво дернув усами, просунуться носом из двери и в кремовом фоне клокаститься белыми мишищами; нос, как верблюд бурдюки, поташил два очка.

Зашатавшись лопаткой, шатая предметы, с тяжелым притопом пошел подмаршевывать он, не сгибая колей, как под музыку; чашки дрезжали; и бюстик Тургенева, прыгнув, упал.

— «Домна - с, — в корне взять» — шопотом осведомлялся об отчестве — «Львовна-с?»

И видел: капота белясые лапочки, кресла лиловые лапочки.

— «Добро пожаловать: Фимочкин друг, — значит мой» — протянулась старушка руками, которые . взвесились... в воздух.

Профессор, не взявши руки, отвернулся и выпятил грудь, точно тачку тащил он на гору: расширивши ноздри, расставив усы и усами чеснув седину, бросил в сторону нос, угрожающим ставший; и — рывкнул огромным отчетливым чехом!

И стал — добрый нос, выразительный нос; и усы продобрели; и — руку, сломавшись, потряс.

— «Ты бы, брат, осторожнее: сге уу пробьешь» — Никанор отозвался на чох.

В юмористике слышались: боль и тревога.

— «Садитесь же».

Он, головой сев в лопатки, зашлепнулся в кресло; затрескал крахмалом; готовился слушать старушку с большим удовольствием, носом пыхтя, как динимомашинной, старушку разглядывал; и — дело ясное, — розовая-с.

Точно сладкую манную кашу уписывал он

## СТОГОЛОВЕ ЧУДИЩЕ: ЭА

Малютка вокруг невесомаю поступью топала и забыстрела глазами и зубками.

— «Чая?»

— «Подвари».

— «Никанору Иванычу спичек?»

— «Морского печенья, профессор» — смеялась без смеха: умела затевать с ним при других свои детские игры.

Профессор, поставив два пальца свои под очки, приподнявши очки, пятит нос на старушку с достоинством, но с любопытством, казавшимся жадным, и пальцами бороду греб от усилия сообразить, как с ней быть, чем занять, и каким каламбуром упестать: серебряная-с, — говоря рационально.

Она приставала:

— «Что ж, — переезжаете?»

Брат Никанор невзначай головой от него заслонил любопытную очень-с, старушку; профессор, хватаясь за кресло, из кресла полез головой, чтобы лучше увидеть и с грохотом спрятаться: губы жуе-с!

Пристаёт!

— «Поскорее бы!»

А Никанор, закусивши усы, не ответил:

— «Так, эдак!»

Клокастым ершом на стене перепрыгивал.

Серафима усталилась в коврик: зелененький с синенькими — в шашечку:

— «Вы успокойтесь, мамуся: когда будет нужно, — поедем».

Профессор с разгрохом поднялся и носом бежал освидетельствовать:

— «Что такое-с».

— «Да клетка: скворец».

Попытался увидеть скворца: занавешена клетка

— «Что Тителевы, что Леоночка?»

На Серафиму очком Никанор: с острой искоркой.

— «Радуются переезду небось?»

Никанор, закусивши бородку, выискивал что-то:

— «У них» — увидавши коробочку спичек, зацапал ее — «своя жизнь».

Подавился:

— «Они» — губы сузо и скорбно зжались — «себе... у себя... на своем».

И вскочил он:

— «А мы» — и прошелся, — колючий, очкастый и вскипчивый — «сами с усами!»

«И будете» — не унималась старушка — «в согласии добром, ладком, а рядом поживать, назидая друг друга».

И руки сложила и вся расплывалась в цветочках, которые закувыркались на кремовом фоне: голубенький с аленьким; а Мелитиша вздыхала согласно за дверью: на дверь.

Тут профессор отвечивал в добром согласии с Домною Львовною:

— «Жреп, — говоря рационально — халдеец, Бероз, — нам свидетельствует!»

И с лукавой улыбкою:

— «Рыбоголовое чудище, Эа, — из темной пучины явилось халдеем: и — ну-с: Эа...»

Пальцы свои запустил в подбородок; и — ждал, их оглядывая; и старушка, и брат с Серафимой, и более всех Мелитиша вздыхавшая, — ждали:

— «Так — вот-с: Эа выучило землемерию и геометрии древних; и, стало быть — нас».

— «Брат, Иван» — Никанор, как морской конек дергался — «с Мафусаиловой меркой подходит к житейским вопросам».

Очками добрейше, нежнейше блеснул; тут же сделал он вид, что — начхать; и пролысый, проседый метался, вторую коробочку спичек утибривши.

И раздавался взволнованный «ох» Мелитиши взволнованной:

— «Рыбоголовое чудище!»

## СПИЧКИ-ТО

— «Спички-то, спички — отдайте: мои!» — потянулася рукой Домна Львовна за спичками.

И не увидели, как, закачавшись лопаткой, профессор на цыпочках крался, как тихий зефирник, способный взречь: нос — пырком; нос вкатился — дрожать под носами.

Как часики — тики-так — глазик!

Усы, как бандиты, готовились броситься в бой:

— «Что-с?»

— «Как-с, как-с?»

Никанор, ставши взбóчень, нáбок скосивши головку, рукою в карман: он коробочку, желтую, выбросил:

— «Нет, — не моя».

Нос профессора, точно за мухой, взвился.

И — «Эхма-с! — точно рев отдаленного мамонта

Тут из кармана на столик просыпалось десять коробочек.

— «Как-с!»

Точно шашкой, взлетевшей из ножен, профессор, подпрыгнувший носом, рубнул в потолок:

— «Таскать спички, — неррря-ше-ство!»

А Ни анор не сдавался, в карманы руками всучась.

— «Пфф-пфф-пфф!»

И с амбицией в кресло — штиблет; своим носиком, точно рапирою, он из-за кресельной спинки на брата наставился:

— «Чч-тó? Я из принципа делаю это: пфф!»

Тотчас, отъюркивая, бросил пóд ноги кресло, в которое брат опрокинулся — носом, лицом, бородой, кулаками.

— «Столетия понадобились», — бил по креслу профессор, — «чтоб навык сложился, а ты, — дело ясное!»

И выходило, что брат Никанор, нарушающий навыки, — просто отпетый мошенник.

Брат — серенькой, рябенькой фалдой вильнув, галопировал, быстро несясь вокруг стола; за ним брат, с — «нет-с, позвольте-с — я вам докажу-с», — точно шкаф, опрокинутый с лестницы, рушился; загрохотали предметы; упала, как скошенная, Домна Львовна в лиловые лапки, в пары самоварные; в клетке проснулася бурная жизнь; что-то цокало, пырскало и верещало там: скворушка! И Мелитиша отшлепала прочь ужаснувшимся валенком.

Пискнув, как мышь, и присев, Серафима его за пиджак двумя лапками сцапала и потащила обратно, как шкаф подымаемый; он же, от брата отстав, с удивлением тер подбородок, не зная, как быть и катаясь глазиком.

— «Вы что хотели сказать?» — Серафима за локоть вела Никанора из комнаты, видя, что он, бросив форсы, дрожит подбородком, пиджак перестегивая; можно б лопнуть от хохота, видя сиканье его.

Не смеялась она: не казалось смешным в нем смешнейшее; наоборот, над профессором — громко смеялась, как все, как он сам; там — избыток; тут — мука, изъян.

Надуваясь усами, зашлепнулся в кресло профессор, как пес, у которого отняли тетерева; он дрожал бородой и рукой, не внимая старушке и все порываясь, косясь на дверь, — доканать, доказать:

— «Предрассудки — не навыки!»

Вдруг, оборвав Домну Львовну, он ринулся в дверь, и взлетев кулаками, вскричал в пустоте коридорика:

— «Ты приучайся, голубчик, — к порядку, а — то...»

И вернулся к старушке: глазок беспокоился; плечи прижались к ушам: одно выше другого; крахмалы тренцали, давящие челюстью.

Зайцем казался — не псом.

Домна Львовна его наставляла:

— «Премудрость — союз...»

— «Да-с!»

— «Любви...»

— «Вот как-с?»

— «С истиной...»

Отвоевал крупный нос; задышали усы откровенною нежностью; так заблаженствовал с тихой старушкою он.

Никанор проводил до лечебницы, вспомнив традиции: с братом, Иваном, бывало, они засигают в столовой по кругу — часов эдак пять; а прислуга, пришедшая стол накрывать, их погонит: сигают они в кабинетик —

— сигають в кабинетике.

С ними шарчил, скосив шаг и толкая плечем засигавшего брата на тумбы.

## ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

Став, забыстрела невидным движеньем; казалось, что с места слетит; и докладывала, и довязывала; и расставила ноги, спиной улыбаясь; и солнечно вспыхивала:

— «Все, все к лучшему!»

Мимо неслась допаковывать что-то.

— «Ну, все!»

И стоял Галзаков; и от солнца ослепленный нос заворачивал.

Солнце бросало на светлые стены скрещенные тени ветвей; и профессор, схватясь за часы, у окошка секунды считал; за окошком ветвистый блестяк отрясал золотинки.

Профессор на блеск показал:

— «Свет со тьмою играет!»

— «Эк!»

— «Старый да малый» — слезу отирал Галзаков.

— «Да, не всутерп без них!»

И она на него повернулась; снова глаза — за окно, где тенею-щим инеем дерево веяло; веяла веером ветвь; гнулся куст белоусый; и лопалось солнце, — стеклянное солнце, слезящееся белым блеском. Отпрыгнула, точно кузнечик.

— «Шаги...»

В коридор.

И увидела: двое: —

— летит Никанор, завилявши протертым паль-тишком; с плеча — шоколадного цвета летающий шарф. Он кивочки раздаривает.

Следом —

— с натиском, с вертким притопом двух валенок, выставив бороду, спрятав лицо за очки черносиние — в полушубенке, залапив шалчонку, —

— за ним чешет —

— Тителев!

Тителев, — вытянув шею и щеки втянув, точно сетер на стойке, стал гибкою выдержкой мускулов, перемуштрованных в нервы, в пороге, как вкопанный, выпыхнув дымом из трубки, которую крепко затиснул в зубах.

И ваусаться, он спину согнул пред профессором:

— «Терентий Тителев: к вашим услугам!»

Профессор присел перед ним, руки выбросив и сотрясая хру-стальный графин; и графин, на стене отразясь, живортутной игрой передрызнулся, точно летучим алфавитом; и проиграли морщинки на лбу, —

— как далекий военный оркестр на параде —

Сухо шаркнул:

— зарю...

— «Коробкин!»

— «К нам?»

— «Да-с!»

— «Треблагое решение».

— «Да-с!»

Как клыком отделившись, усом моргнул; и сел в кресло, — к окошку; и ждал, когда тронутся.

Тителев ждал терпеливо в пороге у солнечнотенной стены,

точно в пятнах янтарного мрамора, на чемоданы покашиваясь, ожидая, когда что схватить; Серафиме казалось, что — крадется; глазом ее изучал: она юркий овалик лилового цвета.

Он статью ее любовался, когда, надевая мехастую шубку, царапаясь в воздухе носиком и отрясая браслетку, которую ясень-кий лучик на ручке ее застегнул, она топнула ножкой себе, не ему, — на ей все обнаживший в нем взгляд.

Но никто не заметил: ни легкого топа, ни легкого взгляда за окна, где наст становился сплошною блесной; в пятнах ясных, как в яблоках, выбились стены: от зыби за окнами.

Трубочный дым разлетался сапфирно и солнечно.

Уж Никанор, ухватив чемодан, в дверь торпедою вылетел: грудка — колесиком; красненький носик — торчком; блеск очков — паровозики.

Тителев, ловко рукою другой чемодан затхавиши, глазами блеснувши —

— почесся —

— в светлейшую даль коридора: по солнеч-

ным зайчикам.

Там, в отдалении: грустно не смел к ним приблизиться Тер-Препопанц, потому что боялся: в угле коридора — сидел, как в дыре, Николай Николаевич, точно тарантул, готовый подбросить под солнце свое восьмипалое брюхо.

Профессор в клоастую шубу полез.

Серафима не двинулась, но отвернулась; взглянула в окно, как там все золотеет; и скоро звездой повиснет свободное небо!

Глаза призакрылись, закрытые ручкою:

— «Сядем!»

В глазах, опускаемых в муфту, — покой.

— «Ну?»

И — встали.

И — бухнуло дверью подъездного прошлое.

— «Тронемся!»

Он нахлобучил колпак; и — заплатой пошел, припадая на правую ногу, по солнечным зайчикам, по саламандровым вспыхам; два ботника шаркало, как по светам.

Серафима же белкой, размахиваясь локоточками, вправо и влево, — бежком, мимо Тер-Препопанца, стоявшего с цветиком, но не посмевавшего цветик вручить: на подъезд.

О, какой светозарный мороз!



## ГЕРАКЛИТ

Око выпило солнце, как чарку вина; запылало, как пламенем, небо; он встал над подъездом, сребрясь бородой в светозарный мороз, разметнувшись полый меховой, приседая и падая за-спину, носом кидаясь в небо.

Он видел: в зените стоит васильковое, косное небо; под ним — земной шар — круто выгнутая в бесконечность дуга, на вершине которой —

— он встал.

Он почувствовал в это мгновенье: линейное время, история, круто ломаясь в дуге, становилось — спиральное время: и все по-неслось кувырком: все проекции будущего опрокинулись в прямо-линейное прошлое — стсветом прошлого: прошлое тронулось, перегоня себя, под углом, равным, — ясное дело, — смещению замкнутой орбиты третьего принципа — Кепплера!

Понял: отныне — никто ничего не поймет: кончен век Аристотеля ясного.

Встал — Гераклит!

Круть — и сзади, и спереди: о, как прекрасна вселенная, как темен свет!

Пятна черные!

Он поглядел в мир ветвей, белых инеев, ставших сквозным одуванчиком, — сквозь одуванное, в синие воздушы, через вселенную.

И — удивился он сеточке солнечной: на рукаве.

Борода заходила, взвеваясь белыми гребнями; бросил свои разведенные руки ладонями вверх — Галзакову, стоявшему рядом, ронявшему слезы:

— «Не всу́терпы!»

— «Не плачь, Николай!»

Рукавом пригласив его в синие воздушы, острым концом колпака махнул в ботик, как кланяясь —

— трупу упавшего мира!

Увидел ступень.

И —

— он —

— медленно стал опускаться, лицо запахнув и полами ступени обметывая.

И колпак теневой перед ним из-под ног побежал, каблуками отброшенный, как многомерного мира трехмерные мороки; громко, блистательно брякая, ерзали ярко морозные раковины; серебрянцем

заяпало солнце на блещенский снег; и — черней темноты: тени синие.

Медленно шел под деревьями — в черные бездны, снявшие светом, котиковым колпаком из-за звезд: триллионами звезд; и всклокоченно белое облако черной заплатой срезав, на розовом фоне забора означился.

Вышел туда, —

— где —

— все дернулось: белым сияющим бешенством.

## КРУТО ЛОМАЕТСЯ ОСЬ

Видел, как Серафима, уйдя в воротник, став двуглазкой, уша-стою шапкой махаясь, расхлопоталась — в опаловый пар.

— «А ремни-то?»

— «Кардонка-то!»

Тут же ее подхватив, Никанор уронил чемоданчик, трезвоня очками; прохожий, разинувши рот, обернулся; и долго следил: кто такие; а Тителев молча взмигнул на извозчиков; пальцем, как шилом, хватил:

— «Этот — вам... Этот — нам...»

Как стекло, — выпорх окон, крестов колоколенных, шпичев. С задзекавшим смехом под локоть подсаживал Тителев.

— «Эк!»

— «Осторожнее».

— «Ломкие скóльзи!»

И полость застегивал:

— «Ну-те — пошел!»

Бородой подмахнул на хрусталь голубых леденцов, от которых... —

— глаза закрывайте!

Профессор прочавкал усами:

— «Какой смышлеватый мужчина!»

— И вновь показалось: узнал.

Как —

— сияло из далей резное барокко с зеленого, склонного неба, где воздух — настой из квадратов, сияющих окнами.

Сел, чтоб из санок малютку выдавливать; радовались всelosята  
ее стародавнему солнцу; качалась так мягко в качавшихся саноч-  
ках, вздернувши носик, нежнее лиловыми скулами.

Просто, уютно качаться с ней в саночках!

— «Будет, что будет!»

Усы пошли взыгры.

Синие, желтые, красные домики, как не глядят: белоглазы.  
Но синими льдами повесился жолоб; алмазные бревна; как зер-  
кало, — камень; зеленый забор колет глаз снеготубой дрызгою.  
Подъятая лапа горит мрачно розовым пламенем.

Солнце, —

— метающий синие выпыхи,  
воздух взрезающий ободом —

— диск —

— краснорозово

выпуклилось, повалясь там за крыши; там даль холодна и плоска  
Там багровая катится вниз голова: в облака заревные.

Как зарчиво розов косяк; белый дом — уже кремовый; там  
солносады открылись.

Река, прорубь: синедь — с засыпкой борзеющих блесков, с по-  
жаром заречных земель.

Полулунок несется.

И звездочка —

— первая, —

— нудится —

— лучиком синим: скатиться над домиком.

— «Стой: здесь!»

— «Прнехали?»



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

## ПРОХОД

### ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ЯХОНТОВ

Вот таронтою к саням продрибл Никанор, принимаясь выса-  
живать в снег Серафиму, которая, точно себя перестроив, с осан-  
кою гордою, с тихим достоинством, павою вышла: и скрытно ко-  
силась на Тителева, трясоплясом слетевшего: с хитрой улыбкой.

Но тотчас, вобравши движения, встал, преклоняясь широким пле-  
чом; и с упором рукою опущенной жест пригласительный сделал:

— «Добро вам пожаловать к нам!»

А профессор споткнулся над ним, потому что морщины на лбу,  
точно стая снимавшихся крыльями птиц, удивились, спеша разра-  
зиться открытием:

— «Где я вас видел?»

Утратив усы в бороте и морщины свои потеряв, — он прошел  
под воротами, сахарным хрустом, на двор: точно рыбьей, серебря-  
ною чешуею уплющился снег.

Баба-Агния снегом тюфяк выбивала с крыльца: никого; Никанор  
с Серафимою переблеснул:

— «Не встретил!»

За чемоданом понес чемодан: к флигелечку.

Терентий же Титович, в шапке-рысине, в своей поколенной шубенке шажисто шарчил: руки — за-спину, а бородою — под небо. Показывал:

— «Вот — полюбуйтесь!»

— «Какие просторы!»

— «Владения наши: владения ваши...»

И под голубую, прозрачной сосулиной встал; и затейливо, замысловато свои рассыпал не слова, — мелочишки; так тигр в тростнике для охотника след оставляет — нарочный, ведя его к гибели.

Ей показалось: халтает глазами их речи без слов этот хитрый кощек; нахватав, как мышат, — унесет все: разглядывать!

— «Вот!»

И — увидели: бочка в снегу — брызгомет в ожерелье из яхонтов.

— «Вот!»

Среброперый занос, точно с ликом зеркальным, загривной, точно алмазным кокошником, клонится.

— «Немке, царице — не снились такие богатства».

И чуть было в спину не дернулся: радостным рывом двух рук: тотчас в задержь, как в сбрую, облекся:

— «Ледники!»

Он раскрылся дырою: и — ражая морда, Мардарий Муфлончик, оттуда вихрасто просунулась усом оранжевым.

— «Что он там делает?» — затрепетал Никанор: не живет же Мардарий в дыре ледниковой?

Терентий же Титыч профессору:

— «Вот — познакомьтесь: приятель, Мардарий!»

— «Ваш слушатель бывший» — и радостным рывом сломался поклоном Мардарий, мохрами метнув из дыры; и — опять провалился в дыре:

— «За капустой кочанной пришел».

И опять Серафима заметила радостный рыв, убиваемый задержью.

— «Любит профессора: стало быть, — знал его раньше?»

И все в ней рванулось за это к нему.

А профессор на взгорбок взошел — разглядеть под собою: домки и дворки белогорбые.

Точно дворцы —

— мелкогранные серьги с заборов слезятся:  
дрожат сребро-розово.

Животечные непереносные космосы!



Прорубь; река; лед ломают: парок.

— «В прорубях рыба стаями ходит под бл:сками».

Вечером там — золотарни, блисталища; и хризолитовая сере-  
бёрнь там — в полудень.

Профессор, коленки расставив вперед, кучей меха — назад, спрятав  
руки свои в рукава меховые и их поджимая к микитке, серебряною  
бородой рисовался отчетливо в зеленоватом, небесном сиянии, точно  
взмывая в пространстве: под вспыхнувшее, красноохлое облако,  
павшее боком лиловым; и дышит в него дымогаром вишневым:  
печная труба; кровля, с искрой, коньком стала в вогнутый купол,  
где в небе разъятое небо, запризорочиз из-за неба, — и третье,  
далекое, небо являя, — брызгуней звездою качается: нудится си-  
неньким усиком капнуть — в сожженное блеском и болями око.

— «Свет — светит!»

Как звезды, — в ушах; и как чуткие уши, откроет свои звез-  
дод:рты глазастым согласием — небо: ужб!

Он ей даль показал:

— «В свете — свет!»

И усами вздохнул, точно ветер деревьями:

— «Как светоносна: материя!»

Тителев палец свой выбросил:

— «Глядя в открытое небо, себя ощущаю я пяткой в земле:  
против неба».

— «В открытое небо — открытее видишь себя» — Серафима  
головкой качнула.

Но Тителев выбросил палец: Икавшеву.

— «В небо пойдем, мужичок, — квасу выпить? Идите, про-  
фессор», — профессору — «в дом!»

— «В дом?» — профессор. — «Идем».

Потащили профессора; и за профессором шла — под звездой:  
Серафима.

Оранжевый флигель, от синего холоду серосиреневый, вылизил  
легкие, синии линии в легком, сквозном, фиолетовом свете.

## ЦЕЦЕРКО

Вошли.

В алых лапах, в лимонных квадратах, усыпанных белой ромаш-  
кою, кубовый, темный диван; и такая же алолимонная радость на

кубовом ситчике кресел, как бы растворяемых в кубовочерных  
обоях, —

— не комнаты: космосы; —

— в кубовочерных обоях едва высту-  
пают павлиньи, алатистовишневые,  
с искрой, перья, как перья дале-  
ких кометных хвостов.

Пестроперую тканью покрыта постель; и горит, как фонарики  
яркие, многоочитая, чистая ткань занавесочек: в блеск электриче-  
ства; белая скатерть на столике; фыркает пар самоварный; печенья,  
конфеты, сыр, булочки; и репродукции с —

— Греко, Карпаччио, и  
Микель-Анджело свет-  
лою рамой светлеют со  
стен.

— «Вот сюрприз!»

— «Ах!»

— «Игрушка, — не комната!»

— «Все — Леонора Леоновна» — с кресла вскочил Никанор.  
Леоноры Леоновны — нет.

И профессор разахался

Вдруг оборвался.

Став в гордую позу и руку подняв, но глаза опустив в чубу-  
чок, с глаз сорвав очки черносиние, на-ногу павши подтопом  
и точно фехтуясь желчью волос, подаваемых, точно с тарелки,  
с ладони под зубы профессора, ярко крича, — ему Тителев бросил  
сквозь зубы:

— «Сезам, — отворись!»

Было видно, что он исплеснулся в таком-то испанском, ему,  
вероятно, не свойственном жесте, и все ж, вероятно, его двойнику  
где-то свойственном жесте и в чем-то знакомом профессору, так  
как профессор, выпучивая свое око, и точно оскатаяся, ахнув без  
аха, присел под ладонью.

Ладонями — как по коленкам зашлепает!

Друг перед другом, присев, замирали они, точно два петуха,  
собираясь носами в носы закидаться; казалось, что будет скакание  
друг перед другом сейчас петухов разъярошенных.

Но —

— «ха-ха-ха» — скалил рот до ушей, приседая до полу  
профессор.



И — руки в бока, плечом — в поднебесье, закинув над ним свою шерстную, бразилианскую бороду —

— Тителев!

— «Это же...»

Тителев вышарчил:

— «Пере...»

— «Цецерко!» — профессор рот рвал.

— «Расс»: — и Тителев вскачь перед ним: с подлетаньем ноги — носком вверх...

— «Рас-пу-ки-ер-ко!» — бил по коленям профессор.

И писк Серафимы, и крик Никанора Ивановича.

— «Киерко?»

А —

— Николай Николаевич Киерко —

— с тем же испанским аллюром пред всеми пред ними, пройдясь — вперевёрт, вперешёлк, впересвист, — замер в позе испанского гранда, как вкопанный.

Выбросив руки и выбросив бороды с рыком и с ревом — за плечи друг другу — сжимали друг друга в объятьях, в объятьях трясясь, как в борьбе; но руками обеими руки профессора скинувши с плеч, Николай Николаевич Киерко, руки руками схватил; —

и —

— направо,

— налево,

— направо —

— они —

— бородами, усами, носами,  
губами —

— отчмокались громко!

И гракал, и гавкал руками махающий брат Никанор; приседая, дугой выгибаясь и носик в коленях щема, Серафима с отчаянным писком свалилась в диван, башмачишками дергаясь.

Стул откатился; и — сдернулась скатерть; и — вспых: Никанор папиросу свою уронил на бумагу; и —

— красное пламя пожара вчернило их тени в мерцавшие стены.

Но, сгаснувши, чернолиловый морщочек, отваялся.

## ТОЧНО ФОНАРИКИ

Комната —

— в ярких, опрятно кричащих, приятно морочащих пятнах, —

— малиновых,

— палевых; —

— точно фонарики: в кубовочерные фоны дрожат, драгоценно играя!

Нет, с радости, с холоду, с блеску, — малютка, как пьяная. А Никанору высказывает все такие простые и трезвые вещи:

— «Все — к лучшему!»

И Никанор, встав на цыпочки:

— «Эдак, так!»

Нос протянувши к носам, озабоченно юркает он:

— «Видно будет: авось образуется!..»

— «Что?»

Серафима — мальчуга какой-то: привздернет с веселым прищуром смешное личишко свое: как по клавишам, пальцы порхают ее пред предметиками: расставляет предметики.

И — наставляет предметики. Здесь, — в этом месте, — любитесь и множьтесь!

С прыжками, с гримасками и с перевертами моль на ходу — «щелк-пощёлк»; на скамеечку — «прыг», чтобы яркую шторку поправить.

Мяукает песенку.

Видит: профессор, сев в кресло, сгигает усами: пред ним Николай Николаевич Кнерко, сгорбясь, взусаясь, нащелкивает лихо в линии синемалиновых ситчиков:

— «Старый товарищ, — как встретились: а?»

Вот — растиснулись пальцы; в какие то задние мысли уходит — за темные фоны обой, —

— на которых вишневые перья, как перья запевших, далеких, кометных хвостов, угрожают вселенной: космической гибелью.

«Старый товарищ» трехрогой космой — вразодран, усами — в лукавые заигры, с видом таким приседает, как будто с большим удовольствием сладкую манную кашу уписывает, потопатывая сапожиком; на цоки и дзеки икливенького, белорусского говора.

Как же-с!

Бывало, Пукиерко этот придёт; и — висит прибаутка из дыма, смешная, —

— уютная, —

— жуткая!

Кнерко ж — локтем в колено:

— «А кто бы мог думать, что эдак все кончится?»

Клином волос — в нос.

Ему Серафима, затопавши ножкой:

— «Нельзя так!»

Мотает головкой.

Профессор мотает запрыгавшим задом:

— «Какой, чорт дери, этот самый Цецерко хитряга!»

Блаженствует носом с Цецеркой-Пукиеркой.

— «Очень забавная штука — я?» — Кнерко!

Тут Серафима — на помощь к нему: плутовато похлопать глазенками и шутовато скорячиться:

— «Вы» — точно хочет сказать она видом — «в какие-то игры пускаетесь? Ну, — я готова: в разбойники?.. Что ж?»

— «Вот смелачка какая!» — ей Кнерко.

Трубкой — в профессора: мერяет он смышлеватою бровью своею какое-то, что-то: свое:

— «Эка!»

Пальцами пряжку подтяжки награнивает.

Ярко, жарко, —

— из черного морока угол, как уголь пылающий, выбросил там этажерку!

Повизгивая, мимо них, с поцелующим взором ребенка, по синеньким ситчикам — в кухню: поднос — на ладонь; локоть — в талию; носиком водит; и песню мурлыкает.

И изумрудные складочки, пырская искрой, плескуче несутся, за ней завиваясь.

## ДОН ПЕДРО

А комната бросила лан: профессор, толкаясь лопаткой, запяпывает на ходу карандашики, щипчики, ложечки, чтобы метать их над носом:

— «А что, — в корне взять, — ты, коли тебя — в корне взять?»

Кнерко, в лысинку ловко всадив тюбетейку, с притопом шарчит, переблескивая, пятя желтую бороду: плечи — торчмя; руки — за-спину.

— «Что я такое себе?»

Руки — врозь; головою махает в носки, будто видом бросает:

— «Бери, каков есмь».

«Пох» — из трубочки:

— «Спрашивал: «Кнерко, вы — социалист?» А профессорша думала: в «Искре» пишу. И — писал-с: прошу жаловаться!»

Трубкой затиснутой он докрасна закипает; и кубовобелесоватые хлопья бросает косматыми лапами, напоминая лицом императора —

— бразилианского, —

— Педро!

— «Что ж ты, Никлаланч, — войну отрицаешь?»

Профессор, как лес, с угрожающим грохом за ним вытопатывает.  
— «Да и я-с..., говоря рационально..., к тому же пришел».

Николай Николаевич взморгивает:

— «Отрицаю я — все!»

И бросается голубоватым отливом коротенькой курточки-спенсера —

— из за узориков в тени.

Профессор — за ним:

— «Говоря рационально, — правительство...»

Брат, —

— Никанор, —

— как морской конек, в ярко-лимонных квадратах, в аленьких лапочках синего ситчика, сигму завинчивая, между ними — бочком, тишменьком:

— «Эдак-так: гниль правительства!»

Легкими скаками —

— эдак-так, эдак-так, —

— вздвэръть: от них!

Перестегивает пиджачок.

Ярко-красный жилет из-за тени бросается в свет, точно тигр на тапира.

И — цок:

— «Гнилотворни — правительства, всякие: были и есть!»

А их тени на пестрых обоях летят друг сквозь друга.

Смешно Серафиме!

Мяукая, и расплеснув за собою зеленые пряди, как веер, сиреневосерую шалью, которую венецианскою шапочкою закрутила она на головке, из кухонки выбежала на — шарчащих, взъерошенных, лающих, трех мужиков.

И ей весело пырсают в ноги от пестрого коврика алые брызги азалей и синие дрызги вигвагов —

— игольчатых, кольчатых,

— как —

— перещелк колокольчиков.

## А ЭНТРОПИЯ?

— «Трудов!»

— «Э... э...»

— «Равенство».

— «Э» — иготало: в бряк «брата» и в рявки профессора:

— «Нет, брат, — шалишь, брат: системы трудов не построишь на эквивалентах!»

В лиловые лапки узориков ставила: одеколон, валерьяновы капли.

И — даяло:

— «Только-с в поправочном, — ясное дело, — коэффициенты: к валентности».

— «В несправедливости, — что ли? Э-э-э!» — на черной завесе, пестримой бирюзеньким крестиком, брякало: брюками дымного цвета.

Под тумбочку — (тумбочка в кубовых кубиках) — туфли!

На креслице — цвета расцветного переиметение веток — халат!

— «Разрезалку» — пролаяло.

— «Вот разрезаалка!»

Вложила в ладонь; и — подумала:

— «Ну, разговор, — на часы!»

А профессор, схватив разрезалку, кидался на красные капли ей, точно мечом.

Куда — борную?

И... где... —

— уборная?

— «Жизнь» — раздавалось из светлых колечек.

— «Слова-с!»

— «Не скелет рычагов, говоря рационально»; — лупил разрезалкой себе по ладони профессор, шарча от стены до стены — «жизнь — в толкающем мускуле, в силе химической».

С силой толкался.

— «А не в плечевом рычаге, — эдак-так» — Никанор заюрчил меж носами спиралью свиваемой.

— «Ты не мешай, — в корне!»

— «Мнение имею и я» — улепетывал в ряби и рдьян брат от брата, откуда шарчил (руки — за-спину) красный жилет из-под дынной завесы, в которой, как дальними пачками выстрелов, горлило горло:

— «Э... э...»

Голова закружилась: и пырсни, и пестри, и порх Никанора, и поханье трубки.

Как белочка, беглым бежком, с перевертом: рукой теневой — по теням, по носам теневым и по кубовым кубикам; переставляла предметы средь желтых горошиков, карих колечек, ковровых кругов!

И просила глазами Терентия Титыча Киерко (иль — Николай Николаича) прекратить этот спор; даже: с юным задором к нему

приступив, перетаптывалась, и смешная, и маленькая, вздернув круглую мордочку.

Где там?

В сердцах носом — в угол: казалось, что ситцы сорвет; и морщинки, как рожки, наставились с лобика в этот отчаянный лай:

— «Равномерность трудов!»

— «Параллельность равно отстоящих и равных друг другу движений!»

— «Инерция?»

— «Ну-те-с: итог?»

— «Энтропия!»

— «А Киерко цели имеет какие-то!»

Склоном лица с отворотом на руку, поставленную острым локтем на спинку, она замерла, как без чувств: в складки платья зеленого:

— «Господи!»

## ОБОВ-РАГАХ РЯВКАЛ

— «Жизнь...» — с кулаками.

— «Лишь там...» — по носам.

— «Где...» — за носом летал разрезалкой — «комплекс!»

— «Не валентность» — и за разрезалкой ноги бежали.

— «Она — в перекрестном» — крест-накрест рубил он.

— «А не в равномерном движении колес, параллельно разложенных!» — лаял из пламенных лап.

Как вертящийся гиппопотам, затолкался плечом, прирастающим к уху, —

— в «так чч-тб!»

— «Не мешай!»

Завертелись на черненьком ситце лиловые кольца из кубовых кубиков, — пырснь, на которой, хохлом, всучив руки в карманы, и носом бросаясь на пятки свои, —

— Ника :ор —

раскидывал; и — перекрикивал брата.

Но оба поперли: на Киерку!

Даже малютка присела, чтобы извизжаться: на Киерку!

— «Дзан» — пал стакан; «кок» — враскок!

— «Чорт!»

Глаза — в круговерт; в ротик — муха влетит.

— «Это — к благополучию» — Киерко.

Точно кузнец, ударяющий молотом в кузке, без грома прилепывал валенком он.

Но — схватился за грудь, чтоб ощупать конвертец: «открытие» прошелестело листками над сердцем!

Как сетер, сторожкую стойку держа, скривив рот, свой зевон подавивши, профессору выбросил спр он; разглядывал их из-за спора; ведь спор кружит голову; точно подкрадывался, притопатывая, вобрав голову в плечи, награвивая двумя пальцами в пряжку подтяжки небесного цвета, но вглядываясь из-за спора в свое мирозданье, в котором не ко мось с перьями певших комет, а огромными космами бросил седой Химияклич под бременем болей и лет свои вопли:

— «Рабочему делу — рабочее дело!»

К окну: синероды открытые выпить; о, — как полулунок несется, как звездочка искрится!

Как басовым, тяготящим, глухим, укоризненным гудом, не солнечной орбитой —

— Обов-Рагах, Бретуканский, Богруни-Бобыр, Уртукуев, Исаяя Иуя и Ассиrowa-Пситова, Римма, —

— прорывали в уши:

— «Чго делаешь, — делай скорей!»

И припомнился вечер, когда Химияклич в Лозанну чесал наутек и когда невзначай лоб о лоб с Никанором столкнулись они в коридоре, когда друг, товарищ, «Старик», — в его сердце, как в люльку младенца вложил: для рабочего дела «открытие» приобрести!

Оно выужено!

И когда б догадался «Старик», из-за бремена болей стенающий, — он усугубил стенания б, он разразился б глухим, проклинающим рывком:

— «Предатель!»

Открытие — выудить! Но — добровольно: простроенным спором; он — интеллигент с компромиссами!

— «К делу!»

Из красных квазратов и лап, притопатывая, залихватским шелчком — бросил: в кубовый угол.



# УМ, ЧТО ЖУЧИЩЕ; СИЛЕНОЧКА, ЧТО КОМАРЕНОК

— «Постойте-с!»  
Застопорил; вытянув шею:  
— «Вы спорите же с механическим материализмом!»  
Усы у профессора сделали:  
— «Ась?»  
— «Нé по адресу!»  
Замысловато словами забил:  
— «Энтропия<sup>1</sup> — понятие не социальное!»  
В синюю синь притоптывал валенком:  
— «Ваша материя есть переменное разных условий, а вовсе не вещь!»  
И предметы дрожали, а пятка не шлепала:  
— «В качестве этом она есть — ничто же!»  
Подбросились руки к небесного цвета подтяжкам:  
— «Не ваша материя — наша материя».  
Между разрывами дыма оскалился:  
— «Наша — реальна: «в себе»; ваша — в зубы буржую идею».  
Профессор боднулся усами:  
— «Лоренц»<sup>2</sup>.  
— «Он — механик».  
— «Максвелл».  
— «То же самое...»  
— «Прежде всего-с — мировые ученые-с!»  
— «Не диалектики».  
— «Факты науки, — позвольте-с!»  
— «Без логики — нуль; ну-те; механицисты сидят на бобах, подаваемых идеалистами; с ними материя в прятки играет».  
— «По-вашему нет энтропии?» — манжетками, как кастаньетами, щелкал из света на тьму Никанор.  
Из расплещенных вееров Кнерко голову — набок; а руки — разбросом:  
— «Максвелл<sup>3</sup>, ваш механик» — с поклоном хохочущим — «к чортовой матери слал энтропию».  
Из кубовых дымов жилетом малиновым в рукоплескание красочных пятен он бросился:

<sup>1</sup> Числовое отношение, показывающее на рост рассеяния энергии  
<sup>2</sup> Лоренц, Максвелл — физики.

— «Демончик эдакий-де сортирует молекулы; теплая, — щелк: есть, попалась; холодная — в нуль абсолютный лупи; эдак демончик, с рожками, копнит энергии где-то: буржуй!»

— «Это ж» — взлаял профессор — «простой парадокс!»  
— «К парадоксу тогда прибегают, когда диалектики нет: просто гиль!»

Серафиме же весело: —

— демончик —

— с рожками!

И приседавая на юбки, плеснувшие в пол, завизжала, забила ладошками в кольца лиловые; прыгала в юбке, летающей кругом на кубовых кубиках, в желтых пепелинах.

И Николай Николаевич ей:

— «Перевертыш какой!»

Там-то, там-то —

— Иван, брат, оттаскивал брата от Кнерки; сам лез на Кнерку; брат, Никанор, — не пускал; а сам — лез!

— «Диалектика?» — носом запрашивали возбужденные братья.

— «Закон диалектики» — рвался профессор — «утоплен под градусом поправок, в которых утоплен закон».

— «Всякий?»

— «Всякий», — и носом показывал брату кулак:

— «Ты не суйся».

— «Не суйся ты сам».

Дорвались-таки, тыча носы свои в Кнерку:

— «План в социализме хорош».

— «Плохо то, что...»

— «Он план...»

— «Не мешай...»

— «Брат, Иван, не дает говорить!»

— «Плохо то, что он план, изживаемый в декаллинах поправочных...»

— «Эдак, так-эдак...»

— «Козф...»

— «Фициентах!»

— «Коз...»

— «Козффи...»

— «Не мешай: девятьсот переменных биений струи, а не среднее их — это дознано в гидродинамике!»

Кнерко:

— «Эк, крикуны» — к Серафиме.

К профессору:

— «Логика строя понятий подобного рода, вселенная, ей конструированная, и жупелы, в ней содержащиеся с энтропией, вальентностью, даже со всеми поправками и возражениями к ним, — в круге диалектических, ну-с, антиномий».

— «А данность природы?»

— «Она обусловлена...»

— «Как-с? И — материя?»

— «Да-с: социальная данностью; молекулярная данность — вторая, не первая данность, что значит: зависимость в своем строе от диалектических, ну-те, законов; вне их она только надстройка механики — раз; буржуазии, этой механикой быющей по рылу рабочими, поршнями и рычагами, отлупит рабочего этой «материей»; дело — с концом, потому что его не отлупят за вто: материей этой; вот он и кричит: «Нет материи». Идеалист! Растит брюхо! А тощий, голодный, рабочий, которого лупят материей, — глот ее знает, весьма: в синяках! Без материи, — ну-те-ка, — нашей, не вашей, — действительной, вещной, «в себе», все уделы атомных материй стать — скрытою силой Ньютона: утибренной быть миллиардером; скрытые силы — проценты; иль сделаться мячиком деонизмом Декарта; оторванный от диалектики, он у Лоренцов под выстрелом Бора — в пустое ничто превратился; пора же понять, что в семнадцатом — ну-те — столетии механицизм метафизикою порождался для ради спасенья теизма и мистики от эмпи изма; попами он высижен; что бы ни думали вы, простачи, независимости у науки и нет, и не может быть!»

Варуг к Серафиме:

— «Что скажет критический критик? Визжит? Разложиться успела: в чулане цветочную устроить».

Рукой на профессора:

— «Дюже кричит: его к чаю тащить!»

Как гиппопотама пыхтящего, — приволокли; усадили; обтерли усы; и он, став простецом длинноусым, весьма удивлялся: усами:

— «Прекрасная-с комната!»

Глазиком на Серафиму:

— «Мне каплю бы в глаз: плохо вижу».

Коснулась волос; и — погладила.

— «Эк, набалуется» — Киерко ей — «мне его».

Улыбнулась в колени себе:

— «Не беда: не баловать».

— «И то!»

И профессора хлопнул в колено он:

— «Ум-то — научише; силеночка, что комаренок; а сила-то, брат, закон ломит; и даже — поправки; твоя математика — шажки и мати тебе».

Серафима с досадой мотнула головкою; мальчик — на ротик; и лобиком сделала: «Ш у!»

— «Ну, — не буду, не буду!»

Она с раздражительной скрытностью тискала скатерть, не глядя на них; ей казалось, что, чем он небрежнее, чем более щедр на слова, тем скупер: хитреш, не проронит полушки ненужного слова: все в дело; и — властвовать любит.

И тут, невзначай, как волосик, сыпая с себя взгляд Чилиноро, который, как лев с бороною, шел на нее из угла:

— «Не люблю себе всякой доброты. Тителевы, — так и все — злые, острые, преблагородные люди; там, эдак!»

И — вдруг:

— «Не подумайте, что я — так чч-то: против дружка, — так чч-то — Николая Терентича: братом Иваном, — Терентия, то есть!»

Она и не думала, но понимала, что здесь, в этом доме, магнитная сила, влекущая душу профессора к силе устоя, неведомой ей; и боялась она:

— «Вы-то чем озабочены?»

— «Я? Да — нисколько!»

Как кляча, пустившаяся куря-галопом, он дернулся: скоком:

— «Как видите, — я тут себе: околачиваюсь!»

Варвар, заидал: — окурок в цветочные ситцы с дрожжом ищеточка, доизил; да и — ахнул: на Киерку.

## У НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА СТОРОЖЕНКО

— «Да везь же.. мы!»

Киерко в зубы: адил запыхавшую трубочку:

— «Как же-с!»

— «Встречались?»

— «Встречались...»

Тянулся на ситчик за белой ромашкою, точно ее собирався сорвать:

— «У... у...?»

В отсверк стенных переверченных вееров — Кнерко выфукнул:

— «У Николай Ильича Стороженко».

Горошину желтую с креслица снял.

Никанору припомнилось, —

— как анекдотик подносит Владимир Евграфыч Ермилов, как Фриче, тогда еще юный, серьезнеет; бухает с бухнувшим Янкулом спором профессор Бугаев; сидит Самохвасов; —

— не лысенький Кнерко с Дмитрием, ну-те Иванычем Курским; —

— покуривает!

— «А как здравствует Дмитрий Иванович?»

— «Дмитрий Иванович?»

Кнерко — в цыпочки:

— «Дмитрий Иванович...»

Пал на носки и фермату носками поставил:

— «Да—здравствует!»

Перевернулся, пал в кресле, на локти, просунув профессору бороду в рот, увидав, что широкоусый простец просит жуткой «Цецеркиной», шуточки:

— «В шахматы?»

— «Да-с!»

— «Со мной сядешь? Попрежнему?»

— «Да-с!»

Наблюдательность с учетверенною силою, как кодаками, н:щелкивала свои снимки.

— «Простите, профессор, за «ты»: оно — с радости; сколько воды утекло; эх, — твоя борода-седина: бородастей раскольника».

— «Да-с!»

— «Эк, — моя».

Лихо вытянул клин бороды, своей собственной:

— «А? Бородой в люди вышел: косить ее можно».

— «Да-с!»

— «Желтою стала: из русой!»

— «Как-с?»

— «Перекисю водорода ее обработал».

— «Ну вот-с!»

— «Незаконный: скрываюсь я».

— «Да-с!»

— «Оттого и в очках приходил».

Наблюдательность — щелкала; скрытые мысли: о люке, Лозанне, Леоночке, лаборатории.

— «В Питер поеду: события близятся».

И рукава перевортывал:

— «Эк, износились».

И зелень, и желчь.

— «Вы бы к Тителеву приучались, профессор: к Терентию Тителеву».

И отсел, и присел:

— «Зарубите себе на носу: «Николай Николаевич» — дернулись уши — в Лозанне живет».

Что тут скажешь? Профессор помалкивал.

— «Коли его» — лапой к горлу — «поймают...»

И лапа, сжав горло, взлетела над горлом, зажавшись в кулак:

— «Вот что» — глянули бельма — «своими «Николай Николаичем» сделают».

Черный до корня язык показал, искажаясь лицом, как с покойника снятою маской, в молчание, полное ужаса.

У Серафимы лицо пошло пятнами.

Мрачно чернел процарапанным шрамом профессор на пламенный лай лоскутов: с Никанором зачавкавшим.

В ржавые рыжины сипло залаял; и сжатый кулак почесав, зашагал с угрожающим грохотом, точно его, взвесив в воздухе, бросили в пол, разбивая подошвы.

А злая, разлапая баба, —

— тень, —

— бросилась: из-за угла.

Нос, как дуло орудия, выпалил в алые лапы:

— «Европу проткнули войной-с!»

— «Что же» — Кнерко — «делать?»

— «С войною проткнуть нам Европу!»

— «Есть!»

Тителев точно взлетел на пружинах, а брат, Никанор, озабоченным очень очечком стрелял в Серафиму; и в синие ситники густо молчали — все четверо.

## ОН УТАЩИЛ «ПРОЗЕРПИНУ»

А Тителев, точно он весь разговор предыдущий простроил, припал бородою к профессору:

— «Поговорим?»

И взяв руку в подмышку, с профессором он, точно с барышней, им ангажированной, притоптывая, вертко вылетел в двери.

Захлопнулись — в нос Никанору, который пустился вдогонку, дрожа — бороною, плечами, руками, ногами и штаниками от вполне непредвиденного похищения Плутонимом —

— Психей.

Верней — Прозерлины.

И он подсигнул: к Серафиме.

— «Вы что ж?» — строго он.

— «Я?»

Подпрыгнула: зеленоватые складки оправила:

— «Я?»

— «Да не уберегли, — эдак, так!»

Пальцем в дверь:

— «Иван, брат, сидит Тителеву на колени: на шею повесится — станет под дудку чужую плясать!»

Серафима испуганным кроликом хлопала глазками в двери: вот-вот — она прыгнет на дверь.

Никанор точно хины лизнул:

— «Тут гнут линию».

И показал он руками, как «гнут».

— «Эдак, так!»

С угрожающим шопотом вытянул шею под ухо:

— «В бараний рог гнут».

— «Кто, кого?»

Удивлялась она.

— «Николай эдак, Титович, Тит Николанч, — то я хотел сказать — Тигыч Терентий, — Терентьевич».

Видно, дар речи утратил он: так волновался:

— «Нам надо — так, эдак: чтоб брат, — брат, Титон, — дома; чтоб мы — эдак, так...»

Показал «эдак-так».

— «Неотлучно сидели при нем».

Показал, как сидят:

— «А то он» — обернулся на дверь — «я, — его хорошо приставать будет с нажимками. Суета суета...»

и — суета поучительно. А и Цецос, — эдак, так».

И метался он взад и вперед: руки — на спину.

А Серафима сидела с квадратным, тяжелым, совсем некрасивым лицом от усилий понять, кто — Цецос, кто — Мардарий, какое значение имеет явление Цецоса для «брата, Ивана».

— «Они — у себя там: так, эдак; а мы — у себя: эдак, так».

И — вдруг он:

— «В доме — люк: и Цецос, и Мардарий приходят — проваливаться в этот люк; а выходят — из погреба: выкопали; и — прокопом проходят».

И стало ей жутко: казалось, что брат, Никанор, в этом месте попавший в капкан, сев в капкан, из капкана — капкану — капкан вырывает; и ей, Серафиме, союз воровской предлагает.

Она — соглашается, но — со стыдом.

Как — в старинную дружбу они собирались внести разделенье?

— «Притом Леонора Леоновна: так чч-то, — «они» под забором сбегаются к ней; офицер и тот, черный».

Какой офицер, какой черный?

Молчала, уставясь на синие ситчики, жаром пылая и слушая, как за стеной забабало, точно «о и и», перерушив предметы меж ними, обрушась друг в друга, друг друга обрушили, — в яростях дружбы!

Все ж — пребеспокойные синие ситчики: живчики, моли, горошины желтые; с пульсами: пульсами прыгают.

И две морщины, как рожки, из лобика выросшие заботах на то, чего вовсе не знала, —

— что кралось, обхватывало, подбиралось, как злая, разлапая тень из-за шкафчика, как баба, Агния, тяпавшая в коридорике; с этой старушкой она не осталась бы на-ночь: вдвоем!

— «Тилил-ки-тилил-ки» — раздавалось.

Сверчок?

В смежной комнате бахали доски столовые.

Моль —

— в горлицевых, пунцовеньких, пляшущих палочках, —

— в плещущих, востреньких,

— пестреньких —

— лапах!

## ПРОФЕССОР КОРОВКИН УСЕЛСЯ ОРЛОМ

— «Вот, — садитесь!»

С сераявой стены, на которой линияли дешевые розаны, бохавший столик сорвав, его Тителев бросил профессору, перетолкавши профессора в угол, к стулишку:

— «Прошу».

И лицом забелев, а рукой продрожав, из-за пазухи вынул....

— «Вы видите?»

Серый и мятый конвертец.

— «Чей почерк?»

На драную скатерть локтями упал, забираясь ногой на постель, заходившую ржавыми ржаниями.

— «Мой» — протянулся профессор дрожащею лапой за листиками.

— «Чьи?» — но Тителев эту дрожащую лапу отвел.

— «Мои листики» — в перетабаченный воздух залаяло. Заколтыхали столовую доску.

.....

— «Постойте».

— «Да нет же...»

— «Да — да же!»

.....

Сопели, прилипнувши лбами друг к другу.

— «Мое!»

И тащили конвертец, схватясь за конвертец.

Вдруг дико друг другу заблеснули: глазами — в глаза.

— «Наискались, небось?»

— «Да-с!»

— «Берите ж...»

С больным, угрожающим «ахом» под ржавые плачи постели откинулся Тителев.

— «Коли открытие» — серая маска лица стала синею маскою — «ваше...»

Как будто: спиной отвалился от столика, белыми валенками под зенит пересучиваясь, спину выгнув на пупы земные, на бледные бездны, представшие рядом подполий, открывшихся друг в друге люками, — через открытые люки, в которые Обов-Рагáх, Бретуканский, Бобырь, Буддогубов, Трекашкина-Щевлих глухие свои, тяготящие рявканья бросили — скорбною орбитой рушился он!

А вселенная грохала тысячами типографских машин:

— «Пере-пре-пере!»

— «Передал!»

— «Пере!..»

— «Передал!»

.....

Дико взлаяв усами, —

— бессмысленно взлаяв, —

— профессор с кон-

вертцем своим, точно боров с затибренной тыквою, в угол оттяпывал, заколтыхавшись лопатками; Тителев, сбросивши столик — за ним, было: столик, подбросив столовую доску, и драную скатерть цапнувшись в воздух, шатавшейся ножкой бабачнул Терентия Титовича по суставу коленному

Угол перегородил, —

— где —

— усевшись с прихрахтом на корточки, ерзая вздернутой фалкой, за гвоздь зацепившейся, странно копяся в рваном кармане, — профессор собою являл недостойный предмет с точки зрения рангов и славного поприща!

Изобретатель, сидящий орлом!

Он конвертец запрятывал; и деловито с собою самим совещался с карачек — короткими фразами:

— «Ясно!»

— «Весьма рационально!»

Но, —

— не рационально, неясно!

Терентий же Титович залепетал из угрюмых прокуров над столиком, ножкою вздернутым в воздух, как... —  
приготовилка!

## ЛИЦО ДОНА ПЕДРО

— «Я... — видите ли — в это утро ..: в то, самое... Ну-те, — когда вас свезли».

Мы напомним читателю: битого перевезли — в желтый дом.

— «Забежал...»

Но профессор, с карачек став боком, и сев головою в лопатки, как путник у склона горы, защищался от Тителева прирастающим

к уху плечом, ожидая, как видно, что будет прыжок через ножку  
стола с вырыванием конвертца; а, может и —  
— всей бороды?

Он же — битый!

Нет, — Тителев стул поднимал, стол оправил, бросая как...  
приготовишка:

— «И — вижу: пиджак перекомкан, жилет...; сами ж бросили; я — подобрал; и нащупал: зашито!»  
Уже не робевший профессор осмелился выпятить грудь, точно тачку с усилием рук и с пытанием легких на гору тащивую; даже морщины, скрестясь, как мечи, поднялись.

— «Я и выпорол... Мокрые ж были от крови пиджак и жилет... И промокло б».

Молчание, полное ужаса, переходило в молчание, полное тайны; тут Тителев хватко и глядко уселся за столик; но в том, как он руки сложил пред собою, была немота от усталости: нечеловеческой.

Видя все это, профессор утратил усы с бороды и спокойнейше сел перед ним, опухая глазами мешками.

Такая была тишина, —

— точно бомба упала на столик между  
четырех протопыренных рук, ожидающих  
звука разрыва.

.....  
Скорее провеяло, чем раздалось:

— «Я... от имени партии, класса, для будущего, для всего  
человечества... и... справедливости ради...»

Он так посмотрел, точно стул из-под зада профессора вырвет  
вот, вот: —

— не казалось, что он выбивался из сил, когда он вы-  
— бивался; а он —

— выбивался из сил!

— «Я прошу вас: отдайте открытие».

Как передернутый силою аккумулятор, зацапав стаканчик, мочу  
гуче дрожал:

— «Умоляю!»

Профессор, вырезываясь в серорозовом крапе белясых и кое-  
где дранных уже Никанором обой, не в себе, хрипло хрякал:

— «Ссудить?»

— «Не могу-с!»

С нежным хрустом распался стаканчик меж пальцами Тителева;  
и закапала ясная кровь: между пальцами; Тителев дико надмен-  
ным испанцем поднялся.

Лицо —

— императора: Педро.

— «Ссудить?»

И за горло — рукой:

— «Так...»

С жестоким сарказмом на ногу упал, свое выгнув плечо:

— «Нас не можете?»

И погро атывал, как артиллерией, — горлом:

— «Хохóхó!»

Отсасывал палец:

— «Вы сами-то — что? Весь в долгу у рабочего класса, соз-  
давшего технику, средства!»

Осколок визжал под ногою:

— «Я вам предъявляю лишь вексель — не свой, а чужой».

И глаза, просияв укоризной, сияюще плакали.

— «Этот поступок граничит с нечестностью...»

Стоя дубовато столовой доскою бубнил.

— «Таким были... Таким и остались».

Профессор, морщиною, точно глазами, играл, бросив руки по  
швам и плеснув бородою, которая стала, как слиток серебряный;  
свои ладони развел, прижимаясь локтями к бокам:

— «Дать открытие — значило бы: наплевать на убийство; а — я...»

Глаз — топаз:

— «Не плюю!»

Ослепительный глаз, но — слепой!

— «Я», — лицо растянулось в исполненное выражения тело - -  
«я — сжег его...»

— «Вы на убийство уже наплевали тогда, когда вы расписали-  
лись в бойне: со всей корпорацией!»

Не расписался ж, — сидел в желтом доме; другие — расписы-  
вались!

— «Вы» — и Тителев бросился корпусом — нас не «ссужаете».

Свистнул по воздуху твердым стальным кулаком:

— «Мы вас — судим!»

Лицо спрятал в руки:

— «Боролись Либкнехты, — не вы».

Оборвался руками от лба; и пять пальцев прилясывали на  
коленке качавшейся:

— «Где сожгли? Как?»

— «В голове».

— «Не юродствуйте», — Тителев взвизгнул — «и плюйте, по-  
цельтесь: у вас не плевание — самооплевание».

Профессор глядел на него утомленным лицом, сжавши пальцы  
в томлении, — и неумолчном, и громком.

Отер капли пота:

— «За что?»

И слова барабанили, как барабанными палками, по барабанной  
его перепонке:

— «Нет, где человечность у вас? Где у вас справедливость?»

— «Я вам говорил-с: справедливость есть «средняя» только  
конкретных людей!»

— «Разве что!»

Нет же —

—выписал брата, одел, приютил, накормил; пожалевши,  
отдал, что важнее справедливости, этот линючий кон-  
вертец; лишил себя чести... —

—И это есть «средняя»?

— «Коли вы брезгуете справедливостью» — вспыхнул глазами  
красными.

Полудугу описал; и — с упругим галопцем, рванув Никаноровы  
рвани, — к профессору:

— «Все человек превозможет!»

Как раненый насмерть, страдающий тигр, протянулся рукой  
за пакетцем на рваный карманик:

— «Пускай погибает в вас личная истина в истину класса:  
нет, вы — отгадите!»

Профессор, найдя разрезачку, случайно зацепившую, в своем  
рваном кармане, усами сделавши —

— «Ась?» —

— подбородком вда-

вился в крахмалы, как зубы защелкавшие.

Он хватил разрезалкой товарища старого, чтобы в борьбе об-  
рести свое право, и — полудугой — мимо Тителева, — сорвав  
скатерть, бросив ее перед собою, и — голая, — дернулся с гром-  
ким распахом на двери, которые выкинулись, точно руки из недр.

Никанор отлетел с синей шишкой.

Никто не погнался.

Просунулся Тителев: . . .

— «Ну и буржуище!»

Тут же, движенья вобрав, став в пороге, и перетирая сухие  
ладошки, он выбросил:

— «Эк же!»

Стальная душа у него.

## БОЙ ОСЫ С ПАУКОМ

Никанор, отлетевши к диванчику, из-за плеча Серафимы бо-  
родкою ухо чесал Серафиме с весьма угрожающим шопотом; тер  
себе синию шишку; и пальцем на что-то показывал.

А Серафима — с губой, отвисающей глупо, толкалась плечом  
под губою его, выгнув спину дугою.

Шарахались оба —

— от пятками тяпавшего старика

— и от —

— Тителева, —

— прижимавшего в кубовый  
угол огромную, бразилиан-  
скую бороду.

— «Ты справедливость свою» — гребанул профессор рукой  
и ногой — «показал мне..»

Сломался другою ногою под задом, вцепившись фалдами в пол:  
не профессор Коробкин, а злой, шестилапый тарантул, прыжками  
огромными прыдавший, —

— около, —

— желтой и нервной осы, просадив-  
шей впустую от брюха отор-  
ванное — свое — жало!

Оса — домирала:

Отдельное, нервное, жало, без туловища быстрым сжимом  
подергалось!

— «Насмерть трамвай раздавил, говори рационально, жану  
тебе жалко?»

Из красного лая — на кубовый сумрак.

— «Допустим» — просумеречило.

— «В мгновениях рвутся — аорты, артерии: ты, эгоист — сле-  
не льешь? Ты животное, как и баран, жрешь бяранипу?»

— «Галиматейное!»

— «Не эксплуатируй, буржуй класса «sapiens», orang-утанга, которому сифилис ты прививал: ради целей научных, полезных одной разновидности, но не полезных другой; род же — общий-с!»

И лбиною, точно булжником яйца, — закокал по лбу он: — «Хозяйство планеты, — скудеет: и ты, социалист и хозяйственник, завтра подпишешься под зарезаньем рабочим рабочего в равносвободной планете, чтобы миллиарды рабочих детенышей скудный последний кусочек не вырвали б у миллионов оставшихся: ради спасения «hoi po»!

— «Не гоняйте и не хватайтесь за этот вопрос!» — пересчитывал крапы обой себя в руки сжимающий Тителев — «мы, социалисты, расширим хозяйство планеты: планетами же».

— «Убывание скорости света — доказанный факт: убывает хозяйство созвездий — в пропорции геометрической».

— «Ты-то» — и Тителев свесил с колена носок — «разогрешь созвездия?»

— «Да-с!»

— «Чем?»

— «Любовью».

— «Пустой парадокс!»

Никанор с Серафимой, не смея приблизиться ближе, шептались: случилось, или не случилось ужасное что-то между — сумасшедшими?

Что перед ними разыгрывалось? Пререкание дружеское с очень жуткими шутками, и реквизитами страшных гримас?

Или тут — нарушение всех человеческих и нарицаемых бытов, едва ли, понятные, ненарицаемые: и насекомьи!

— «Мне боязно!»

## СИНЯЯ ПТИЦА

— «Вопрос не во мне-с: согреваю вселенную я, или — нет: она ухает смертоубийствами солнц; чтобы их отогреть, надо броситься к атому и к овладению теплом, скрытым в нем; а не строить убийства из планов, весьма справедливых; я грею вселенную — сопротивлением; в этот момент...»

Он себя ощущал на крутейшей дуге — у прокола последнего атома: атом коснеющий — вот он —

— проколет —

— теплом!

Глазик, —

— точка, ничто, —

— целясь в точку невидимую, прорешая вопрос, раз решенный, расширился в линию световой, превращающийся в пламя пожара — вселенную!

— «Вот-с!»

И конвертен с открытием нынув, пошевелил пальцем в него, он его — изорвал и осыпал из стула прыжком сигналушного Тителева дождем мелких лоскутиков:

— «Он — сумасшедший!»

Все — бросились; и захвативши за руки, куда-то нели: он же руки руками отвел; его белые брови, ударясь в межглазье, как молнию высекли: молния врезалась в перья обойного фона, эластичные, с просверком —

— темновишневых, кометных хвостов!

Не увидел, как Тителев, в ноги себе подпираясь руками, почти бородой лег на пол, точно кланясь в ноги: лоскутиками.

— «Не сотворите кумира!»

Увидел; и — ахнул он: —

— старый товарищ, идеями прядущий, точно бог, —

— не во имя свое а во имя идей, —

— с грохотом

мыком заползал перед сапогом, над надорванным желтым клочком.

И профессор Иван, свою бороду издернув и руки сложивши под ней, озарился теплейшей мыслью — поднять его на-ноги; и Серафима ловила пролет звуков мысли, как птицы, — из глаз его:

— «Брат, — успокойся!»

И руку свою положив на упавшего брата с улыбкой седую, по хитро, пророкотал:

— «Старый мир, — успокойся, — стоит у последней черты: мы бросаем игру».

И он выбросил руку, как с пальмовой ветвью чтоб... жили не лопнули: — как посинели, надулись они!

— «Принцип — здесь» — показал на межглазье.

— «Не здесь» — показал на клочки.

— «Здесь — превратности смысла: открылась ошибка, пропущенная в вычислениях, — мне...»

— «Как?» — куснулся зубами, ногами разъехавшись, — брат.

— «Как?» — оскалился Тителев.



А Серафима, поймав эту птицу —

— мысль синюю —

цветея, точно роза.

— «Ты... ты... издеваешься?»

Он поглядел утомленным лицом и заплатой над выжженными глазами, сжав пальцы в томлении:

— «Мне ль издеваться, когда» — и заплату он снял, и огромным, кровавым изъятьем глаза их всех оглядевши, — заплату надел. И к окну подошел; и разглядывал звезды.

И Тителев, медленно вставши с колен и листки уронивши в плевательницу с оскорбительной горечью, — в угол пошел:

— «Э... да что!»

И спиною подставленной трясся.

Его тюбетеечка плакала блесками, точно слезиночек; в спину ему из-за карего глаза топазом прорезался —

— детский, беспомощный, синий —

— глазище!

— «Ты», — рывало — «ты ведь женат?»

— «Недостойный вопрос!»

И пошел через красные капли из кубовых сумерок к креслу, оскалась, как тигр:

— «А-д-д-да...»

В кресло упал; волосатый запрыгал кадык:

— «Я — женат».

В окна черные скалился.

## РОК: ПОРОГ

Ночь, уронивши на дворик две черных руки и звездой переливную капну над крышей, сжимала в объятиях домик, как мать колыбель, и глазами, алмазно и влажно сиявшими, жадно глядела из синих морозов и цветистую комнату.

Точно фонарики: —

— ситцевые маргаритки, азалии, звезды и синие дрызги зигзагов!

Казалось: —

— огромная, черная женщина, павши на землю, сейчас распрямится, — и — перерезая вселенную, руки свои заложивши

не удивлялась,

и бережно сняв этот домик со снега, как чашу с сияющей ценностью, черною орбитой в дали кубовые, руки кубовые окуная в созвездия, —

— Льва,

— Леонид,

— Лиры,

— Лебеда —

— перенесет!

Но не Лебедь, не Лира, не Дева, не ночь припадала к окошечку —

— Леоночка!

В черном окне, плава льдинки, она прилипла и лобиком, и десятью замерзавшими пальчиками к ясным лильным стеклам.

Казалось, — летела, бежала: скорее, — скорее, —

— скорее —

жесткие стекла.

— на

Так — птица: увидев маяк, на него, как на солнце, бросается; птица бросается в смерть.

И ей смерть: видеть, —

— как —

— из-за ситцевых звезд краснолапого

кресла старик одноглазый малютке, млеющей личиком, с искрами солнечно-розовых прыжков, — приносит свой глаз; а малютка — в сиреновой шапочке, ручками веер раскрывши, как райская птица — на дереве жизни — качается!

— «Нет!»

А — отдернулась.

Этот ребенок седой — ей давно дорогой, потому что в утопиях, ею растимых, есть корень, ей в душу вцепившийся: за-руку взяв старика одноглазого, в вывизги рыва планеты швыряемой, под колесом Зодиака по жизни вести, чтоб вину дорогого, родного, другого, к к долгу, — пронести!

Пусть несбыточно ей это все; «этим всем» Серафима явилась, ей путь пересекал: ее ревновала, почти ненавидела.

Смерть: преступить порог дома: —

— порог —

— ее рок!

Шарки: шаг пешехода —

на Козиев Третий!

Как шамканье страшных старух...

Успокойся, душа моя, что тебя нет в том, чего тоже нет, что за гущей деревьев, чуть тронутых инеем, шаркает шаг пешехода на Козиев Третий, что ветер из высей отчесывает от деревьев взвив инеев, —

— что —

— с бесполезной жестокостью больно катаемое и усталое сердце —

— разрывчато бьется.

Ты ищешь чего же, душа моя, и ты чего надрываешься?

— «Ты — чего топчешься? Шла бы».

Икавшеву тулупом дохнул за спиной.

Вот — Мардарий фонариком из ледника зазвездил; и — погас вдоль заборов: ждут обыска.

Ей ли, порочной преступнице, — переступить порог: рок!

## РАЗГОВОРОМ ПОДЕРГАЛИСЬ

Чтобы нарушить молчание, тягостное, Никанор стакан с чаем — холодным, прокишшим, лимонным, — вдруг выбросил вверх:

— «За здоровье хозяйюшки, Элеоноры Леоновны!»

Тут встрепенулся профессор:

— «Да, ты, брат, — тащи меня к ней!»

— «Ну-с, — она-с!»

Волосатый из кресла запрыгал кадык, а не Тителев: в кресло вцепясь крючковатыми пальцами, он точно умер.

И — бацнула входная дверь; и — казалось, что кто-то на месте бежит, прилопачивая хлопотливо, но в дверь не вбегая:

«Легка на помине!»

И Тителев бросился в дверь крючковатыми пальцами; в кресло вцепился опять крючковатыми пальцами.

А Серафима покрылась мурашками: вскрикнулось.

— «Что?» — Никанор.

Голосок, как звонок, задлинькал в передней:

— «Ау?»

Серафима забегала: свечку зажгла, став в пороге со свечкою; ротик — кричмя.

— «Серафима Сергеевна?»

— «Я!»

И в коричневых мраках просунулась личиком, из ореола свечного, сквозного и желтого чуть высияясь веленьким платьицем.

Элеонора Леоновна в юбочке с отswerком, в очень цветистенькой кофточке, нежно полахивая «убиганом»<sup>1</sup>, схватила малютку за руки с такой быстротою, как будто хватася была мышкой, а не человечиком.

— «Ну?»

— «И вы — тут?»

— «И я — рада!»

— «Вам рада я!»

А Серафиме на это «и вы» от спины к пояснице — опять муравейчики: мысли чужие какие-то; ручки в костяшках («Как лед» — промелькнуло) в холодненьких пальчиках; стиснула ручку.

Но гневно сверкнули глаза:

— «Вы меня проведите к себе: я — боюсь!»

И походкой своей, лунатической, кошьею, она, — узкотазая, маленькая, — наклоненной головкой, ушком наставляясь на лай голосов, себе в носик глаза закосивши, и в нос Серафиме стрельнув завитыми дычками, —

— звезд с перекурами, —

— за Серафимой прошла.

Электричество щелкнуло:

— «Вот».

И стояла, заглаживши пальчиками волосинки цветистого платья, следя, как дымки по ним бегали:

— «Нравится?»

У Серафимы неискренно вырвалось:

— «Что за прекрасная комната!»

Бирюзовая празелень фона: диванчика, креслец; крапины розовосерые в кремовожелтом и в бледнолимонном.

Хотя и жеманно!

— «Должна принести благодарность».

— «Ну, ну» — с суховатым прищуром; и сухенько затараторила: вовсе «партийи» дамочка, сладко полахивающая.

И Серафима поморщилась: в серокисельную скатерть:

— «Обои сиреневые...»

— «Прелесть что!»

<sup>1</sup> Дуки.

## ПЛОСКОГРУДАЯ ДЕВОЧКА С КНИКСЕНОМ

Тут же профессор увидел: —

— робя, дурня и переминаясь в пороге, из двери просунулась робкая девочка в платьице с розовым отсверком, с рыжими пятнами, с черненьким крапом; и — с книксеном.

Книксен не сделав, стояла с открывшимся ротиком, платье свое дербя.

Зарябило в глазах: точно рой черных мушек в глаза ему кинулся, с платья снимаясь.

Во что-то нацелясь, он сдернул очки, потянувшись носом разведывать воздух.

— «Жена моя», — скалясь, как тигр, руки выбросил Тителев — «Элеонора!»

И в кресло вцепился опять крючковатыми пальцами.

Шаркнул профессор, теряясь:

— «Рад!»

А Леоночка, лобиком бросив свою завитую головку, бодаясь головкой, отпрянула в тень, потому что профессор спиной вдавился между Серафимой и братом.

Как будто в бега друг от друга пустились: спинами!

Тотчас, взяв в руки себя, —

— «Рада!»

— «Рад!» —

— Руки сжавши друг другу, присев друг пред другом на кончиках кресел, друг друга разглядывали.

И профессор с лукавою шуткой провеял на Тителева белым усом.

— «Я вот-с... Говорю себе: ясное дело, — супруга твоя еще маленькая... Кашку кушает!..»

А Леоночка, ставши живулькою розовой, взором на нем откровенно занежилась; будто весеннее солнце блеснуло в глаза, а не этот косматый старик, на нее поглядевший с лукавою лаской; как дерево зыбкое, вдаль уплывая вершиной за ветром, корнями привязано к твердой земле, — так она свой порыв передерживала: в ноги пасть; и на мужа косилась украдкой, разглядывая удлиненный затылок, — и узкий, и волчий: волчиная стать, волчьи уши, прижатые к черепу: —

— знала она, что — овца: в волчьей шкуре; и стало ей жалко его.

А профессор — медведица!

— И — не прелесты!

— «Сама выбирала...»

— «Вкус: ваш!»

А — что дальше? Ничто?

Нет, — «Глафира Лафитова».

— «Ну, — что она?»

Выручала «Глафира Лафитова» раз уж пятнадцать: когда сказать нечего, то — появлялась она.

На «Глафиру» в шестнадцатый раз Серафима — ни звука.

— «Ну вот: и — прекрасно!»

И с тем же икливеньким, сдержанным выкриком Элеонора дала ей понять, что словами надергалась добыта с ней; Серафима, лицо отвердивши, все сносливо вынесла; гневный задох подавив, перерезала нить разговора склонением личика в руку, поставленную острым локтем на скатерть кисельного цвета; опять эта скатерть?

Леоночка, за-руку взяв Серафиму, ее для чего-то вела в коридорик; расхлопнула дверь:

— «Вот — тут вот: вот — уборная...»

Думалось: лучше, поднявши юбочку, скрести себе ногу за ловлею блох, чем чесаться психически.

— «Вот — выключатель: вода — не спускается».

И — так невинно взглянула:

— «И — поговорили».

Взглянула, как издали, блеском своих изумрудов, — не глаз: и стояла с открывшимся ротиком, будто уйдя в тридцатое царство свое за лазурными цветиками, бросив тени густые свои в Серафиму, которая думала: как ей не стыдно, невинностью лгать и русальные глазки пространять!

Сделалось совестно: и — помотала головкой утрию.

Когда б понимала, то, —

— вероятно бы, —

— с ожесточенным, с пылающим личиком ринулась бы на нее: обхватить, обогреть, уложить, как больного ребенка, в постельку; и — песенки ей колыбельные петь!

— «Ну?»

И обе, затиснувши рогики, бровки зажавши, протопали в лай голосов.

Стала живулькою розовой, чуть не спросив:  
— «А что Митенька?»

Передержала себя: это было; но было — пылы!  
И припомнилось ей, —

— как —

— схватятся за львиные лапочки кресла, вскочив, чтоб бежать, будто — оранг-утанг, не «отец», рассыпался профессор в любезностях! Бегством все трое пустились в переднюю, где он кота с перепыху надел на себя вместо шапки; «отец» — с перекошенной, злою гримасою; он — с перетерянным плачем: сквозь смех<sup>1</sup>.

Так последняя и роковая их встреча, — единственная, — отпечаталась в памяти!

У Серафимы же вырвалось:

«А!»

Встрясом плечи.

— «Вы что?» — Никанор.

«Нет, что с нею?» — склонясь к Никанору — «Откуда болезненная экзальтация эта?»

— «Так что-то, — Леонора Леоновна к брату, Ивану, всегда относилась с горячей сердечностью» — строго одернул ее Никанор.

Но прищурясь, он борзеньким носиком быстро поерзал меж ними: как будто в обоих — свое, недосказанное, переглядное слово.

Встав в тень, Серафима опять поманила кивочком:

— «Зачем она так беспокоит его?»

— «То есть, — как?»

— «Ну, — не знаю».

А взгляд Леоноры как бы говорил:

— «Много, много воды утекло».

И тонула в глазах своих собственных, густо синя папирской и выставив ручку, точеную, точно слоновая кость.

Серафима подумала:

— «Что за претензии?»

Эти претензии воспринимала она, как порыв — неестественный.

Брат, Никанор, не ответивши ей, перестегивая пиджачок, пошел к брату, Ивану:

— «Как, что?»

<sup>1</sup> См. «Московский чудак» (глава третья): сцене из посещения профессором Мандро.

— «Как тебе, — эдак, так — Леонора Леоновна?»

— «Ми... да какая-то, да-с, дергоумная барышня» — скрылся от брата усами.

— «Она уже — эдак».

— «Как?»

— «Дама!»

— «Забавная барышня-с».

Твердо упорил, вадумавшись явно; и, явно, — над ней.

Вдруг стараясь занять разговором ее, — но таким, каким дряхлые старцы стараются, став еще более дряхлыми, выставить в шутку шестнадцатилетних девчонок пяти-шестилетними пупсами — равнял он:

— «Котиков любите-с?»

Вновь, точно дерево, в ветер рванувшееся, Леонорочка, пальцы ломая, — к нему; и опять точно дерево, корнями привязанное, оглянулась на мужа: сидел, уцепившись пальцами в кресло, не слыша, не видя стальными глазами; жест — губы зажатые; в лоб же морщина вlepилась, вцепясь, как хвост скорпиона.

— «Нет, не по пути с ними нам!» — Серафима настаивала в Никанорово ухо.

Поморщился:

— «Элеонора Леоновна, Терентий Титыч — друзья!»

Но подумалось: недруг и тот до поры — тот же друг; и морщинки от лобика рожками в угол наставились.

Тителев, встав, ей блеснул:

— «Добрый вечер, — критический критик. Да я забегу еще».

Не отзываясь на шутку, без всякого повода вышла из тени она; свою выгнула голову; руки — на грудь, отступя; припадая на ногу, — насупилась хмуро.

Он — вышел.

## И МИР, КАК РАЗБОЙНИК

Профессор вышарчивал взад и вперед; точно он, не имея пристанища, странствуя, видел градацию дальних ландшафтов; вдруг — замер он; руки свои уронил; носом — в пол, в потолок, чтобы выслушать отзвук в себе —

— синей мысли, —

— о первой их встрече.

Да — первая ли?

Вот что выслушал: —

— перед золотеньким столиком чашечку чая, фарфор, розан бледный, поставил лакей перед ним; ему виден кусок кабинета, открытый в гостиную, — кубовочерного, очень гнетущего тона, такого же, — как фон обоев этой комнаты! Красные кресла жгли глаз своим пламенем адским оттуда; и были такого же колера, — как эти красные пятна.

А девочка эта сидела, — так точно: с таким же раскрывшимся ротиком<sup>1</sup>.

Выслушав это, он руки с улыбкой седую развел пред Леоночкой; торжествовал над молчаньем своей бородой, — безротовой и доброй.

Вдруг усом вильнул; и — слова, плоды дум, точно сладкие яблоки, стал бородой отрясать:

— «Все идет, говоря рационально, — по предначертанью».

Улегся усами; прошелся он:

— «Царствует — царь... Безначальные — мы».

Руки сжал: носом — в пол:

— «Что же, — будем готовы».

И глаз в блеск порочных, агатовых глаз, расширяющихся в изумруды невинные, —

— глаз —

— просинел.

Из агатовых глаз — в голубые глаза Серафимы он ринулся; и Серафима сказала — глазами в глаза:

— «Я — готова: на все».

Но он, вынув свой глаз из нее; повенчав ее взоры с Леоночкиными, он читал ее мысли; но сделал рукою ее от себя отстраняющий знак:

— «Вы — останетесь здесь: не пойдете».

И руку, как с пальмовой ветвью, приподнял — к Леоночке:

— «Мы с ней — пройдем!»

И казалось, что в ней соблеснулись звезды; и звездный поток, — тот, который глубокою осенью сыплется из синеродов над

<sup>1</sup> См. «Московский Чудак» (глава третья): сцена посещения профессором Мандро.

скуной землей —

— Леониды<sup>1</sup>, —

— посыпался!

Он же в ответ ей на блеск:

— «Были львицею: станете — девочкой».

И Никанору, бросавшемуся, руки выбросил:

— «Я — к вам: вернусь; будет — радость!»

— «Да что вы, профессор?»

— «Куда собираешься ты?»

Он ответил загадкой:

— «Туда, где вас нет...»

И прошелся; и — видели: борется с чем-то.

— «Мы — косные: бодрствовать — трудно... И мир, — как разбойник».

Из глаза он выбросил солнечный диск:

— «И разбойника братом хотел бы назвать я».

Тут став повелительным, он указал на порог — Леоночке Леоновне:

— «Ну-с, вы — готовы?»

И дернулась; вертиголовкою, расцветаясь меж собою, профессором парочкой дико ее пожиравших глазами людей, — Серафимой и Никанором, — глаза, не мигающие опуска в носочки, как будто ее наказали — вперед наклоненной головой,

— как тихий лунатик, —

— прошла!

И за нею он вышел.

И больше его Никанор в старом мире не видел: когда они встретились, —

— все —

— было —

— новое!

## КРЫЛЫШКИ БАБОЧКИ

Вслед Серафима — бежкой: в наворачиванье обстоятельств; подняв свою ручку и ей, как щитом, защищаясь, напоминала голову отрока быстрого.

<sup>1</sup> Этот звездный поток земля пересекает в ноябре.

Бросила:

— «Там — в мою комнату... Там — в моей комнате... можете... вы...»

И — здохлась она: из глаз — жар; во рту — скорбь:

— «Ну, — пошел разворот разворота!»

В диван головою, а плечи ходили; зубами кусала платочек; не плачем, а ревом своим подаваясь, занемела; и — ком истерический в горле.

— «Чего это вы?» — Никанор — «Брат, Иван, объясняется с Элеонорой Леоновной; он, вероятно, мотивы имеет свои».

Но мотивы такие — болезнь.

— «Рецидив».

Посмотрела; и — что-то коровье во взгляде ее.

Леонора Леоновна, крадучись, переюркнула под стены; из край бирюзового пуфика села; уставилась глазками в розовосерые каплины, глазок не смея поднять.

Он же, крадучись тоже, и вставши на цыпочки, пальцы зажатые приподымал умоляюще; и приворковывал, как старый голубь:

— «Да вы...»

— «Не волнуйтесь!»

— «Прошу вас...»

Как чайная роза, раскрылось лицо:

— «Да вы... послушайте!..»

Леонорочка с пуфика переползла на диванчик: поближе к нему; и согнув под себя свои ножки, накрыла юбочкою их.

Он боялся рукою коснуться плеча: точно он не хотел обмять крылышек бабочке:

— «Я, говоря рационально, узнал вас».

Глаза ее, как драгоценные камни лампы, сияли; закрылась руками; а он, нагибаясь, пытался увидеть сквозь пальцы в них спрятанный глаз:

— «Вы — Лизаша Мандро».

И увидел не глаз, а слезинку, которая в пальцы скатилась:

— «Ну, ну-с: ничего себе...»

— «То ли бывает?»

— «Проходим-то все мы — под облаком».

Пав на живот, как змея, на него поползла, пересучиваясь и толкаясь худыми, как палочки, ножками

Он сел на корточки, выставив нос и ладони пред ней, как бы их подставляя под струйку, чтоб бросила личико в эти ладони, которые жгли, как огонь: переполнить слезами.

Он плечики пляшущие, точно пух белоснежный, наглаживал:

— «Плачьте себе...»

Воркотал, точно дедушка, внучке прощающий:

— «Мы полагали не так, как нас» — выбросил руку свою — «положили: меня, вас...и...»

— «Вашего...»

— «Батюшку».

Он запинался.

Тут в воздухе взвивши и ручки, и ножки, а спинку чудовищнейше изогнув, опираясь качающимся животом о пружины диванчика, выявила акробатикою истерическое колесо.

И разбросилась с плачами.

Он же над нею зачитывал лекцию:

— «Жизнь — давит нас; оттого мы и давим друг друга; жизнь давка: в пожарах».

И встал, и прошелся, и сел:

— «Дело ясное: эти побои его адресованы были не мне-с; и — не он наносил».

Носом цветик невидимый нюхал.

— «События эдакие с точки зрения высших возможностей — тени-с прохожего облака».

И топоточки под дверью расслышал: «алюточка бегала: топами ножек выстукивала: пора спать!»

— «Не шумите-с: нас могут услышать» — понесся он к двери; и — высунул нос.

И — отдернулся: —

— сосредоточенно руки скрестив на груди, не трясись, точно палочка (платье повисло), в тенях еле выметилась Серафима, вперяя огромные бельма.

Огромное, черное «же», — три морщины, — чертились: от лобика. Чуть не упала; но — выстояла.

Леонора в слезах протянула ручонки; и не понимала, что с нею; смеялась и плакала:

— «Можно?»

И знала, что надо принять то, что вспыхнуло.

Он — неожиданно руки раскинувши: с равком.

.. «Все можно-с!»

Решение—акт; в ней—согласие:

— «Можно вам все сказать: все-все-все?..»

И на простертые руки упала головкой.

— «О нем».

И он гладил головку, к груди прижимая.

Весенняя струйка лепечет у ног:—

— все все-все: понесу,  
расскажу!

Ставши струйкой,—она вылепetyвала то, о чем рассказать не сумеет писатель.

За дверью едва Серафима расслышала:

— «Пелль-Мелль» отель—говорите?

— «Тринадцатый номер?»

И не удержалась: просунула голову.

— «Есть!»

И профессор отпрянул под лампочку, быстро записывая.

Но увидев малютку, он книжечкою записною — в нее, в свободной рукою с дивана Леоночку сдернув, на Серафиму швырнул; повелительно рявкнул:

— «Мой друг!»

И—светящийся диск, а—не глаз!

— «Прошу жаловаты!»

Руку, одну, Серафиме за спину, другую за спину Лизаше:

— «Лизаша Мандро!»

Друг о друга носами их тыкнул; и—выскочил в дверь.

Посмотрели друг другу в глаза: золотые, сияющие, — в изумрудные канули; ахнув, вслესнули руками:—

— «Лизаша, которая, и о  
которой!»

Смеясь и плача, упали в объятия.

А шуба медвежья прошла мимо двери: прошаркали ботики.

## ГЛУПАЯ РЫБА—ВСЕЛЕННАЯ

О, переполненное, точно вогнутый невод, звездой,—несвободное, обремененное небо!

О,—то же звездение: праздное!

Тителев мерз на дворе, больше часу разглядывая, как ничто закачалось дрожащими и драгоценными стаияи.

Звезды,—

— зернистые искры, метаемые, как икра,  
как-то зря,—

— этой рыбой —

— вселенной!

Глаза прозвездило до:.. мозга.

И он полетел через двор, наклоняясь с напором, со стропотством; быстро, ступисто шагнул на подъезд; бахнул дверью передней тетеричной: в дверь кабинетика.

А из гостиной к нему — шаг Мардария, вышедшего через люк из подполья.

И он застопорил крепким затылком, ушедшим в плечо; пережавкнул губами, зубами кусая плясавшую трубку; отсчитывая и пересчитывая синие каймы ковра; и вся быстрость, которую он развивал на бегу, улизнули в него; скосив глазик, посапывая, и надувшись из-за усов, гладил бороду, громко упря носком, удаляющим в пол.

А Мардарий, ему на плечо положив жиловатую лапицу, из-за плеча протянулся: усами оранжевыми:

— «Ну?»

— «Что «ну?»

И Мардарий—глазами в глаза:

— «Дело это».

Бесцветны стальные глаза: призакрылись; и—брысил ресницами; но наливалась височная синия жила; и смыком морщин, точно рачьей клешней, щипался.

И понял Мардарий: проваливалось дело это.

А «Титыч»,—

— партийная кличка,—

— разглядывая корешки переплетов, смекал, точно мерки синиая: ушами, плечами и пальцами что-то учитывал он:—

— не казалось, что он выбивался из сил, когда он выбивался: мог спать, продолжая работу во сне; и скорее откусишь усы и тебе оторвет нос от перца, чем корень поймаешь, тот, в который вперился он, перетирая сухие ладони, как будто готовясь себе операцию сделать.

— «Мардаша, Мардаша» — и желтая, шерсткая вся борода рязь-ерошилась:

— «Стоп».

Свои пальцы вжал, будто он позвоночник, свой собственный, сламывал.

— «Эк, дурака стоит дело: я — прост, как ворона!»

Вдруг книжицу выщипнул; перевернувшись, крепким движением метнул через стол, точно диск, прямо в руки Мардарию:

— «Дельная!..»

— «Вы — не читали?»

— «Прочтите...»

А сам — вне себя; голова, — как раскопанная, муравьиная куча: в ней выбеги мыслей единовременных — усатых, коленчатых и много-лапых: туда и сюда!

— «Куй железо!»

Превратности смыслов, их бег друг сквозь друга, друг в друга, как в круге кругов, из которых куют сталь решений; но — замкнутый череп!

Круг — замкнут!

— «Остыло железо!»

И бросивши бороду, два острых локтя откидом спины в потолочный, седой, паутиной обметанный угол, — локтями на стол, головою — на руки: с громчайшим —

— «Мардаша, нет выхода!» —

— пал!

Знал Мардарий, какие тяжелые трудности преодолел он, чтоб дело с профессором честно протрилось, как эти трудности скромно таил; и —

— в то время, —

— когда он — под бурей и натиском стоя с увертливой сметкой боролся, подкапываясь под партийных врагов; и обуздывал головотяпов товарищей.

Сколько любви!

Для Мардария «Титыч» был тем, чем для «Титыча» был Хиняклич: ось, стержень, садящий своей бронированной ясностью: мозг человеческий.

Ахнул Мардарий: коли головою — на руки, так — мат ему!

Тителев приподымался на локте, весь — слух:

— «Голоса!»

Перекрикнулись ближе; фонарики.

С пальцем, подброшенным вверх, смелейше взманил; и — по-несся в полъезд; в блеск бирюзовеньких искорок, пересыпаемых

в черном ничто драгоценимо дрожащими стаями, — в крик, —  
Серафимы,  
Леопошки

(приселся!)

И — там визжало;

— «Ушел!»

— «Нет!»

— «Пропал!»

Все — исчезнут под вогнутой бездной — бесследно!

Там — в силеный переигрался зелененький блеск;

там —

— из тихой звездочки —

— розовые перенгры!

— «Бесследно исчез!»

Кто?

Профессор Коробкин.







#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### «СТРОК ПЕЧАЛЬНЫХ НЕ СМЫВАЮ»

#### НА НИХ РАСТЕТ ШЕРСТЬ

Нагие тела, а на них растет шерсть: удивительней всяких кушечных гнезд росли слухи: бараны волков поедят; как пузырь дождевой, под разинутым ухом мзрочило:

«Жди не рябин, а дубин!»

Рыло к рылу: ушами водило:

— «А ты запирай ворота, мещанин; и — дровами закладывай!»

И обдавало, как варом, когда облеплялись, как мухами, слухами; точно под горку колеса: — де доли встают; и де горы падают; де у Орла изловили бобра; де живем на дому, а умрем на Дону, потому что река подошла подо все города.

— «Эк?»

— «Сказали в Казани!»

Де — даже царю в рыло — ворот вворотят; а бар-де в мешок: и де Питер на щепки разрублен; солдат-де такой: нагишом пала-шом размахался; палит-де на Пензу, на всю, инвалид; а — без поро-ху; и от него стрекулист, приказанная строка, — стрекача!

От угла Абасасовой, что у базара, сказали, что скоро гусиные лапочки и языки соловьиные выданы будут в кормы.

Подтвердили у Фунзика, в лавочке:

— «Бесповоротно!»

Сказал это Кавлов; Плеснюк повторил Милдоганиной; та — Көлзецову; а тот — Будогандиной; ну, — Плеснюка и забрали, молвы той доискиваясь; у нее, у молвы, — ноги ланьи; она — не Маланья, которую можно потискать: за титьки.

Она — улетучилась.

И доя кались, в участке, что это все — дядя, который поехал из Новгорода, а куда, — неизвестно; рот этого дяди — известно какой: пристегни-ка, пришей на губу ему пуговицу!

Так, не слыша, — услышали; не-видя, — видели: лапки гусиные и языки соловьиные, с перцем; в жестяночках пересылают-де немцы.

И пристав, не солоно евши, ушел; ему в спину из Твери над всею Москвой Харитон языком заболтал, — точно колокол — на колокольне Ивана Великого.

Не Харитона, а Прянцева, Прошу, хватили; открылись следы Верливерковской частной гимназии; Син.мидиец — учитель словесности, выпил овечьего квасу, — напутал; обыскивали, отпустили, ушли.

Вырастали слова на словах, пучась в тучу: Анисим Онисьев, завода машиностроительного (бок забора под Козиев, около Психопержицкой) под тучей сидел; так, — махорочный дым. Но завод был объявлен гнездилищем дяди, который поехал из Новгорода, а куда — неизвестно: известно куда: на завод; забастовку устраивал. Дядю искали, — не смыслов; они — в решете: много дыр. — вылезть негде; и ложкою не расхлебашь их, аки солянку; вполне тарабарская грамота; буркулы, точно коровы на грамоту, пилили; и точно гуси на зарево, вытянув шеи, стояли; и пристава слушал:

— «Вы обретайте, мещане, в борьбе свое право, чтоб вас, как удой, не подсекло. ворота поленьем закладывай, братцы!»

И — то: разгромили Хатлипина мясо, Липанзина булочную, что с угла Селеленьева; крепкое слово торговец Шинтошин сказал, сос бирая мещан, децарь юрск, Илкавин, Орловикова, Клитатакина, Иван Кекадзе — составили патристическое заявление, что мы, мол, в союз — «Михаила архангела» — вступим!

Подвел Сидервишкин.

И — ужас что: самую что ни на есть «Марсельезу» пропели, по третьему классу пройдясь, — третьеклассники:

— Яков Каклев, Вака Баклев, Шура Уршев, Юра Буршев,  
Митя Витев, Витя Митев.  
Фридрих Карл фон-Форнефорт, — пятикласник, — их вел, а нам  
красное вывесил; —

— и —

— Липа Липина, Оля Окина, Нюра Нулина,  
Люба Булина, Гаша Башина, Саша Вашина,  
Глаша Гликина, Кина Икина —

— девочки —

И — сам Вардабайда-Топандин, артист, подписал на дверь,  
под визитную карточкою: —

Чего еще ждаты!

— «Объявляю себя анархистом!»

## ЧТОБЫ ЩЕЛКАЛИ

Ночь; ночная, замызганная, голготавиная чайная; ряд шапок лаковых валитися в вытертые рукава, разлоктившиеся в скатертях перемызанных: это ночные извозчики спят — головою на стол, свой добыток наездивши; белые чайники дуются; они — гиганты; горбун половой, размахавшись грязнулей, — пять чайников тащит из угла: в крошечную темь.

Там голганят:

— «Ну, ну, Четвертыркин, — садн: чего слышал?»

— «А то: Миколай о подкову откокнет каблук».

Сонный возчик — с другого угла:

— «Поделом ему: кто его пхал?»

Инвалид:

— «Сам попер».

— «Половой, катая чайник!»

— «Щевахом, почтенье!»

— «Пиндрашке привет!»

А мелвежья шершавая шуба закрючилась — в теми крошечной: над чайником; нос, да усы, да очки; не понять, что такое.

Но на «Миколаево» пхание кто-то имел возразить:

— «Как не пхали? Запхал англиканский француз; пхал и сам Милуков, чтоб над нами забарствовать».

Завозражали:

— «Распутинец это!»

«Клоблехов, молчи» — поднимался с рукою рабочий «теперь гляди и оба, когда буржуазия за Милуковым в парламент упрет».

— «Не упрет!»

— «Ты хваляй их за фраки, да задницей их о цилиндры, их собственные!»

— «Чтобы щелкали?»

— «Лучше орешком свинцовым пощелкаем мы».

Инаалид, сняв Георгия, шваркнул им: в скатерть:

— «Я жалую, братцы, за эти слова вас крестом, чтобы вы!»

— «Да уж мы, — Бердерейко и я...»

— «А башимак этот старый, Империю...»

— «Эк!»

— «За забор!»

Уже брезжило; шуба раздвинула мех, с половым, с горбуном, пятаками расплавиваясь; и просунулось переможденное, очень бессонное, серое, полуживое, — квадратцем заплаты, — лицо.

Э, да это профессор Коробкин?

Он ночь, не имея пристанища, странствовал, чтобы решение, один на один перемыслить, чтоб прочно отрезан был самый попят, чтобы ближние, нежно любя, не опутали бы, как сетями, заботами, чтоб не размлело решение: избыть дело это.

## СМЕРДИТ ТЕЛО ЭТО

«Пелль-Мелль» отель: номер тринадцать; и — «тень» — «тин-тен-тэнт»! Очень громкий звонец: не идут ли за ним? Это — шпоры: в двенадцатый номер.

И — с выдрогом о табуретку толкнулась коленка Мандро; и резнула поджилка; расстроилась координация нервов, — жоторных: скелет в серых брюках; и — в черной визиточке; запахи опопонакса<sup>1</sup> держались; но сломанный, розовый ноготь — с каемкою грязи.

Все дергал ногой; поясница казалась разбитой; ходили угласто, как локоть, лопатки; а плечи, прилипшие к черепу, полуарбузом показывали спинной выгиб; и впадиной, вогнутой полуарбузом, — микитка.

Глаза — молодые.

.....

<sup>1</sup> Духи.

Стена, как с растреском; турусы: трамбанит трамвай; треск тарелок; лакей панталоны несет; коридорный — ковер выколачивает; пу-  
стоплясы, рога; точно бег кенгуру.  
Точно Конго! —  
Гонг —

— плески пяток: —

— идут коридорами, к завтраку, —

— Эпикурей,

Эломелло, с глазами овечьими; —

— Течва;

— владелец бакчей, Чулбабшей;

— Пэлампа, Мелизанда; при ней адвокат

Дошлякович; надутые Сушельсисы;

— Ушниканим; барон Багенбрей с По-

россенций-Фуффенцем, очень же-

лающим, чтобы его называли Ме-

таллом Фуффенцем;

— Карл Павлердарм, —

— генерал!

С сервированным тонным подносом в тринадцатый номер влетает  
блистающий официант:

— «Пэрмэтэ ву сэрвайр»<sup>1</sup>.

— «Антрекот?»

— «Вотр дэзир?»<sup>2</sup>

В табль-д'от — вход — ему запрещен, — потому что расстро-  
илась координация: он не вставал, — прыгал, с грохотом шлепаясь;  
точно по плитам пылающим дергал кровавыми пятками; задницей  
падал на крепкое кресло, ломая крестец, — не садился.

И статная талия темнозеленым сукном, эксельбантом, орлом,  
то-и-дело, разбросив портьеру, высывалась из двенадцатого: это  
Тертий Мертетев, породистый конь, дрогом бедер и вымытого под-  
бородка, бросал:

— «Вы тут что?»

Часовой!

«Ничего» — сказать мало, где ноль, абсолютный, господствовал.

Тертий Мертетев, достав портсигар, забивал по нем пальцами; и  
в черных пуговицах, — не глазах, — в черных коксах, в усищах,  
подобное что-то сочувствию вспыхивало, потому что дивились он —  
перемертвению нервов.

<sup>1</sup> Позвольте нам услужить.

<sup>2</sup> Чего изволите?

## В КОРИЧНЕВОМ АМЕРИКАНСКОМ ОРЕХЕ

В коричневый, американский орех удивительно мягких диванов  
не строились придержки поз, сервированных, поданных точно на блюде;  
размещение тела, которого бляблая кожа — рук, ног, живота, отвеса-  
ющих ягодиц, — пуговицами штанов перетянутая, точно клейкое те-  
сто; оно, точно кляклыми пальцами, капало из-под костяма, которым  
когда-то парижский портной прошикарил.

Сияющая минеральным бессмертьем змьяль, — не лицо, — точно  
пломба, на корне зубном.

Коли снять, — будет яма, — из шерсти: меж умными мигами глаз,  
нижней челюстью, двумя ушами.

И — без парика!

Запыленный парик красный отсверк, как насмех, разбрасывает  
в фешенебельный, лондонский штамп — с канделябрыны: — под  
бронзой лампы!

И — каемочка марли!

Танцмейстер, протрепанный и захромавший на обе ноги: да,  
да: вид — гангренозного!

Нагло разинувши рот, снял с корней, точно боназ, под Буддой  
обряд совершающий, челюсть; ее положил под парик, чтоб она до-  
сыхала под лондонским штампом.

Тут — Англия, Франция, с их «друадел'ом»<sup>1</sup>,

«друаде Ром»<sup>2</sup>, —

— «друадемор»<sup>3</sup>, —

— а не остров Борнео, —

— не чащи, в которых макаки. боа, какаду, и которые рог носо-  
рога ломает.

Здесь, все же, отель, — где — под зеленоватое зеркало сдвинув  
портфель, котелок, пальто, трость, из передней летит коридором  
Велес-Непещевич в разблещенных лаках, засунувши руку в кар-  
ман; в нем — битка.

Уши слушают: точно бутылка огромною пробкою бьется рядом,  
в двенадцатом:

— «Англия!»

— «Франция!»

О, —

— Малакаки, Мандро, Домардэн, доктор

<sup>1</sup> Право человека

<sup>2</sup> Право Рима.

<sup>3</sup> Право смерти.

Дро, проктор Дри, —

— или Дру —

— друа де мор, —

— только

визы транзитные на истлевающем листике: паспорта. Молодо светом играли глаза, нарушающие впечатление; «ничто», осознавши себя с облегчением, с огромным, без штампов и виз, упиралось задницей в крепкое, американское кресло; открылись вторые глаза, на себе разорвавшие первые, точно сорочку, в пре- красные фоны диванов, прислушиваясь, как в двенадцатом хлопа- ет голосом этот Велес, — вероятно, кидаясь корпусом, черным ква- драмом; и — пяткою по-полу щелкает.

О, суета сует!

## С НАПОЛЕОНОМ

О, радость свободы, — не есть, или есть, испражняться, или не испражняться, пред блещущими писсуарами! Или, — отщелкнуться дверью с «ноль-ноль», щелчком выкинув «занято», с криком согну- ться, — затылочной шишкой под потолок, точно кукишем, броситься: ■ корень углубиться речений: царя Соломона!

Не бить двумя пальцами дробь; безо всякого страха о губы помазаться пальцами: эта привычка Мандро выдавала; теперь уж привычка не выдаст, когда «Мандро» — выдан.

О, счастье быть телом!

Эпоха притворства, история древних культур, — Вавилона, Египта, Ассирии, Персии, — через которую он, «Фон-Мандро» проходил, свою длинную выкинув руку с сияющим перстнем финифтевым, в пальцы зацапав портфель, чтобы шкурой песка голубую овечью могучие плечи, — прошла!

И столетия новых культур отчесал уже он, как «Друа-Домардэн», нанося свой визит этим — Наполеону, Маркизу де Саду, Филиппу Красивому, — перебегаая историей, как коридором по каймам эпох: от блистающих касс, до блистающего: писсуара!

Довольно: пора с откровенным комфортом вращаться меж ато- мами — Гете, Канта, Тиглата-Палассера, — атомами Домардэн!

Не спросят:

«Чьи атомы?»

Дела нет, — чьи.

Пусто небо над трубами: разве есть знак пролетающей птицы?

Над этой трубой летел дым; били крыльями — галки, вороны; и проверял раз пропеллером: Сантос-Дюмон; эи — Лизаше покра- вился.

Небо — пустое; никто не отметит, куда улетел: так собравшее ветер в пригоршни, в одежду связавшее вода, пустая иллюзия, —

— «Я» —

— свои выпустит ветры; вода утечет: в писсуары; и будет — «ничто»!

Все же сился с кресла сойти, точно полураздавленное насеко- мое, жалко прилипшее к месту раздава.

## ОНИ ЖЕ НЕ КИНУЛИСЬ

Скакавшее тело губами писало губернии в странных усилиях передержать ерзы тоненьких, как у караморы, ног, зацеплявшихся, точно крючками параграфа, дергаясь под бронзой лампы; и выве- силось в коридор вопросительным знаком, затылочной шишкой торча в потолок, и лицо, оброненное в грудь, укрывая в муар отворотов визитки. Как плети, не двинувшись, руки повисли, загнуты кистями, поддерживая упдающие из визитки манжеты, которые уж не пристегивались.

Но глаза, выражающие величайшую пристальность, — смыслили; и любопытно метнулись в двенадцатый номер, где виделась мебель — небесного цвета.

Лебрейль, в черном платье, стеклярусовом, с разлетевшейся юбкою от голубого дивана, сидела с коленкою задранной, с вытянутой напоказ мускулистой, смуглой, другою ногой в вуалетке чулка — цвет «гренуйль»<sup>1</sup>, — и показывала равнодушному Тертию кружево бирюзовых своих панталончиков.

Видя издали кокавшее каблучками сутулое туловище, отвалилась она к Непецевичу, ухо топырившему в сладострастные губы ее; и «Вадим Велемирович», всей геометрией корпуса, слева на- право, сломался — к Мандро:

— «А танто!»<sup>2</sup>

А Лебрейль изощренным мизинчиком — к горлу.

— Ассэ: жюск иси!»<sup>3</sup>

И Вадим Велемирович ей, точно пробка захлопавшая:

<sup>1</sup> Лягушачий.

<sup>2</sup> В смысле «до встречи».

<sup>3</sup> Довольно: сыта по горло

— «Компреансиблы!»<sup>1</sup>

Геометрией корпуса, — справа налево, — к Мертетеву, Тertiю.

— «Тертий?»

И Тертий, рукой захватя эксельбант, пятя грудь, как держа караул в императорской ложе, вскочил, согласясь головой, и подбросивши руку; и задом заерзал из двери за тяпавшими каблуками Мандро-Домардэна, который ведь знал, что за ним как затыкает эта компания пятками, в мягких коврах, коли он не свернет пред уборной: Вадим Велемирыч, ручной захватив молоток, пересаживая и хлебная губами, как бешеный боров, — ударится: в спину!

И — остановился: в задыхе; «они» же не кинулись.

## КАК ПИССУАРЫ БЛИСТАТЕЛЬНЫ

Как писсуары блистательны!

Перед одним — Домардэн; Тертий — перед другим, пятя ноги; меж ними — дымок от сигары Мертетева, обремененного домыслами: в писсуарах — он мыслил, страдая и любил.

— «Суета сует — все; ветер ходит кругами; и — воды текут!»

И струя лепетала; над нею Мертетев грассировал:

— «Все мы родимся от похоти — в похоть» — расставил он ноги:

— «Течем, как струя из сортирных пространств».

И с прикряхтом застегивался.

— «Даже имя» — два шага к фарфоровой чашке — «сотрется; скажу — а про пò<sup>2</sup>: писсуары опрятнее, чем будуары».

Страхнул бледный пепел в фарфоровый и округленный оскал:

— «Их же дезинфицируют».

И он с мечтательным вздохом сапфировый выпыхнул дым:

— «Как не бывшее бывшее: несколько лет, и — кто вспомнит, что Тертий Мертетев с Друа-Домардэном стояли здесь, выпятив ноги; и — мыслили здесь».

Но Мандро не ответил, принохиваясь; но зачиркали блеском вторые глаза:

— «Караулимый вами» — пунцовые десны беззубо оскалит — «спокойнее вас; и — свободнее вас».

И заикую став, продрожал:

«Негодий я ужасный, — попал» — эдак скалясь, похаживают «негодяю ужасному в лапы»

<sup>1</sup> Понятно.

<sup>2</sup> К случаю.

О, странно живые, — ужасно живые, — мерцающие над беззубым оскалом глаза!

— «Вы, почтеннейший, — тише» — Мертетев ему, подходя к умывальнику:

— «Этот Вадим Велемирыч, откориленный скот, — «не пшеницы вины о гресех», — так его называем, — чудовище грязное; ну, а приходится, в корне беря, с философским спокойствием действовать: вы не волнуйтесь».

Свои руки вытер:

-- «Пренé: сэриэ нý»<sup>1</sup>.

Передал полотенце.

— «Прискорбная штука есть жизнь».

Но ударило, как по щеке: это — чмокнули губы:

— «Мэрси!»

Что-то вроде неистового поцелуя!

— «Не мучайте: сразу» — глазами хотел приласкаться — «убейте!»

С неистовой ненавистью:

— «Здравенья!»

Рука жестяная клещами схватила его:

— «Замолчите: идут!»

И Мандро, понимая, -- за все отольется, построил невинную мину, как пляшущая обезьяна: под лапой бичующей.

— «О» — ненароком профессор Душуприй влетел, торопливо насаживая на горбину дергявого носа расставом локтей золотое пенсне: золотые показывал зубы:

— «Ну?»

— «Как?»

Бросил руки сочувственно и патетически:

— «Вот человек? Ему лавры срывать, — а он вот что!»

Мертетев же в ухо Душуприю:

— «Плох!»

Но Душуприй свои золотые показывал зубы:

— «Вы знаете?»

И очень сухо с горбины низринул на черную ленту пенсне свое:

— «Я — старый медик: а я ничего в этом не вижу особенного: ипозофранкиками кончит мир»

И — лопнул к писсуару, где стал облизываться, чтобы, убежав к ручью, помыть: —

— да, —

<sup>1</sup> Берите: к услугам

— кордон — утонченный; в глаза не бросается; цепче он проволоки; и — надежнее кандал.

Мандро же, зафыркая, шарчил и кидался простроенным клином своей бороды над бабацавшим в тяжких усилиях телом, бросая в Содомы вовеки веков свой оскаленный рот, попирая ковер, на котором скрещались темные, сизые полосы в клеточку с синими шашками; громко в пустой коридор брекотали — бры, бры, — каблуки — над историями: древней, средней и новой;

а следом за ним, держась линии кайм, вдоль стены, поправляя орла, шел Мертетев;

и ерзавшим задом свой корпус качал:

Перед дверью в тринадцатый номер Мандро торопился ему досказать писсуарные мысли:

— «Кривая не вывезет: и — кривизной кривизны не исправите. Непротивление, — я, к сожаленью, к нему пришел поздно; тогда б не имел удовольствия с вами в беседу вступать».

И Мертетев, подбросивши руку, одной головой согласился:

— «О, да! Суета сует! И — честь имею».

Защелкал в двенадцатый номер.

Мандро же ватылочной шишкой — в тринадцатый; и — налетел на Жюли де-Лебрейльку.

## УБИТ ПУБЛИЦИСТ ДОМАРДЭН

Нога-на-исгу, стан изломавши, без лифа, показывая мускулистую, смуглую, голую руку, подмышку и груди, — застрачивала что-то наспех она в свой блокнот, отняв столик.

Как? Корреспондирует?

— «Акикуа?»<sup>1</sup>

А она, настоящий гарсон, повалясь на козетку, сучила ногами с тем видом развратным, с каким обнажала когда-то пред ним свои прелести:

— «А-а-а-а!»

С перекатами: про «Фигаро»<sup>2</sup>.

Что? Кому?

<sup>1</sup> Собственно: «А кй? Куа?», т. е. «Кому? Что?»  
<sup>2</sup> Газета.

Вопрос — праздный, — как если бы спрашивать, — кто он: Иван, Каракалла, Нерон, — питекантропос?<sup>1</sup>

В доисторической бездне сидели.

Схвативши за плечи Лебрейльку, ее протолкав за альков, он ей лиф зашвырнул, чтоб оделась:

— «Лэссэ муа сёль»<sup>2</sup>.

— «Крэатюр!»<sup>3</sup>

— Он услышал:

— «Саль сэнж!»<sup>4</sup>

Надев лиф, ставши взаверт, бросая блеснь черночешуйчатой талии, юбку рукой захватив, точно вставшая на лапки задние ящерица, шустро шуркнула, точно сухою осокой, в двенадцатый номер, не видя его, будто он и не воздух, которым он все еще дышит; лизнувшись, одернувшись, дернувши носиком, — дверь за собою на ключ; офицерам чеканила твердо головкой, рукою, зажатою бровью.

Мандро же забытый, блокнотный листок зачитал; и в глазах у него заплясали французские буквы:

— «О, ô! О, лалà!»

Там стояло: «Такого-то, там-то» (но — пропуски: не обозначено)... — «Пулей шальною убит публицист Домардэн».

«Дьё де дьё!»<sup>5</sup>

Домардэн — существует!

В эфире он, отображение прошлого, легкой волиной световой, километры отчесывающей от нашей земли: триста тысяч таких километров в секунде; и скоро уже: Домардэн будет зрим в телескоп с Волопаса: с созвездия Солнца — он стерт. Все же: он виден в эфире!

В его физиологии, все еще мысль источающей, психики нет: психа психика.

Мысль далека, как... созвездие Пса.

## ЖДАЛИ СЛУЧАЯ СТИБРИТЬ

Мертетев в двенадцатом номере громко докладывал перед Велес-Непещевичем, Миррой Мирришкой, достав портсигар:

<sup>1</sup> Переходная форма от обезьяны к человеку.

<sup>2</sup> Вот создание!

<sup>3</sup> Оставьте меня одного.

<sup>4</sup> Грязная обезьяна.

<sup>5</sup> Бог богин.

— «Силы нет!»

С треском бросил на стол портсигар.

— «Поскорее!»

Велес, вздернув плечи, оправил сублильно визитку, над пельницей тупо дуясь.

— «Имейте терпенье».

Почтенный свинух, пережевывая что-то кровавою челюстью, тонус тупого молчания для; и Лебрейль — ногу вытянула, свои икры разглядывая:

— «Бьен ликан: са шатуйлы!»<sup>1</sup>

И он выбросил:

— «Случая нет: пока этот торчит Кокоакол, — воняет английским посольством».

Лебрейль, трясая белой копною волос, подавилась, как дымом, от смеха:

— «Фэ рьэн!»<sup>2</sup>

Но Мертетев шагал и рукою зацапывал, тыкая пальцем с сигарой в тринадцатый номер:

— «Он — мучается!»

— «Надо длить!»

Непещевич бычинуую шею с надутую жилой показывал, ухом разинувшись:

— «А то придут: и — украдут».

И тонус тупого молчания — длился.

— «В чем дело?»

Мертетев брезгливо подергал мизинцем, над леплом сигары, которую в пальцах зажал он:

— «Сэрвис милитёр?»

— «Нет, — печать не приложена, Тертый» — Велес помигал, точно боров, с корыта топыривший рыло.

— «А мы-то? Вторая неделя. Да он безопасен теперь: не во-рующий вор!»

Но Велес помотался:

— «Коли англичанам отдать, они спрячут его в Полинезию.. Маленькая табакерка недавно еще продавалась; в ней чортик от-кроете, — чортик пружиною держат под потолок».

Щелки: глазиков нет; а в них жил — умный глаз

— «Он и выскочит из Полинезии: к Грею; а Грей — к Клемансо».

<sup>1</sup> Пикантно: это щекочет.

<sup>2</sup> Ничего

11 гл —

— а так он бранился, презирая.

на глазах. мажущий.

«Пусть он один погибает, киль, — пусть ненароком, устал слишком многое; вбить в это дело осиповый кол, чтобы причина точка была».

Он пошлепал губой кровожаждущей.

— «Дочь же насильовал, глаз выжигал» — приводила резоны Миррицкая Мирра.

— «Пустяк-с!» — Непещевич пошлепал губой кровожаждущей

— «Суть в разговоре Бриана и Грея, который он знает».

Лебрейль, сломав руку, пропятивши впалый живот, неприлично расставивши ноги, хваталась ладонью за перекисводородные космы, дымочком выстреливая: нет, куда провалились — мадам Тилбулг, Тотилтос, Лавр Монархов, которому можно... показывать..; «эти» — не смотрят.

— «Итак?»

Положили убить; ждали случая: стибрить, чтобы тибримый, ставши невидным, точно секретный пакет, ускользнул от английских агентов.

...  
Был «тибримый» незапечатан пока; и ему принес завтрак лакей; повязавшись салфеткою, вынувши челюсть, ее положив на тарелочку, кокнул яйцом: слизевидная вытекла в рюмочку жидкость, как глаз, — за желтком.

Он — расплакался дрябло на кареоранжевых каймах, подбросивши в лоб жестяные какие-то руки: условный рефлекс, — вероятно.

Свернувши на сторону рожу и точно привязанный к креслу, из кресла висел, разорвавши свой рот, точно в крике, — на каре-оранжевой пляске с наляпанной дикою, синею, кляксою

Крик был немой.

Полусон, полубред поднимал точно дымку, сгущаясь томительно в сон, ударяющий с катастрофической четкостью.

## ВЕРЧИ ЖЕЛЕЗНЫЕ

Пушка; ядро, — шар железный; расхлопнулось дверцем; и в нем, как кабина; и узник под локоть введен; ядро вставлено в пушку, которая — хлопнула — в небо! Планета оглохнула; пол потоп-лок; потолок — пол; закон притяжений не есть

Узник, чувствуя кожу в местах, где понятие «кожа» есть бред, с ароматной сигарой в руке — пред стеклом, за которым, развержены звездные бездны дождей и баллистика быстрых болидов по Коперниканским пустотам фланирует, — уже отклеившись кожей от мест, где «Мандро» созерцает иллюзии распространения волн световых, без иллюзий доваривая из «ничто» свои дряни, — имея, —дох, пот, перетуки сердечные.

Видит же он —

— механические происшествия быта электромагнитных субстанций, которые можно двумя пузырями глазами окидывать, но о которых сказать уже некому.

Быть без иллюзии!

Психика, — страх, угрызения совести, — ноль; физиология переживается цифрищами, напечатанными в миллионах сплошных километров; один, —

— ноль, ноль, ноль, ноль, ноль,

ноль, —

— и —

— так далее, далее, далее, далее,  
далее!

Есть ощущения: выдулись, выпухли, точно перины в окне; палец — бычий пузырь; губа — аэростат.

Не Мандро, —

— а —

— рорó —

— верч осей: механическая пертурбация!

Еще отрывка сознания: заботы о болях, которые будут, когда разлетится в кабине стекло, и «ничто», как живое чудовище, перевалиясь, раскусает варящие органы; железы — еще живые; зубной корень дергает; жажала страхом не смерть, — акты тела: чем? Ломом в висок? Биткой по-носу?

Штык протыкает пальто; протыкает пиджак; и наткнувшись на пуговицу, раздирает белье; под пупком холодочек от острого кончика; рвут эпидермис; и — гранное вводится что-то — в кишку: о!

Внимание сосредоточилось на палацах: и событие с выжитом выбухло, как световую кометой слетающий перст сквозь кольца из созвездий: палац — он!

И солнечно выблеснуло из ресничатой, как фотосферы, багровое, злое и острое око профессора, перекосясь в яму мира еще до создания мира, — коситься т у д а, когда мира не будет! Огромный профессор, железный, скрежещущий выгнется с кресла, — в ничто из

ничто, — провисая шюртучною фалдой: хвостом, из которого хлещет циан, все наполнивший.

О, бесполезный железный близнец с очень странным телесным составом — заглотанным воздухом, принятой пищею, переполняя атомные поры, пройдет разреженным кометным хвостом сквозь сквозного Мандро, разбухающего в разреженную орбиту мира развалами атомов, перетрясаемых взрывами сил электронных.

«Мандро» —

— пертурбация,

— или — градация гибелей!

.....

Сон: —

— сели в кабину они, проникая друг друга, лупя к своим гибелям: в странном согласии опытно переживать свои гибели: точно над трупом орлы! Юбиларом профессор сидит; он напаял цилиндр Домардэна, и скинувши тело, пропоротое, как лакею протертую шубу, — с плеча: на Мандро: «Вы закутайтесь!»

Температура ужасна!

Профессор показывает на окошко, в которое ломится кубово-черное чорт знает что! А Мандро, головою зашлепнувшись в спину, трясется, поставивши клин бороды, с горькотцой кисловатой губами нажавкая, потому что он знает: в сиденьи, под задницею, нечто подобное яме фарфоровой с надписью фирмы, испанской, откуда спускается все, что ни есть, стоит дернуть за ручку.

Профессор же радуется:

— «Говоря рационально, еще неизвестно» — рукою в окошко показывает — «что вас, ясное дело, там встретит».

За ручку хватается, чтобы Мандро, точно воду, — спустить: — «Человек я жестокий: жестоко караю!»

.....

Словами таким, вскричав и проснувшись, Мандро сгинул над приличьями света из кресла.

Вскочили в двенадцатом номере.

Понял он, что — цоки шпор; в коридор; к де-Лебрейль кто-то шел, кто являлся как будто за телом. Был кто-то, кого он не видел среди офицеров; являлся за телом; но тела ему не давали; и он уходил без него.



## КЛЯКСИНЫ, ИЛИ КРОВАВЫЙ КАНКАН

Из портьеры ударами пяток, защелкавших, точно бичи, на него головой, как биткой, Непещевич, Велес; с ним — Миррицкая; с ней — оперстненные пальцы Мертетева, воздух хватающие; с ними всеми — какой офицер приходил — Кососόко.

Вердикт?

— «Вы кричали?»

Но сели, глаза опуская:

— «О чем?»

Он же ногу согнул, схватя кресло; и серую, светлую брюкою выуглился, ее крепко обцапав власатыми пальцами и в нее влипнув углом подбородка клокастого; смыслил живыми глазами под темное с бронзовым просверком поле обой, на которых заляпаны кляксыны, черные кольца в оранжеворжавый квадрат; зауглились лопатки; визиточка черная — стягивала, как корсет.

— «Нет, о чем вы кричали?»

— «Он знает, о чем я кричу, потому что он знает, кто я», — на Велеса оскалился.

Тучный Велес, вынимая сигару, не видел его: только кресло; и воздух: над креслом; бесило, что он навывает себя Эдуардом Мандро, — не Друза-Домардэном, хотя состав букв и количество их — одинаково; установили врачи: паралич; почва — сифилис; что же, — одних превращает болезнь эта — в Ману<sup>1</sup>; других превращает — в «Мандро»!

И Мертетев взорвался; ладонь над щекою занес:

— «Издеваетеесь?»

Пальцы, щипавшие воздух, не дернули уха; они занграли в дрожалки; казалось: все вместе сорвутся и будут выкрикивать хором багровые ужасы —

— в Лондонский тон, в бронзу ламп, в жирандоли и в чернолиловые шторы!

Один Непещевич никак не дрожал.

И Мертетев, отставши от уха, стыдась, растирал о ладонь свой кулак.

— «Сумасшедший вы есть: сифилитик несчастный!»

«Несчастный» сказал, отвечая на жест заушения, а не на слово, внимая себе, как другому:

— «Я правду сказал».

<sup>1</sup> Мифический законодатель Индии.

И казалось, что он подавился, схватившись за грудь, на суровое поле обой: с красным просверком; не понимал: коли шишут, что пулей убили, — зачем де-Лебрейль чемодан собирала на фронт.

— «Чего медлите?»

Спинами все повернулись и громко кричали о нем: точно то, что сидело и громко икало в рот Мирре Миррицкой, — сидело, зашитое в куль.

— «Невозможно ему в таком виде являться в курительную: его издали надо водить».

Он подшучивал:

— «Я, точно мамонт, показанный в дали времен!»

Так кончалось общение: с животным, растительным царствами; мир минеральный остался: железная проволока, гвозди, штопоры!

— «В далях времен: с павианом мандр...»

Руку отвел, — ту, которую Тертый на рот положил:

— «Виноват: говорю, — с павианом мандрил».

Задышал (точно били), вперяясь в Велеса, который ведь был безоружен, — сутуло, и тупо шарча, дуя губы сплошной шансонеткой, чтобы над оранжевокарим ковром, заглушающим шаг, на котором разляпана дикая, синяя кляксина, и — с места сорваться в кровавый канкан!

Это чудище встало: и вышло с попышкой, их уведя за собой

Есть в паноптикумах перед пыльной шторой доска: «Просят дам и детей не вводить»; но вы входите; и натываетесь на восковые, холодные куклы, одетые в пыль и протреп сюртуков, со вставными глазами; и — с идиотическими, удивленными, детски невинными, но бородатыми лицами, в галстуках, в черных жилетах, в очках, с обнаженной рукой, или с пяткой, покрытой прыщами, гангренами, — сделанными.

## ИНТЕНДАНТ ТИНТЕНТАНТ

Телефонное ухо: с далекими центрами соединили его; затрещало:

— «Спасение есть!»

Пустотряс: кто спасет?

Тук, турусы: — тарелки, пл. ч. пяток; рассыпали пуговицы роговые; рюга; шаг — спасителя — по коридору!

Он — выскочил.

Пуст коридор; но — два глаза в конце.

Свет?

Нет —

— глаз офицера высокого, с тонкою апоплексической шеей, и с синим совсем сумасшедшим, от бешенства диким, лицом!

Офицер, захватывая за бородку, вперился в то место, которое стало «Мандро», как в тарантула скачущего, вызывающего в нас мгновенно же два рода чувств: прочь бежать, раздавить.

И услышалось издали, как kloкoтaннe тонкого горла, сжимаемого подлeтeвшeю к горлу рукой.

И Мандро:

— «Что вы так?»

Никого!

Было: числясь Друа-Домардэном, уже отчислялся от всяких «друа»<sup>1</sup> на Друа; и хотел сигануть через кресло: — оранжевопельный фон, — как пожухлая шкура распластанного леопарда.

Хотел сигануть в темночерные пятна на бронзовом темном, как шкура боа, — коридора какого-то; из глубины коридора хрипел си-небакий; не горничная выбегала на зов и; и — когда это было? И — где?

И не вспомнилось.

Ассоциация вспомнилась; она бессмысленна: мелким петитом, без шпон, сочетание букв: — «Интендант Тинтендант».

Водосточная крыса — в захлопе метается; случаи были, когда разрывалось крысиное сердце.

## ЛИЗАША, ЛИЗАША!

А дни проходили.

Закончено, разрешено: ликвидация органов; урегулирован этот вопрос, пересчитаны» ребра; есть метка в жилете, куда ставить дуло, когда они с «этим» приступят.

Готово!

И можно сидеть, опочивши от дел; сутки — ящики выпростанные — века; и четыре недели — три тысячи лет — с того мига, когда стал готов; а в желудочках мозга катались какие-то шарики воспоминаний (в обратном порядке); причины, как следствия, виделись роем возможностей; переживались многие жизни в одной.

Малакаки, греченок, — пред торчинской лужей помедли, — скотину Мандро, его усыновившую, верно б не встретил: сидел бы под вы.

<sup>1</sup> Прав.

веской: «Губки»; на жизненной линии точки суть пересечения линий, которые все пере мыслить — стать декалионно-животным и декалионно-головым, разбухнувшим: в судьбу судеб!

И Друа-Домардэн, разнесенный на буквы, — «дэ-э-р», «уа-дэ», «о-э-м-а», «э-р-дэ-э-н» — и мандро, и Мордан, и Моран и Роман; модуляции — Наполеона, бушмена, убийцы родителей, — Карра; и — Марра!

Мандро — сумма всех воплотимых варьаций; он стал спекулянт.

— «Вы артист спекуляций», — ему говорили.

Он мог бы сравняться с Рокфеллером; и среди русских дельцов пройтись — лицом слав; ноги быстро всучив в камергерские, белые брюки, сигал бы еще, чего доброго, он в золотой, оперенной едва, треуголке — семидесятипятилетней развалиной!

Зуд любопытства, его, безыменку, в рон, безыменок, — увы — засосал; рой в роях — гадил, резал, насловал, падал — в одних роевых, становящихся, нигде не ставши: «кабъ», да «как бы»; но «кабъ ба» такая — тоска.

Все рванулось в нем вдруг:

— «Если б был!»

О, он знает теперь, что звездило, откуда звездило: —

— из глаз, и

тогда понимавших его, не понявшего вовсе себя: —

— из глаз: дочери!

О, о, — что сделал с ней!

Она увидела — спрутище!

Переменить точку зрения ей; и — какая бы жизнь началась?

— О, верните ее! Дайте только возможность вернуться, начать!

Дайте только возможность скзать:

— «Я, Лизаша, теперь, неувиденное всею жизнью всей смертью увидел, чтоб жить!»

## С ОГРОМНОЙ, КАК ХОБОТ, РУКОЮ

Де-Лебурейль и Миришкая, Мирра, однажды пошли посмотреть на него: в половине двенадцатого; он, блея глазами, теряясь сознанием, сидел, отвалиясь, точно камень.

И — он им сказал:

— «Подойдите, — не бойтесь меня; дайте выпить: я силы теряю».

Они же стояли, как мертвые; не подошли, потому что его, как и не-было: дергались губы одни.

И пошли к Непещевичу: посоветаться:

— «Он просит воды; не послать ли за доктором?»

— «Только потерпите муки вы с ним», — Непещевич советовал, — «лучше оставьте его».

В половине второго вскричал:

— «Приближается».

Выкинулся в коридор.

И пустой коридор огласился, как рукоплесканием, шлепами ботинок под потолок, возвещающих —

— о прохождении вселенной сквозь место, где гибла другая вселенная: декалион лет назад!

.....

Это в светлостеклянных, раздавшихся шире и выше пустых коридорах, с портала (парламента точно), под выгибом свода, между двух колонн облицованных —

— топал —

— профессор Коробкин —

— в облезлых, медвежьих

мехах, наставляясь котиком, как клубуком, на Мандро, бросив руку вперед, —

— держа вспыхнувший диск в позе дискометателя: это был — отблеск!

Он шапку сорвал; и остался в своей седине, точно в шлеме гребнистом; рука показалась огромной, как хобот, в прорезе осолнечном; корпусом еле дотягиваясь до руки, он бежал за рукой бордой освещенной, как будто светильню держа и боясь ее выронить.

Бег этот, аляпанный в уши, — сотряс; и отпрянул Мандро, не узнавший профессора: — тот ведь был — темный, двуглазый, с каштановой бородой, с налитыми лукавством щеками; а этот — седой и худой, с прощербленным лицом, перестроенным силой, переосвещенный; вишневого цвета вцарапанный шрам; коленкоровочерный квадратец на глазике; — нос, окрыленный бровями, как карнаида, поддерживал крутой лоб, на котором морщины, схватясь, быстро сделали: — «же», «и», «з», «н»!

.....

Отпечаток в глазу дольше держится в миг потрясения; светящийся контур от ели, торчащей вершиною в небе, когда перебросите глаз, точно с ели снятой, вырезается в небе; в минуты волнения — контур отчетливей.

Это доказано Гете<sup>1</sup>.

Мандро, потрясенный все эти последние дни до развала мозгов и составов, увидел вокруг головы — световую, вторую, огромную, ширившуюся; прижатый к стене, он закрылся рукою; сквозь пальцы увидел: стен не было; был — дым из глаз (очки черные портили зрение); и, как оптическая аберрация, вляпанная в горизонт: фотосфера —

— огромной, безлицой главы, напечатанной, как на пластинке, —

— из дикой вселенной, в тот миг пересекающей: нашу вселенную!

## В КОРНЕ ВЗЯТЬ

В то же мгновение локоть толкнул со спины.

И — профессор, приземистый, крепенький, быстренький, видясь заплатой, пылинкою каждой, морщинкою каждой, прорывал:

— «Ах — да-с: виноват-с!»

И пронесся: на двери в двенадцатый номер; на номер двенадцатый выпятил нос; и отчетливо тяпнул:

— «А-с?»

— «Рядом!» —

— «Дом» — точно пощечинной эхо отляпало в ухо!

Профессор, увидев Мандро и его из узнав, подсыгнул:

— «Извините, пожалуйста, — это...?»

И видя открытую дверь, трижды стукнув, — в тринадцатый: пуст; на Мандро повернулся.

В двенадцатом тоже услышали; нос показался оттуда.

Мандро, за профессором в номер влетев, ключом щелкнул; им в спины шесть пяток прошелкало: по коридору, к тринадцатому.

И тут скинулись, точно наушники, уши: с ушей; катарактами спали два глаза: с глаз; а обертоны, слагающие звук диких воплей, извезданный, странно кивнули из «в корне взять», из «извините пожалуйста», как роковое, ужасное —

— «З-д-раа-в-с-т-в-у-н!»

Видно, в спине у Мандро скрыто память сидела; нашептывая —  
— тридцать месяцев —

■,

<sup>1</sup> В его световой теории, в глассе «Субъективное зрение».

— капли красные: капали!

Тут и орнуло, с Мандро: из Мандро:

— «А!»

— «Узнал!»

Голос недр:

— «Поднимите мне веко!»

И тут же, — как бы вперерез, — как навстречу, — открытие, точно не нашей вселенной: на этой планете лишь двое тот опыт несут; стало быть: только двое друг другу сумеют сказать нечто новое — о таком опыте; о, только двое, включенные в эту тюрьму, понимают друг друга; и — стало быть, — тянутся, точно железо, к магниту меж ними!

О, в невыносимости наглой почти до преступности встрече, ломающей все заграждения морали, возможной в условиях двух сумасшествий, —

— у двух сумасшедших, —

— вскричало в Мандро точно го-

рло гиганта, уже безголового, сбрасывая черепную коробку, скатывающуюся, как парик, им повешенный на канделябру:

— «Вот... собеседник — пришел!»

В токе молнии, рвавшей палимые нервы с ушей и до пяток в одну миллионную долю секунды, мелькнуло: и трясом, и пересканием с предмета к предмету: — парик, челюсть и бриллиантин; а за ширмой, с постели, — «дессу» де-Лебрейльки!

И — как два потока, два ветра: сквозь ветры.

Один поток: как расширение газов, сорвавшее череп, как клапан котла, — расширение в пределы, где нет притяжений, куда не додёрнуться гостю железному.

Другой поток: удар болида по черепу: из бездны звездной ядра с распахнувшейся дверью кабины, откуда профессор Коробкин с «пожалуйста-с, милости просим» — выскакивает; а Мандро на него головную дыру разевая, как широкооротая рыба, на берегу бьющаяся и в задыхе просящая, чтобы ее в воду бросили.

Так запросилось в Мандро из «мандры» что-то с ним на словах, своих собственных, бросивши на берегу смрадный труп, по воде —

— на словах —

— побежать —

— с этим: к этому!

Только ему, только это в пригоршне снести; и в пригоршню принять из ладони —

— то, —

— что этот даст!

И больными ногами, с подкидом и толпом почти что копыт, перебросилось к двери в двенадцатый номер, чтоб выбросить дверь, вырвать ключ, от Лебрейль, им заикнуться: от мира.

— «Секундочку... я...»

«Щелк» —

— остались в кабине, закупоренной герметически: тронулись —

— в сон о кабине!»

## ПРОФЕССОР

Профессор влетел такой маленький, быстренький, в шаг тяжелящих мехах, не сняв шубы, и шапки не бросивши, ерзая глазками мимо Мандро и набренчивая часовой цепочкою.

Остановился, как будто слетая с себя самого, на себя самого, и прислушиваясь: сбросив камень с вершины, не видя паденья, прислушается; и — звук: в дальней расщелине!

К столику подбежал, точно поп к алтарю, на котором он будет служить; усы вглядчиво дернулись, точно на знаки ужасного культа, когда, оробев, тронул челюсть; и — на канделябре неловко поправил раскосю висящий парик.

Только тут на Мандро дернул глазом, как вор уличный, себя прибодряющий:

— «Я, говоря рационально, — едва к вам попал».

Своим глазом вынул он в глаза, чтоб по нервам, под череп, по пасть и там заново что-то расставить в снах!»

— «И не будем касаться подробностей!»

Сел, глядя в руку, как будто имея в ней знак неизвестности. Труп перетянутый синелиный стоял перед ним в запыленной визитке; он острые ребра и красные десна показывал.

Точно кикимора: —

— мог бы теперь он пугать, как ворон, гимна-

зисточек; —

— прежде: —

— затянутый в черный сюртук, уважасмый все-ми, и даже любимый, влетал он в передние, цимья бакенбардой, к груди прижимая ци-

линдр, перебрасывая на ходу —

— паре рук: пару лайковую!

Свой протреп пропыленный обдернув, затылочной шишкой и пяткой запрыгал: он чувствовал, что этот знак, ставший фактом совместного их заключения здесь, не иллюзия, а стены эти трясушая быть.

Коли так, предстоящее (а — предстоял разговор) — уже прошлое: сказано ими друг другу из бредов (и бредом отвечено) все.

Зачесал на профессора, выкинув руки и бороду, как бы имея принять неизвестность.

И — сел.

Но профессор еще подбирал выраженья: была морготня под очками; была ужасающая тишина: — эфиопская жуть в этой морде разбитого сфинкса!

Но глаз разгорался, как дальний костер: он с собою самим говорил.

## ШЕБУРШАНИЕ СТАРУХ

Точно лоцман, ведущий сквозь мели речной пароход и не верящий береговым очертаньям, вытверживал он в голове план беседы, изученный твердо, — в ночные часы, где все это давно переохано, перескрежетано ржавой пружиной постели.

Как перетащить этот плечи ломающий груз?

Миг — пришел: говоря рационально, — на камне по водам спускается, зная, что миг колебания, неосторожное слово, беспомощный морг — камень каменной массой ставши — ко дну пойдет!

.....

Забараракали двери, ведущие в номер двенадцатый; пестрою рожей свисавшая ткань, закрывавшая двери, гримасничала, склабясь складками; черными кольцами, точно глазами, напучились фоны обой; и глаза — ненавидели их.

— «Уарирэ ву?»<sup>1</sup>

— «Прошу вас открыть!»

— «Дело в том, что...»

«Больному мешааете...»

«Кто вы такой?»

Это бухнуло, бахнуло, квакнуло дверью; стояло за дверью; и там восемью сапогами шарчило; ходила, как клык, перламутровогранная ручка.

<sup>1</sup> Откроете ли вы?

О, не задержать пропивавшее прошлое! Дверь — только драночка; дверной замок — только бантик! Вот-вот, разорвав настоящее, — черное скопище — вломится!

— «Ки?»<sup>1</sup>

... «Д'у?»<sup>2</sup>

И как насекомое, пяткой раздавленное, прилипает к сиденью, так он, Домардэн, в него влип, лишь отмахиваясь волосатой рукою от двери, толкаясь от двери к профессору клином волос и затылочной шишкой, другою рукою умоляя профессора не отзываться: есть всякие звуки; лицо прятая в грудь, угрызаясь, точно бесчинство, пытавшееся проломиться сюда, — его собственный хвост.

И прислушивались, как слабели нахальные трески, сменяясь шебуршаньем старух; одними глазами светящимися, а не ртом, стал рассказывать о пережитых им ужасах.

Было молчанье.

Профессор, как будто не слыша, подкрадывался бородой; выраженья лица скрыв усами, развертывал бороду пальцами.

## А ПОТОЛКИ ПОДСКОЧИЛИ НА МЕТР

Все ж, решаясь, нежнейше помигивая, потерялся улыбкой, как девушка:

— «Случай, меня посадивший» — усы, бездыханными став, опустились — «в лечебницу...»

И продирает свою бороду пальцами.

— «Вас посадивший...»

И он оглянулся:

— «Сюда...»

И на дверь:

— «А про это я слышал!»

Про что?

— «Сблизил нас».

Продирает свою бороду:

«Я — знаю вас».

Оба замерли; оба, взглянув друг на друга, друг друга не видели; и, помолчавши, профессор усами вздохнул, точно деревом ветер.

«И вы меня знаете»

<sup>1</sup> Кто?

<sup>2</sup> Откуда?

Клин бороды перед ним засигал вопросительным знаком в усилиях не подавиться нервическим иком; мелькнуло в Мандро:

О, о, —

— страшное что-то в косме, перед ним вырастающей: невероятных размеров казалась она!

Закрываясь, повесился в кресле.

Профессор, увидевши это, пытался своей бородой и рукою умалчивать, с неуловимой почти укоризной вздохнув:

— «Вам бы надо учиться».

Мандро посмотрел на него необычно живыми, внимающими молодыми глазами.

— «Наука есть истинный свет».

Тут профессор взглянул очень строго, почувствовав, что перепутался; перевоспитывать спрута не легкая, в корне взять, штука!

А рожа портьеры ослабилась складкой: сказала отчетливо:

— «Это — Коробкин»!

Сказали за дверью хихиком старушечьим дачские, шелковые, кружевные «дессу»; закачался со столика страшный парик, повисающий на канделябрине, точно с изогнутого, металлически строгого рога из фона портьеры, где черная лапа царапалась: складки слагались в наглое рыло.

— «Эй, — вы!»

И под рылом шарахалась дверь.

То за нею, расставивши фалды, Велес-Непещевич, Вадим Велемирович, в скважину вставился, хлопая глазиком, ползая им, как клопом, по профессору, задом из фалд на диваны небесного цвета, на Мирру Миррицкую пялясь, бросая — и брыком, и мыком:

— «Молчите».

«Мешаете».

— «Вот...»

— «Посопели».

— «Уселись».

Миррицкая с недоумением, «Жюли» же с развратной гримасой бросались носами и пальцами в дверь; и потом — друг на друга: носами и пальцами:

— «Дё з'эньбисиль!»<sup>1</sup>

— «Дё!»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Две шельмы

<sup>2</sup> Боже!

— «Дё фу!»<sup>1</sup>

А Мертетев, схватив эксельбант, заметался меж ними двумя и Велесом, стараясь за фалду его оттащить, и, пропятивши зад, самому приложиться; Велес его локтем пихнул, бахнув пробкою:

— «Это — Коробкин!»

И все тут защелкали.

И нарушая молчанье, — трудное дело воспитывать спрута, — профессор Коробкин попробовал:

— «Весь вопрос в том, — вами нерационально продумано, — с пыхом усами подергал — «когда...»

Как сказать? Недостойно бить битого:

— «Весь вопрос в том, что не «вы», или «я»: без открытия — вы; я, допустим, — с открытием: ги!»

И отдался в дрожавшие и волосатые руки; лицо от лица, как сквозь облако облако, белым, сквозным одуванчиком в солнечный дым перевеялось:

— «Весь вопрос в том, что стоит» — и он всем существом прояснял — «нас связавшее: как-с, чем-с — не важно-с!»

Одною рукой — на парик, а другою (ладонью) от сердца — на сердце; себя уверял: у Мандро — тоже сердце; теплом охватило Мандро.

— «Этим сказано все-с: мы» — ладонь на себя, на Мандро — «тут» — ладонь на парик, на козетку — «сидим!»

И Мандро показалось: профессор сидит такой маленький и не лицом, а рукой, приглашает Мандро быть свидетелем, что потолки — поднимались, а свет — нарастал:

«Чего ж более?»

В комнате вспыхнули, в корне взять, лампочки, а потолки, в корне взять, подскочили: на метр.

## И СИГАЛА СИГАРА КОРИЧНЕВАЯ

Половинки дверей, разеваясь, как рот, с краком выломались; и, как ус, разлетелась портьера.

И, —

— руки в карманы,

ощупывая вероятно битку, подбородком,

<sup>1</sup> Дав сумасшедших!

вдавившимся в грудь, и безлобой, сви-  
ною щетиною — в комнату эту —  
— Велес-Непещевич —

--- шагнул!

И за ним, раздирая портьеры, просунулись — три головы.

Домарден с минеральным лицом заводной, механической куклой паноптикума на Велеса задергал: болбошить багровые бреды — их стиль; из-за солнечных зайчиков пеструю рывом козетку схватил с неожиданной силою он; и махнул из сияющих светом пылей на чудовище, из лабиринтов другого какого-то мира ползущее с мыком, которое село отскоком на корточки с глупой улыбкой, готовое на что угодно: скакать, так скакать, приканкивая, или, если угодно: рвать мясо зубами!

Меж ним и Мандро бахромою мотнулась козетка упавшая.

Нет, вы представьте: сигару свою зажевав подбородком, Велес-Непещевич присел за козеткой, балбоша по ней кулаком, зажигающим, точно бинокль, — металлическую зуботычину; как из-за ложи, окидывая клоунов: «Здравствуйте, — вы!»

И сигала сигара коричневая из губы оттопыренной.

Три опустились за ним головы, показав три спинные дуги.

Непещевич откинулся:

--- «Да не мешайте!»

--- «Не перебивайте!»

--- «Не путайтесь!»

Он, дипломат и чиновник особенных их поручений, насасывал дым, выжидая спокойно того вождельного мига, когда совершится выламыванье инструментами — красного мяса — из мяса!

И три головы — отступили.

А он, положив свою голову на-руку, руки локтями к козетке прижал: панорама!

## АНГЛИЙСКИЙ АГЕНТ КОКОАКОЛ

Мандро, захватившись за грудь, раскрыл рот — извизжаться: на чудище; но — он не мог; и, грозя указательным пальцем ему, острым клином волос под профессора дернулся:

- «Я заклинаю нас, — не обращайтесь на «этих»; они постоянно присутствуют тут».

Скрестив руки, профессор одной бородою нилзнув, не взглянув, отвернулся, подставивши спину Велесу;

... «Садитесь», -- к Мандро он — «чего это вы?»

Игнорировал взломщиков:

— «Я никого тут не вижу-с!»

Взглянул на парик; предстояло ж ему повернуть колесо рулевое: мель близилась; и пароход мог пробойну дать:

— «Нас — ждут; мы — пойдем».

Но Мандро перелдернулся мукой:

--- «Не пустят меня».

--- «Проведу-с!»

И порадовался на лицо, искаженное мукой, что есть-таки мука!

Велес-Непещевич же, сообразив что-то, — бах.

— «Кокоакол — сидит?»

— «Я не знаю», ответил двенадцатый номер.

--- «Валяй, Кососокол!»

И шпора задергала: по коридору.

Английский агент, Кокоакол, Колау, был тайно приставлен к французской разведке.

Профессор, не слушая гадин, в парик говорил:

... «Всею жизнью к подобного рода субъектам» — он дернул рукой на парик, — «прибежали; они положили на плаху топор свой; вы с ними кричали в пустынях: ай, ай!»

В коридоре задергалась шпора; и голос сказал:

- «Кокоакола нет!»

— «Ладно», — гадина такнула.

Вставши и шубу сваливши на кресло, профессор простроенным бацом пошел вдоль козетки — под стол, к парик, не взглянув на чудовище, руку играющую на парик протянувшее, точно не видя: ведь не обращают внимания на паука, когда он сосет мух, в миг ответственного разговора-с!

И вдруг непонятно и дико ревнул:

— «Кто позднее пришел, тот идет впереди!»

И как в самозабвенье, парик оторвав (уже лапа тянулась за ним), опрокинул его на ладонь; и, как чашу пустую, разглядывал:

... «Прейнтересная штука-с!»

## ТАНЦМЕЙСТЕР НА ПЛАХЕ

Мандро, расширяя ухом, ловил эти звуки, которых и не было: ведь: были мысли; и были из глаз, точно вылеты птиц; была смена сквозных выражений. Он серую брюку с полоской блонинного цвета

коленкою левою выуглил, сунувши бледный ботинок под правую ногу; морковного цвета носок; а ботинок — с серебряной пряжкой.

Замашки — танцмейстера; и — парикмейстера: дергался, как под трамваем, не будучи в силах (трамвай набегает) — вскочить.

Тело — дикое: дергалось дико.

Лицо, не живое, совсем молодое, не двигаясь, — бронзовым просверком шерсти жесточилось; молча вперилось глазами, огромными, умными, как говорившими: —

— «Под ураганом — я пал!»

— «Моя кожа разъелась горючей проказой».

— «Огонь попал в мои кости воняющие».

— «И душа моя, точно лиловый морщочек бумаги, охваченный пламенем, пережигается, — добела: сгинуть!»

— «Но я — еще есть!»

Он разглядывал собственный дерг, зная, что гальванический ток переключит конечность у дохлой лягушки; и если животное дохлое дергается, как живому еще «Я» — не дергаться?

Будь он царем Соломоном, вперяющим в плаху глаза, — тем же самым танцмейстерским жестом, одною рукой закрутив волосинку, другою отставясь с мизинчиком загнутым — выю на плаху положит!

Уж тлен выступал на челе; и глазницы — проваливались: двумя черными ямами; а, — вы принюхайтесь: запахи опопонакса!

За ним заседало чудовище.

## УСОМ ТРЯСЕТ И КУСАЕТ

Профессор Коробкин, не глядя на ужас, не глядя в Мандро, — парикю, как зачитывал лекцию: перед чудовищем:

— «Мы — дети света-си!»

Мертетев, рукой раскидавши портьеру, влетел; он схватил Непещевича за руку; руку другую как на цирковую арену выбрасывал:

— «Оба — сошли с ума! Нет, — посмотрите: и сам с ними ополоумеешь!»

Из-за барьера бросался — к профессору:

— «Бросьте мосье Домардэна!»

— «Вы видите сами, что он невменяемый».

Но Непещевич, как палкой сигары махаясь из губ на Мертетева, — почти с презрением:

— «Тсс!»

А Мертетев не слушался; и собирался, оставив козетку, прыжком стать меж них, как заправский циркист:

— «Вы идите себе: медицинский надзор установлен за ним»

Непещевич вскочил, испугавшись: нарушится редкое зрелище; тупо широкой спиной заслонил он Мертетева:

— «Тсс!»

Этот дикий старик наводил, вероятно, его на весьма плодотворные мысли; и тотчас Велес головам, протянувшимся из-за портьеры, забырил:

— «Удача...»

— «Колумбово просто яйцо».

— «Тсс!»

— «Не время: потом; вы — испортите!»

— «Слушайте!»

— «Этому» — на Домардэна показывал — «этот» — а профессора тыкался — «визу принес: он — поедет на фронт!»

Мадемуазель де-Лебрейль изогнулась с зашипом двух пальцев, которым разглядывают в бомбоньерках конфетину, приготовля сь конфетину вынуть, лорнировала — тех, которые — «там»...

Тут профессор вскочил: глаз — морозистый; выпуклый лоб, точно в шлеме гребнистом, нацелился твердым булыжником на кости лобные гадины, а жилватой рукою нацелился на Домардэна:

— «Вы будете долго искать его, и не отыщете!»

— «Как это так не отыщем», — ответила гадина — «вам потеряться не так-то уж просто».

— «Пред вами захлопнутся двери, а мы с ним — пройдем».

И профессор всем корпусом, а не плечом, пырнул носом, как влоя носорог, протаранивший рогом; а руки — по швам; и до выюта их зажимал в кулаки он.

Велес торопился додергать:

— «Кусает и усом трясет!»

И, расставивши фалды, им зад показал.

Он ушел, хлопнув дверью.

## КУДА ВЫ ЗОВЕТЕ?

— «Куда вы зовете? И как мне пройти?»

Мандро думал, что бегство — удастся: вдвоем, куда нужно; что их не найдут, потому что спаситель имеет, наверное, все основания знать меры, им принятые для укрытия беглого.



Час этот — их!

Он воскликнул:

— «Никто не умеет так действовать: где научились вы этому?»

И не профессор, а лоб, перед ним изгибая морщину могучую лобною кожей, — запечатлел:

— «Это вы научили меня».

— «Как подоблачным громом ступаете: полки шатаются; как научиться мне поступи эдакой?»

— «Поступь приходит — поступками».

И посмотрел через стены, которые — дым беловатый в глазах у Мандро: белоглавая туча несется сквозь стены; как издали, — все; и, как издали «этот» — стоит в седине, как в венке из ковыли! Все это мелькнуло — в Мандро.

Но как солнце, играющее книгой блесков в заре, ликовал на ликующего глаз профессора: блесками; точно он бил молотками до искр по скрещению лобному своим гигантским лицом, промысляющим руку: шатались в Мандро восприятия врительные.

А профессор с притопом чеснул под окошко рукой с париком, точно с чашей пустою; и солнечно вспыхнули красные просверки.

Тут же: чеснул от окна с париком, точно с полною чашей, на желтую лысину; и опрокинул на желтую лысину силу свою:

— «Я ссуженно вами же — вам возвращаю!»

Усы, как две рыбины, выплеснулись, как хвостами серебряными; и — опять унынули: в ничто.

И парик положил он на стол.

Разумел же он —

— муки, Мандро приготовленные!

И, ПРИСТУКНУВШИ БОТИКОМ, СКВОЗЬ ПОТОЛКИ!

Тот — не понял.

И думал, что речь — о спасении: от ожидаемой кары.

Увидя, что он бороною сверкает в луче и сжимает дрожащими пальцами пальцы под горлом, подумал, что странно стоять: хлопать глазом; не бухнуть ли в ноги: лежать при ногах, закрываясь руками? Он весь сотряслся лукавыми помыслами: может, может профессор заверить в судах, что — не он приходил за открытием, а дед, «Мордан»<sup>1</sup>, перепойца, дряхлый беспутник, которого видели

<sup>1</sup> См. последнюю главу «Москва под ударом».

же, что не он выжжет глаз; они вместе с профессором, став пред судами, присягою ложной заверят, — что — так!

Проскрипел, точно дно парохода о мель:

— «Погнбаю!»

— «Да нет же-с: эхма! Как вы можете эдак!»

— «Спасите!»

— «Уже-с!»

— «Не губите!»

Профессор — расплакался:

— «Не понимаете вы!»

И портьера, как режа оскалилась диким раздвигом, как ртом; в ней — четыре тряслись головы, как четыре оскаленных ауба.

Слезам играл глаз безумца, заплакавшего в пуп земной, косный, злой — над мучениями: тела этого! И бородой, как кустом загоревшимся, требовал, — не от Мандро, — над Мандро — в золотые столбы пылевые, как бы разверзаясь телесными недрами перед ковром, на котором в кирпичные, синие шашки и в пыли отступкивал лоб себе синие шишки:

— «Вы — выздоровели!»

Взблеснуло.

— «Вставайте!»

Кричало — сердечными туками:

— «Исцелено мое сердце, количеством звезд, измеряемым этим пришельцем!»

— «Я — жив».

— «Снова сложены органы».

— «Вложены смыслы: в глаза, в уши, в жианы!»

— «Созидаю в ней здание».

— «Приготавливаются нам облака!»

И привизгннув в больном и опасном востурге, вскочил он, готовый на все.

Пароксизм сумасшествия буйного, их обуяв, стирал граня меж ними. Профессор хватал его за-руку.

В шубы влезали:

— «Где шапка?»

— «Вот!»

— «Ваша?»

— «Моя!»

— «Ну теперь — мы пойдем».

Мели минули: в оси вселенной, обломанной, — новая вставлена ось; и сию же минуту они в меховых своих шубах и шапках, пристукнувши ботинками, невозбранной, свободной дорогою: ринутся, — сквозь потолки!

— «Ну?»

Профессор полой меховою, как ринется в дверь; за ним, бросив тринадцатый номер, — Мандро, —

— Эдуард —

— неизвестно куда, неизвестно на что, потому что ничто не касалось его.

И — никто не задерживал.

Только из двери в двенадцатый выскочила де-Лебрейль — сумасшедшая тоже; за ней — сумасшедшие: тоже; она же их, вытолкнув, двери замкнув, бестолково забегала; сдергивала на ходу: юбку, лиф.

И осталась — в одних панталончиках!

### Я УЛЕТАЮ, МОИ КУПИДОНЧИКИ...

— «Мирра, — алло: Леонардовне потелефоньте!»

Велес до вола перед зеркалом пыжился, в зеркале видя багровую рожу; и строя ей рожу: манжет перещелкивал.

— «Чтобы она, Леонардовна, свою квартиру очистила; и — чтобы ящик поставили».

Стал перед Миррой надувшимся гиппопотамом.

— «А ключ от квартиры — сюда; куда хочет, сама; чтоб ноги ее не было».

И — до слона надувался:

— «Мешок и рогожу».

До мамонта!

— «Третий?»

И как цеппелин, разносился щеками; висел из небесного цвета обой над небесного цвета ковром, из арахмалов тугих свою вывалив шею.

Пред ним Кососоко, рукой и плечами, как перед заведующим департаментом:

— «Слушаюсь! Третий в бегах».

— Слепешкий, Мердон? Чтобы были!

— Есть, будут!»

Из губ перепыженных выпустив дух, Непещенич осел из небесного цвета на мягкий ковер; язычищем напряженным вытыкнул щеку; и с шишкой нащечной стоял, что-то соображая.

С улыбкою липкою:

— «Ну? Покажите себя!»

Кососоко чернявый, высокий, худой, — шею выгнув, представивши руку с цилиндром, отставивши руку, загнул свой мизинец и став Домарденом:

— «Бьэнсёр!»

— «Бесподобен» — Миррицкая.

— «Не без таланта» — Велес; языком на щеке снова шишку поставил; и — шишку убрал; деловито выбрасывал: в матовый, ламповый шар:

— «Не понадобится: мы поедем в закрытом моторе; подъедем сюда: показаться за стеклами; не разберут... Ну там тоже: белилы и прочая, прочая; миропомазанье — словом: мамзелька вам даст; где она?»

Кососоко:

— «Переодевается... И чемодан перевязывает».

А Велес, пав в диван, головою — в промежности; как дохлый скот, перевесился:

— «Это старик услужил: мифимонами; свечку ему ставьте, Мирра: Исайя ликуй! Со святыми его упокой!.. Исключительный случай, что нет Кокоакола; неповторимая штука!»

Вдруг ставши багровым, распевающимся тенором, он проорал сладострастно:

«Веди к недоступному счастью  
Того, кто надежды не авал!...  
И сердце утонет в восторге  
При виде» —

— «тебя, Кососоко!»

Безлобый, безглазый, он вдруг завозился: с попыхами:

— «Ты» — беспокоился он — «не забудь парика; тоже случай: регалии личности; твоя-то, подобранный, — не без изъясца».

Вскочил, и кокетливо перешарив двумя ножками, точно в фокстроте, слюнявые губы собрав, бросил в поле небесного цвета — рукою — свой чмок:

— «Мои ангелы, я...» — купидончиком он — «улетаю; в посольство!»

И выпорхнул в дверь.





## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### В РАЗРЫВ

МАКАР ГНАЛ ТЕЛЕНКА

Сплошное стекло!

Коридор — из стекла: стены, пол, потолок — из стекла, так что номер тринадцатый, — все еще, — виден: сквозит через рой (точно в воду белок) лошадей и людей, бриллиантовых санок, как ром, алмазистого<sup>1</sup> цвета трамваев, жемчужных, домовых рядов; из топазовых улиц высвечивают провисающие этажами квартирные кубы, — сквозное стекло, — где едят, испражняются; видно, как варят жемчужки; пузырьками бродит мысль, — та, которую, точно селедку, за хвост не ухватишь из бочки.

Сплошное стекло — потолки

Вы■■■■, выдутый в ночь из стекла: синий купол; и как в абажурное облако, солнечный шар электричества — ввинчен.

Пол — то же стекло; и на нем тротуары, снег, тумбы сутулые, —

<sup>1</sup> Алмазистый — сквозной камень.

как на воде, отражения берега; и удивляешься, как глубина из-за них, золотая, —

— волнуется, —

— где легкоперая и глупоротая рыба спиной запырскала, юркая в розовом рое медуз.

Глубже вод — перламутровым облаком, в вогнутом куполе неба сквозь ноги Мандро, переставшего быть, в мысли синие вырожденное и расширенное, — бриллиантовым глазом в Мандро — спрут: стреляет!

За хвост поднимая селедку из бочки селедочной, видишь порой не селедку, не бочку, а мысли мыслителей — Гегеля и Аристотеля.

## ИЗ ЗОЛОТОГО СТЕКЛА

Так и Мандро: уносясь за «туда» удиравшим профессором, воспринимал обстоящее: точно витражи веков, где Агрикола, Цезарь, Спартак, Цезарь Борджиа, папа Григорий Седьмой, как флаком Циклокон, или бронзовый бонза, — коллекция кукол в стекле заведения бронзовых ламп и подсвечников.

И вдруг поймав себя в этом окне, он бежал, переталкиваясь; и на миг в раздражениях нерва главного отчетливо вылепились: ряды окон: «Гвоздика» из Ниццы, сквозной, кружевной паутинник, блеск гранных флаконов, рябь вывесок; недопрочитанное: «Коньяк», «Швейных машин»... и «Перчат...» — «ки» наверно.

Военный с серебряным кантом подбросился розоворядной рейтузою за завитую блондинкой, поднявшей «дэ ссё» и влипающей глазом в стекло; золотые оскалились зубы на кучера с синей подушкой на голове: сетка синяя на серооких конях.

И сгигают, проносятся, пырскаяют, переливаясь серьгами, хватаясь за шалки, блистая пенсне на муслины, сюрта, веера из окна; а в окне, как из зеркала, — шуба, накинутая на плечо рукавами пустыми, мехами кофейными выбросилась над второю такою же шубой (на две головы ниже ростом), с космой головы, вдвое большей, как у исполина; из шубы, из первой, торчит голова; и слюна изо рта на клочок шерсти свисающей тянется; в зеркале лупят, как взапуски: и уж рука свой портфель перетиснула; куньи меха; шофер — шкуркой обвис, завертев колесо: из ничто на ничто переносится — в зеркале, где его — нет, где — стеклянные тускли.

Профессор, схвативши за руку, другую выбрасывая, как с копьем, поворачивая, точно шлем, темный котик, так просто ликует.

И — видит он: —

— маска с ослабленным ртом своим ввинченным, как бриллиант, пустым глазом уставилась в выпрь над пустым земным шариком; шарик, — как мячик, — выюркивает из-под пяток; а путь — эллиптический; мир — эллиптический...

Функция!

Тот, кого тащит профессор, взусаться и дергаясь, выпятил ребрами грудь и снял шапку; и череп желтеет в мороз: под трезвонящей вывеской.

Солнечнописные стены!

Лимонно вспоенная стая домов бледным гелно-городом нежилась — персиковым, ананасным, перловым, изливчатым; синей стены эта белая лепень.

■ светописи из зеленого и золотого стекла!

И ломая историю пятками, лупит из будущего к первым мигам сознания, — Мандро, —

— Эдуард!

А профессор, отбросясь мехами назад, спрятав руки в меха, поджимая ладони к микитке и выбросив в свет свет седин, поворачивается ноздрей на Мандро; и — поревывает:

— «В корне взять, — уже нет затхлых стен: дышишь воздухом!»

В странном восторге вручая друг другу, они, — близнецы, проходящие друг через друга —

— (сквозь атомы — звездным дождем электронов) —

— забыли, став братьями в солнечном городе, в недрах разбухшего мига, что им так недавно друг в друга не верилось.

Было неясно Мандро, куда тащат, когда руку бросив вперед, как с огнями, другой вырывая Мандро из толпы, — улепетывал спутник по улицам, улицам, — из — улиц, улиц; спросить, не спросить? Знает сам, куда тащит: но там и Макар не бывал.

И — базар.

Здесь впервые Мандро осмотрелся; и все — оплотнело; и — нет коридора, а толки локтей: лом тел в спины; синявенький дом с дикодырым окном на всем желтом; и желтое — дом; во ртах — ор; в глазах — страх: ярко-желтый плакат: «Продаю осетрину!»

## МАДАМ ТИГРОВАТКО ПОСТАВИЛА ЯЩИК

Стояли за рядом палаток, где сивобородый мужик с кулачищами выпер перед опрокинутым ящиком: плюнуть; и толстая рядом лежала веревка; профессор, на ящик ладонь положивши, по ящику хлопнул, как будто на плечи с прихрахтами вздернул.

— «Таки засорили его: понесем!»

И по ящику хлопнул опять:

— «Точно трон!»

И стал сравнивать с юношей, в ящик усевшимся, совесть сознания, которую-де понесет; и казалось ему: человек, молотком заколоченный в ящик, валомав свои доски, из ящика выскочит.

Тут же торговец пришел; малахай — сиял; висок скребенил:

— «Эй, ползи, что ли, дальше: мой — ящик; его не лмай».

— «И ломать то тут нечего: ломань и есть» — отозвался какой-то.

Но вдруг допотопною шкурой обвисшие люди в расклоченных шапищах, — без топоров, пока что, — как взорут: в смеси запахов: рыбьих с бараньими.

— «Ты — сколоти-ка его».

Кто-то щелкнул орехом.

Какой-то схвативший рогожу шутник подскокнул с ней, имея намеренье эту рогожу на плечи Мандро опрокинуть; на ящик показывал:

— «Лезь туда: чем не посудина? Тебя — гвоздями заляпаю, в эту рогожу зашью: в лучшем виде».

— «В Саратов отправим!»

Профессор тащил за собою Мандро; и кричали им вслед:

— «Знаем, знаем, — тары да бары: глядь, — а ящика нет».

— «Они ходят — мутиты!»

Все, как в припуски: в безупокон, безутолочи.

А профессор чесал в невыдирную долга, который взвалил и косиние сипы, сгибаясь под бременем долга, который взвалил и который ломил и плечо, и лопатку: легко ли «такого» владить? Долгорукый Мандро, долгополый, накиннув меха на плечо, с перевальцем, едва поспевал.

Уже черные пятна теней вырастали из света; и — сламывались: на пустые заборы (среди них он недавно бродил); проходили Жибрыным и Дрыковым; вот — Фелефокон!

Вот — Козиев!

Стал он спрашивать:

— «Долго идти?»

— «А куда-с?»

— «Да туда, куда — вы».

И профессор впервые прорывал отчетливо:

— «Я вас к Лизаше веду: вам пора объясниться друг с другом».

Как рев водопада со скал:

— «Дайте дочь! Дайте выпрямить свои пути к ней — из глаз ее, чтоб она видела, что я я — вижу!»

Как мог он так долго там в кресле сидеть, а не броситься, чтоб из расклепанного молотком и клещами железными ящика, — лбом колотиться о ноги ее:

— «Не прощенья выпрашиваю, я, Лизаша: прощенья не может быть; действием воли сломав наши жизни, их перелепить — обещаю!»

Домок, опрозрачняясь, блаженствовал там вырезными розетками, как в еле видной улыбке.

## ТОГДА НИКАНОР УВИДАЛ

Никанор увидел: пропадавший брат, локтем бодаясь, взапых улепetyвает от жерды, который, пропятивши клин бороды, как копытом, бьет ботиком, шубу свою захватив на плече; и по воздуху мехом пустых рукавов, как медвежьими лапами, — хлопает: шуба; присев на карачки и их пропустив, Никанор, — злой, взъерошенный, серый, — дугу описал, как грабитель, снимающий верхнее платье; за братнину шубу рукою схватился он:

— «Стоя!»

Воротник перетраивал: шапка — дугою — на снег:

— «Что такое ты?» — брат, брат Иван, перетрясся поджелчиной серого меха:

— «Чорт брал!»

Никанор втиснул руку в карман; а другой, с указательным пальцем, — воскликнул:

— «Как, что?»

И с гримасою — едкою, злой, сардонической:

— «Соображал ты, — так чч-то? Мы с Мардарием Мар.овичем — по участкам чистили, порог обивали в приемных покоях».

Прыжками на брата пошел:

— «Серафима Сергеевна — лежит, полагая, что — в проруби ты: обезножилась!»

И оборвав поток укорииз, дико вылунившись в проходимца, которого брат подцепил, стал обнюхивать: мышь перед салои!

— «Позволь, брат-Иван: это что же такое?»

И — носом на брата, а пальцем — в Мандро.

— «Беря в корне...» — и руки профессор развел (на Мандро, и на брата), меж ними катаясь глазиком:

— «Ясное дело!»

Но брат не внимал ему, ожесточаясь очками: с отвертом, с пожимом, с посапом и без тарары пресекая поток объяснений, как, так сказать, преподаватель словесности, свои ладони поставил; и мотом головки показывал, что он имеет серьезные доводы против знакомств с проходимцем подобного вида.

— «Позволь!»

Чорт!

## «ОСТАВИЛ БЫ НАС, НИКАНОРУШКА!»

Таки узнал, — чорта с два, — под истасканной маской того негодяя, который уже, — чорта с три, — под забором таскался.

С четыре!

Очками показывал, что — пять чертей, что — имеет намеренье, с глазу на глаз затворившись с братом, расжав свой кулак, показать в кулаке зажимаемых им —

— шесть чертей!

— «Ты позволь, брат Иван, — очень веские доводы есть мне узнать, эдак-так...»

И с вопросом к Мандро:

— «Вы есть что, говоря откровенно?»

Мелькало:

— «Уф, уф: негодяй, вымогатель; сама говорила; Иван, брат, — добряк и простяк: протаскавшись с ним ночь, затащил, чтоб таскаться!»

Брат — хрену понюхал:

— «Ты, в корне сказать, Никанорушка, лучше оставил бы нас, потому что у нас» — и к Мандро: и — подшаркнул — «с...с...» — и подшаркнул опять — «есть дела».

Тяжко охая, он на Мандро поморгал, как на брата родного: — «Весьма неприятно! Скажите пожалуйста! Вот веды!»

Мандро сдвинул брови, рассеянно на Никаноре глазами бобрового цвета разращиваясь, но — не слыша, не видя, не зная, не глядя: огромное что-то к нему подошло!

Никанор:

«Леонора Леоновна» — взгляди дидактический!

— «Предполагает» — и взгляд иронический!

— «Мы же с... с...»

Но тут сделал Мандро отстранительный жест, выгибаясь, стараясь стать в позу.

— «Да вы успокоились бы!»

Распрямил долгорукое туловище; но профессор, схвативши под локоть Мандро, его дернул:

— «Идем!»

И все трое — пустились в пустом переулке скакать: за Иваном — Мандро, тарарыкая, —

— тар-тар-тар —

— ботиком.

Что-то огромное — бросилось вслед!

И уже Неперепрев выглядывал; Психопержицкая вылезла; Коля Клеоклев стоял с Тиштришиным, Гришей.

— «Ну, вот» — распахнув с перебацом калитку, профессор совался — «да вы — не сюда-с, а туда-с... Ноги, ноги — топырьте!»

— «Пустите меня!»

— «Брось», — ему Никанор — «не тащи!»

И — к Мандро:

— «А вам, собственно, — что?»

Стекло, злос, ожгло:

— «Вам — так-эдак — вспомоществовань?»

— «Лизашу мне!»

— «Это — какая такая?» — и брат Никанор облизнулся, вдруг, переерошась, заперкал.

— «Они-с», — наставительно брат, брат-Иван, — «дело ясное к дочери: Элеонора Леоновна — дочь!»

Мандро локоть подставил:

— «Порожек-с: сюда-с!»

Кучей меха толкнув кучу меха, он — кучей, с кучей — в калитку ввалился; и — ту-ту-ту — тукал ботиком; и Никанорово сердце ватукало: ботиком.

Это — судьба, —

— толстолая, —

— тукала!

## УВОЛОКЛА: ПАУКА

Дверь — расхлопнулась: ручка с дымком папироски явилась!  
А посередине — стояла —

— юбочкой вильнув, как раздавленная,  
плоскогрудая, широкобровая девочка, выпучив  
губки и мелкие зубы показывая.

— «Вы?»

И — круглое личико лопнуло:

— «Какое... право...?»

Как мертвенькая, подкарачивала под себя свои ножки: под юбочкою.

Он, прижав две руки, выпадал из косматых мехов; голова, сохранив свои очерки, ахнула; выкинула из рта столбы пара опалового; мех зажав, в него длинное рыло зарыл, скривив шубу, плечо подставляя морозу.

Стояние друг перед другом, под блеском созвездий, невидимых днем, — страшный суд!

И скакало вразгон, из груди выбиваясь, сердце; казалось: шлепнулось в лед, точно рыба, хвостом колотящаяся, выпузыривая свою кровь в леденцы голубые; рука сиганула под локоть профессора, а подбородок — на ахнувшего Никанора, которому он — неестественно длинный язык показал; и слюною показал!

Профессор, ногою о ногу тарыхнув и равняв, из шубы пропаченным носом ходил под носами, как пес; но очки запотели; не видел их; руку схватив, — Мандро к дочери дернул и даже коленкой наддал под крестец ему:

— «Врешь, брат, — попался!»

А сам, отстранясь, — со ступенек, чтоб главноком недоуменно на братца моргаться; и — братец: моргался с ним.

— «Ты, Никанорушка, ясное дело, — еще чего доброго думаешь» — и оборвался.

Лизаша лишь дугами широкобрового лобика дергалась, бросивши брови к созвездьям, открывшимся ротиком с сердцем своим говоря, — а не с тем, кто стоял перед ней.

И, как глаз осьминога, из глаз ее вымерцал глаз, потому что она уже знала: откуда пришел, с чем, зачем!

И, сурово блеснув на профессора («кажется вам, что возможно? И — пусть!»), захватив кисть руки, оковав, как клещами ее, ничего не прибавила; в двери отца, как в дыру невидимую, уволокла.

А профессор на брата орнул:

— «Ты — чего? Не твое это дело: не суи ты свой нос меж отцом и меж... корнем!»

Рукой показал:

— «Ты иди-ка себе...»

И в дыру за исчезнувшими, как теленок, нашлапывая своим ботинком в пол, —

— в дверь прошел.

И цепочку защелкнул от брата.

## НАПАКОСТИВШИ

Раз... два... три... пять... шесть... семь...

— «Тише, тише!»

В темь шаркали мыши.

Скорее, чтоб все искажения жизни снеслись, выметаясь в подъезд, точно листья:

— «Не я, а... отец!»

Сердце — как в медный таз: бам-бам-бам! И припомнилось: раз ей Анкашин, Иван, говорил:

— «Сидилисочка, барышня, вы!»

«Бам» — ударило (в солнечный диск таза медного): сердце!

Отец же, осклабясь мандрилиным ужасом, точно на гада боясь наступить, на ковер, на котором затерты рябиновые, голубые и ярко-зеленые пятна, припомнил забытую песенку:

— «В мерзи меня не отверзи!»

— Раз слышал ее он:

— «Напакостивши, — у могил: как, как?..»

— «Жил!»

Не довспомнилось!

Знать, слабоумие эти белиберды продиктовало отравленному его мозгу: —

— ползет паралич: от ноги по спине, как по мачте матрос: —

— вот он влезет под череп, и, «я» отопхнув, меж бровями и носом его, руки в боки, —

— усядется!

Дочь и отец, ставши спинами, не поднимали своих испугавшихся глаз друг на друга.

Как за-мертво носом и шубою в кресло свалился, пришамкивая:

— «Рядом?..»

— «С... с...!»

— «Как прежде!»

Она — не расслышала: пела в ней вокализация томного голоса: прежде, затянутый в черную пару, зажав свою гниль, сребророгим насупленным туrom стоял перед нею он.

Хрип: гнилой гриб!

А профессор пред замкнутой дверью, схватив половую косматую щетку, держа караул, с нею стал выжидательно, как часовой с алебардою, носом — в щетину, которая над головою качалась.

И, как на вершину, —

— глядел: на щетину.

## «Я С НОВА С ТОБОЮ, МОЙ ДРУГ!»

И — Лизаша подкладывала что-то мягкое под дробь бьющие локти:

— «Давайте-ка я» — продвигала скамейку под ботинки.

— «Вас — подоткну».

Тридцать месяцев! Точно стеклянный колпак разлетелся на ней!

— «Вам уютненько?»

Сила, раздельность и четкость движений.

В ответ — что-то чмокнуло.

— «Ах!»

Объяснить? Не словами: он мыслями мыслям ее в переулке ответил; приход — объяснение.

Не вытолкала!

— «Вот так фунт» — развел руки фарфоровой куколке, кланяющейся на кретоном завешенном ящике.

Жутя, отсевши от дочери, волос усов пережевывал: это сутулое, озолощенное туловище, в розовый луч подокопника лысной выгнулось; жмурясь от солнца, — рассматривала; и ей врезался лоб — костяной, в синих жилах, невидящий врезался глаз: застекленный, как у судака!

Уже вечер огромно багровое солнечное покатило свое око:

— «Я, я — это!»

Все — ярко красное стало; диван — ярко-красный; и — ламповый даже колпак; все предметы стеклились проглядными глянцами.

Вот какой он?

Все такой: —

— толгорукий; гориллою с нею сидит; лысый, пры-



гает глазом ей в глаз, —

— чтоб...?

— «Лишашенька!»

Точно нарочно трясется, повесившись клином козлиным.

Трясухою с холоду бьет попадающих в баню; и бьет полагающих, что — миновали страдания, прошли испытанья!

— «Я снова ш тобою, мой друг!»

Оборвал: реготаньем, картавеньким, как куриный крик:

— «Кхи-кхо-оо-ооо!»

Рот — пасть.

— «Ничего».

— «Простудился».

— «Пять суток не спал».

Борода кричит краской; нет, — он не опасен ей!

Нет — никогда!

### «СОЛОМОН» С КУСКОМ САЛА

Нет, было же — бешеное поклоненье; казалось, что он, Соломон, с «Песнью песней» к ней крадется; но перемазанный салом, он салом обмазал!

А правда, как сеном набитое чучело, шишкой затылочной в кресло толкается; внутренности — догнивают в помойке.

И как хорошо это знать!

Сердце тонет в восторге при виде его, потому что...

— «Урод мой» — заблеснулось.

Глаза, как открытые раны, слезами наполнились:

— «Нет же! отец мой!»

Округлым движеньем свой палец (большой с указательным) соединил на губах:

— «Я тебе не мешаю?»

И — палец о палец размазывал:

— «Ну, я — пойду».

— «Вы? Куда? А я думала...»

Что?

И — не думала, — «что»; ведь не жить ему с Тирою, с ней и с профессором.

— «Я...я... теперь только понял, Лизаша... Кхи-кхо» как ворона, расперкался в рваный ковер, — «понял...» —

— «сладко с тобою мне

быть» —

— домолчал!

И хватался за сердце в восторге больном и слезливом, его обуявшем.

Попахивало: прелой плесенью; издали слышался: хрюк Владисла-вика...

И — отстранилась: прижалась к стене, ручки за спину, четко чер-тась чернокудрой головкой с открывшимся ротиком в кареоранжевых пятнах и в желтых — из черных роев, точно мух, танцевавших в гла-зах (это — крап), — узкотакая, бледная!

Но — крики, топы: под дверь:

— «Цац!»

Удары железные.

— «Что это?»

Кто-то там бьет кочергой: и визжит, и дерутся; как из кумачей ба-лагана, в бывалое он безобразие выставил ухо; и — пеструю, плю-шевую финтифлюшку схватил со стола, как паяц.

Точно в бубны ударили!

— «Что это?»

— «Ах, это — время: кузнец».

Оба бредили.

Вспомнился сон о кабине: —

— в кабину завинчивает их косматый профессор, чтоб он с узкотакою дочкой, в пустотах вращаясь, меж древних созвездий, — в «онкур си-дерик»<sup>1</sup>, состязаясь с болидами, первую премию взял; —

— а —

- у Пса<sup>2</sup> -

— будет станция!

— «Снова, мой друг...» —

оборвал он себя —

— «мы... летим!»

Поднесла папиросу к губам, шею вытянув; бросивши ручку от ротика вверх, дым глотала; стояла с открывшимся ротиком; в ржа-ворыжавые шторы, в растреск потолка, обвисающий копотью, в за-

<sup>1</sup> Звездные гонки.

<sup>2</sup> Созвездия Пса.

мути зеркала, в бой синих птиц, как в свой сон, померцала глазами; и выпустила бисерящийся, млечный дымок над, как черный чугун, черной бездной, в которой вертелся соблестьем огонь папиросочки.

Все, как охлопочки черных бумаг; пепелушка — слетела; «о я» — так вот слетит.

А — куда?

И — повесало горклым прискорбием; и — нежным тлением каре-оранжевых выцветов: желтых, протертых кретончиков.

## НЕЖНОЕ

Он же старался ей выразить что-то: быть может, — о вместе сидении этих двух туловищ; медленно к ней поворачивал ухо, скосив добродушный свой глаз на нее; и — услышал легчайше прикосновенье мизинца: к затылочной шишке:

— «Вот здесь я сидела неделями, думая только. об...»

И — подавилась: —

— «об этом» —

— кивало из глаз переглядное  
слово ему...

Обеззубленный рот как-то хило губою соленые слезы ловил, губу выпятив:

— «Ты?»

— «Нет, не пробуйте: просто, так, — молча... не лгаться...»

И, как перезваниваясь колокольчиками, подхихкивали, — идно-  
■!

А слезки — капали, а — паучок из его рукава побежал к паутинке:

— «Вот... вот...»

— «Смешной...»

Это — спрутище, прежде сосавший его, передергивается в серебристых струиночках; да, и чудовищность выглядит нежно, когда перелетает она; когда скажется ей:

— «Нет!»

Спрут есть волосатое и восьмилепое тело его; убежит от него; он, сквозной, невесомый, пребудет: надежда не вера; а больше надежды — любви!

Из вечернего, красного мига до ужаса узанным ликом он ей улыбался; какие-то ей кипарисовые, как протезы, отцовские руки бросал; начинало: кричать, плыть и пухнуть.

Как ревом мотора, ударило в черный, огромный чугун, что не может быть речи ни о благодарности, ни о прощении: тридцать же месяцев было дрезжание!

Голос:

— «Отец!»

А что голос икающий, — кто не икает?

И падали спинами в бездну Коперника, ноги подбросив, как все, москвичи, —

— потому что —

— земля — опрокидывалась: грудью  
вверх взлетал — американец!

Головку свою положила к нему на плечо; он — откинулся; сдвинулись строгие брови над носом, как руки ладонями вверх — точно ей он молился, жуя жесткий волос.

Вдруг, —

— он, —

— ей виски защемивши ладонями, в скорбном наклоне коснулся губами холодного, им оскорбленного, лобика. тридцать же месяцев мучился он! И отблещивала стеклянющим перлом и капала с кончика носа слеза.

И покорно свалилось саваном личико: к сердцу; к жилету приплющивал мокренький носик, катая головку; и плача.

Отдернулась; и оправляла, загорбась, свалиху волос; кулачишком, — ходившим морщинками личиком, — еле прищипывала: все отхлынуло: плавало в воздухе; воздух — сияющий!

И как из волн —

— из веков, —

— он, вставая, ей длинные выбросил руки; и голосом, как петушиным раскриком, будил.

## ОФИЦЕРИКИ

Схватятся за руки, глядели в окошко и слушали, как мелодично пропела рулада, как издали, фыркая и рокоча обещающим смехом, счастливый мотор. Ч — тракивая долетел.

Распахнулась калиточка; розовый мальчик, блестя серебром, шел в снегах: офицер; он прикладывает руку к фуражке; конфузясь, Мардария спрашивал что-то: такой симпатичный! Мардария руками развел: офицер поглядел на окошко; в окошко глядели они: их одно разделяло стекло.

Предстоящее виделось, как представление: за стеклами междупла-  
нетиной кабины, в которой засели:

— «Какое созвездие?»

— «Дева!»<sup>1</sup>

О, сколько надежд дорогих!

— «Мы — втроем!»

— «А куда?»

— «Никуда».

— «Как?»

Едва вылепетывалось.

И не знали они, что у Пса<sup>2</sup> — остановка с буфетом; он — вылезет,  
бросивши дочь; разыграется с ним инцидент, не весьма для него  
симпатичный, подобный заходу к зубному врачу, залезающему в  
рот клещами железными.

Все — миголет, мимопад.

Заревой купол облака встанет над местом, где в нижних слоях  
атмосферы смерч крыши срывает и валит деревья; под куполом —  
тьма; град — с яйцо; и выше ужаса — встал онемевший, зареющий  
розовобелый — во все бирюзовое — купол.

Пока еще миг, заключающий вечность, оконным стеклом отде-  
ляет, не глупо ль заботиться, что там?

...  
— «Вот радость!»

— «Штраданы!»

— «Шошнание шовешти!»

Шамкал: без челюсти; и как подкошенный, задницей пал, уши-  
бивши крестец; и — смеялся:

— «Коштыль заведу!»

Но весь стиснулся; в кареоранжевой рвани растиснулся; в каре-  
оранжевой рвани: рыдал.

## УКОКОШИТ ЕГО

Никанора мы бросили в тот неприятный момент, когда братом  
обиженный, чуть не упав на сугроб, засигал и рукой, и ногою под  
домик, чтобы Серафиму поставить в известность: брат — раз; не-  
годяй — два-с.

<sup>1</sup> Созвездие.

<sup>2</sup> Созвездие.

Влетел.

Серафима, простершаяся на диване, с компрессом на лбу, не по-  
вертывала головы на него; Никанор, перед ней, сломав корпус, к  
ней выбросил нос: на аршин.

— «А!»

И стала испуганной серной; и — «фрр» — шелестнула юбчонкою,  
перекосясь на локоть.

— «Брат!»

Вывалилась из подушки; компресс, описавши дугу, пал: на пол.

Никанор, распрямившись, откидываясь — с перепыхом, с задохом:

— «Вернулся!»

И — взаверты!

Подпрыгнула: одной ногой — на полу; а другой — на диване; ли-  
ловые тени пошли под глазами; согнулась дугой:

— «Не томит!»

В колени уставилась; рот растянулся; и — зубила; и — передер-  
гивала башмачишком.

— «Да вы...» — подскочил к ней с рукой Никанор — «Он —  
здоров».

Закипела: задорная, маленькая, — туп-туп-туп, — потопытая и  
размахивая локоточком, слетела к нему, шею вытянув: все, все —  
навстречу размечет она!

Никанор, сжав бородку свою двумя пальцами, тыкая в нос ее  
кончик, с поджимом посапывал; выпятив грудку колесиком, побе-  
доносно ее оглядел:

— «Брат, Иван — не один: с негодеями!»

— «С каким?»

Ставши девочкой, глупо попавшей впросак, дерябила зеленое  
платьице: ах, тяжело состоять при больном!

— «Протаскавшись с отпетым мошенником чорт знает где»,  
наставлял Никанор с таким видом, как будто в Ташкенте урок  
объяснял второклассникам он, — «брат явился: таскаться с ним  
здесь!»

Отлетев на сажень, как к доске, чтоб на ней классный вывод  
торжественным мелом наляпать, рукою он тыкался в стену, как будто  
на ней негодай из обойных узоров простроен; и вновь подлетел он;  
и палец — к губам; губы — в ухо; глаза же — на дверь.

— «И они: затворились уже!»

Но малютка вцепилась в плечо: перетрясывала.

— «С кем?.. Какой?.. Затворились — куда? кто? Да — толком,  
да — ясно: не белибердите!»

— «Иван, брат — так чч-тб — утверждает, что этот отпетый мошенник, — отец».

— «Чей?»

— «Да — ну те же: Элеоноры Леоновны! Чей же еще?»

— «Как? Мандро?!»

— «Кто?»

— «Как кто: тот, который... ну глаз же!»

И стиснула пальцы; и вновь их растиснула: белые пятна остались на них.

Никанор вспомнил все:

— «Укокошу его!»

## И ПАБЛО ПОПУЛОРУМ

Захватив кочергу из-под печки, он — в дверь: был таков.

Серафима же, простоволосая и неодетая, выбросив локоть, как щит, захвативши юбочку другою рукою, с оскалом, — за ним: через снежины; блеск золотых волос с краснорозовым просверком бросила в золотоватые, солоноватые уже вечерние блески, пылающие из вишневых дымов.

«Фрр» — скорее, скорее, скорее, и локтем — направо, налево: по воздуху!

А изумрудные складки и крылья сиреневой шали, запырскавши искрой, плескались за ней.

Впереди — благой мат:

— «Фу, фу, фу!»

Кочергой по ледовине:

— «Я!»

Никанора поймав за рукав, перепрыгивала чрез алмазные ребра загравин; увидев Мардария, несшего кислый кочан через двор, руку вырвав, рукою — на дом, а очком — на него: Никанор:

— «Помогите» — он выорнул — «вор, выжигающий глаз!»

Перенесся; и — фрр — Серафима за ним: перепырснула блеском на блесков.

Мардарий, напучив глаза, бросив кислый кочан, точно бомбу, в сутробину, дернувшись краснооранжевой гривой и краснооранжевым усом, толкаясь локтями —

— за ними: —

— и бросив тюфак на снега.

баба-Агния, шамкая и клюнув носом: —

— за ними! —

Икавшев — за всеми!

И сахарным хрустом, и треском, как рыбных, чешуек отхрустызло десять ног.

Распахнулся ледник: из него повалили рабочие, как вырастающие из кочанной капусты: явился на свет, чорт дери, забастовочный весь Комитет, заседавший бесшумно в подполье под домом, который искала полиция, — то есть: Сейженко, Гордогий, Богруни-Бобырь, Умоклюев, Франц Увинов, Саша Шаюнтй.

За ними — Пабло Популорум: из Пизы!

А из-за заборов торчало в дыре гнидоедово рыло; и выпуклое и багровое, как голоза идиота, свалилось огромное солнце.

## БОЙ БРАТЬЕВ

Влетев в коридор друг за другом, — наткнулись они на препятствие!

— «Ая!»

— «Осторожней!»

Во мраке, держа караул при дверях, с пологою огромною щеткою, как с алебардой, профессор Коробкин стоял; увидавши махающего кочергой Никанора, ведущего в бой —

— Серафими,

— Мардария,

— Агнию, —

— он, —

— точно

бравый солдат, выпад делающий в неприятеля, выкинул щетку в лицо Никанору.

И братья Коробкины, вооруженные друг перед другом, пылающею товностью, — брат Никанор, — нападать, брат Иван, — защищаться, — сопели друг в друга, вперяясь друг в друга.

И вдруг брат, Иван, — как затыкает, бросившись усом на темь коридора, откуда пылали кровавые космы Мардария:

— «Можете переступить через тело мое, говоря рационально: и только-с!»

Брат, — серенький, седенький, рябенький, — фалдой вильнув, передергивая кочергою в тетеричной ряби, моргался на брата, Ивана

— «Я — эдак-так — я» — передергивал он кочергою — «из принципа: к двери пробьюсь!..»

Он ногой, как копытом, матах:

— «Я мерзавца!..»

И — «дац»: кочергою, клочечки обой отцарапывал:

— «Ты? Никогда-с!»

— «Он тебе — глаз!»

— «Да-с?»

— «Глаз!»

— «Никогда-с!»

И Коробкины, яростные, закатали друг другу глазами: затрещины.

— «Что он» — грудной, женский вой — «сделал с дочерью?»

И появилась рука: Серафимы; тут Никанор на Ивана пошел; но малютка, схватив за пиджак Никанора, ногой опираясь о стену, тащила назад; Никанор, протянув нос к носкам, кочергой подъезжая к шетинистой щетке, — как вылетит, да как крючком кочерги — «бац» — по щетке, стараясь крючком зацепиться; и выдернуть.

— «Эка?»

Профессор, заплатой отдернувшись, — сам не дурак, — с перекрытием скривился; и — бросился на грохотавших пустыми боченками очень коротких ногах, точно в бой барабанов:

— «Ну что же, — давай, брат, тягаться!»

Щетиною он кочергу зацепил, сковырнул, вырвал: грохнулась:

— «Есть!»

И — ногой на нее наступил:

— «Дело ясное: дальше-с?»

Из тьмы на него передернулись пальцы, но — без кочерги: кочерга — под пятой!

Где Мардарий, где Агния? Трусы: сбежали.

## КАК ТЫКВА, ПРОПУЧЕН

Малютка с лиловым от злобы лицом, сложив руки на них с оскорбленным достоинством выпучилась, точно рыба, — глазами: огромными, синими; вдруг: руки — в боки; лоб — в бод: на профессора; точно Эриния!

— «Как вам не стыдно?» — гром арф — «Что вы тут натворили?»

Но ей перед грудью поставилась щетка:

— «Молчать, в корне взять!»

И профессор ударил в пол щеткой.

Она — от него; он — за ней:

— «Двадцать ведьм!»

К Никанору:

— «Не жер!.. И — не он-с, — говор!.. А — отец: публицист из Парижа: и — все-с!.. Дочь проведаль!..»

Здоровье знать им поморочило: неизлечимый!

— «Я-с, — да-с, — сам привел!.. И я-с, — да-с, — не позволяю: гостей моих трогать!..»

— «Изволь, Никанор, оскорбительные выраженья убраты!»

— «Он — больной!» — Серафима на щетку полезла.

А он ей с оскалом страдальческим, жалуясь точно, паузы из плевых показал, —

— глаз, —

— метаящий фейерверк!

Верить просил!

Она — руку под сердце: так будет, как было; за ухом ему потереть, потому что ум — дыбом; и — волосы: дыбом; седины, протертые одеколоном, попрежнему лягут в колени ей:

— «Путаюсь!»

И — дикий отсвет улыбки явился в лице: свои руки локтями сведя, вся сжимаясь, холодные пальцы затыкнувши в пальцах, прижав подбородочек к ним, — подогнула под щеткой, под щетку нырнула; и — стала с ним рядом; и — руку ему на плечо положила.

Малютку свою — оскорбил!

Она — села в ногах, зажимая ручки в коленях; прислушивалась к его сапу; и бледную мордочку вздернув, она наблюдала за щеткой, как он, ей любуясь; чрез все улыбнулась ему; залилась как цветами миндальными, чуть розоватым, но странным, румянцем.

Как бы говорила ему:

— «Со мной делай, что хочешь, коли — решено: суждено!»

Золотистые слезки закапали.

— «Что?»

Бородою, как облаком, нежно головку покрыл ей:

— «Я — путаюсь!»

Гладил, но выставил щетку, следя, чтобы брат, Никанор, — не.. взять в корне!..

А брат, Никанор, ему спину подставивши, — плакал: и стало им тихо.

.....

Стоял, как солдат караульный, надув свои губы с кулак; исс, —  
— как тыква: —  
— пропученный и перепученный!

## ПРОВОЛОКЛИ

Ставши желтым, Акакий, и ставши зеленым, Мардарий, с глазами катавшимися, бледнобелыми —  
— поволокли на них —

— Тителева!

Он, едва выбиваясь повесившейся головой, с разъярошенной бородой, являл странное зрелище; рот закосился, когда, завалиясь к паутинникам, еле мотнул:

— «Туда, ну-те!»

Грудь дергалась:

— «Что с ним?» — малютка: к Мардарию.

Стиснувши щетку, профессор присел и тревожно вкатился в глаза: изнемогшего.

— «Ты, брат, что — а?»

Но больной, помотав головой .., и — к Акакию:

— «Ну-те, — туда!»

И Акакием вшлепнутый в кресло, глаза закрыл он.

А Мардарий, сцепясь с Никанором, рукою — ко рту:

— «Ориентировали о Мандро... Надо это» — на дверь — «поскорее, того, потому что машина явилась».

Профессор же щетку свою на плечо — под Мардария и Никанора:

— «Что-с? Что-с?»

— «Да за вашими «мусью» прикатила машина; какая-то виза!»

Растерянно:

— «Если являются к нам, откровенно, то нам, — мне, Терентию Титовичу, — улепетывать надо!»

К профессору:

— «Вы нам на шею его привели; вы и выпроводите!»

— «Так-эдак, — Иван, брат!»

— «Да-с! Сейчас!»

И приставившись ухом, под дверь, — тук-тук-тук!

— «В корне, — вас: вызывают; пожалуйста-с!»

Дверь распахнулась: сутулое туловище выходило; профессор — ему:

— «В корне взяты!»

Но поправили:

— «Виза».

Малютка следила, чтобы Никанор, увидав Мандро, вновь не выкинул штуки; она чочергу забрала; Никанор все внимание сосредоточил на брате, Иване: так чч-тб — рецидив!

Брат, Иван, повернул эфиопскую морду к Мандро; будто даже не он приволок его, бросив свой палец в переднюю:

— «Выход — вот здесь».

И к Лизаше:

— «Так все, говоря рационально, — по предначертанью».

Спиною ее защищал от Мандро, сился увидеть глаза: они — сухо безумные!

— «Эдакие — происшествия в круге возможностей, вышших-с, — обычное дело!»

Как кукла, моргала она.

— «Уходите» — Мардарий к Мандро.

И Мандро, с пустотою в глазницах, с оскалом — в переднюю, даже не бросив прощального взгляда на дочь: уж ничто не касалось его; и — ничто не задерживало; путь — свободен и легок; казалось, — уходит, чтоб снова вернуться, и аная, что радость, — огромная, рвущая душу, — на крыльях его переносит: куда?

## ПРОВАЛИЛСЯ СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ

Лизаша припомнила: в руки профессора павши вчера, обрела она ясность.

И — пала:

— «Вы, он... трое нас?»

— «Да-с!»

А Тителев, видно, — четвертый: из двери свой выкинул красный жилет; и пошел, опираясь на руку Мардария.

— «Тира?»

Пустыми глазами увидел: два глаза — в два глаза: железо — к магниту!

И хвост скорпиона, морщина, просек его строгий, базальтовый лоб; и она поняла, что стояние друг перед другом — последнее: больше они не увидятся.

Круг!

И он — руку отдернул под бороду; в воздухе взвесилась:

— «Тира?»

— «За что?»

Свои руки — по швам; пяткой топал в гостиную.

Топ закосяв, как кинжалом, сквозь шерстную бороду глаз себе в сердце всадил он, зажавши по швам два стальных кулака.

И ему Серафима, кидаясь к Лизаше, как бы защищая ее от удара, — грудным, низким голосом:

— «Жестокосердый!»

— «Пар-ти-ец: я!»

Тителев, бросивши бороду, бросивши два острых локтя отгибом спины в потолок, захватился руками за голову; точно отрезал себя от последнего в жизни, чтоб в первых рядах стать; ударился двумя локтями о стол.

Никанор подскочил: как пушинку, Лизашу понес; и за ним Серафима, чтоб в серых, как дым, перевивчатых кольцах на черное все положить; и — над ней убиваться.

Профессор услышал, — как ветер, поющий в горах; он не выронил слова; он щетку сжимал утомленно; он — правды хотел.

Уже Тителев, взяв себя в руки, стоял при пороге:

— «Идите себе: этот дом очищают: полиция сию минуту нагрянет; ее встретят бомбами... Шли бы...!»

Мардарий, сваливши в гостиной ковер, на колено упал; и рукой показал на то место, которое он обнажил.

Свою вытянув шею, а руки — по швам, став на то обнаженное место, глядел на профессора Тителева так простодушно и грустно:

— «Была коротка наша встреча».

Моргали усталыми лицами итирали испарину:

— «Не поминай меня лихом, коли что вчера. Еще встретимся ли?»

И Мардарию подал он — знак; и подполье взурчало; и — пол передрагивал.

Тителев —

— медленно стал опускаться в отверстие квадратного люка: по пояс, по грудь; голова снизу вверх поглядела; рука, кисть, два пальца...

В квадратном отверстии нет ничего, кроме света свечи, да поставленных ящиков.

Грустно стоял, опираясь на щетку, профессор, склоняя над люком усталую голову.

Снизу приставили лесенку; кто то карабкался; сжав черный браунинг в твердой руке, появился из люка огромного роста рабочий с железным лицом; две ручные гранаты качались при поясе; оба, как замерли, — недоуменно.

Рабочий с железным лицом произнес:

— «Вы — того бы, товарищ: очистили место».

И он за профессором, шлепая в пол, — пошел.

## ТОЙФЕЛЬ, КАРТОЙФЕЛЬ

Друа-Домардэн переталкивал тело; вот выведено: даже — подведено к... офицеру: розовый мальчик, — такой симпатичный; и он — растерялся:

— «Мосё Домардэн?»

«Домардэн» — что такое?»

— «Сисй!»<sup>1</sup>

Удивлялись: забор разбирают какие-то: слов; в него прут: из соседнего дворика; под ледником что-то: сходка?

— «Вам виза, пакет: передача... Прошу за мной следовать; я провожу вас: туда».

Как? Какая? Ловушка? И тут же: ведь выручил этот Картойфель из Риги, который все может, — два года назад, когда он был доставлен в тюремный покой; подменили же их номера; мертвеца и его; он, накрытый шинелью, в мертвецкую вынесен был; мертвеца же на койку его уложили; так — умерли оба: для сыщиков

Все это —

— тойфель<sup>2</sup>: —

— Картойфель!

Случись, — и он явится; можно ли было забыть, что Картойфель в Москве: все еще; появляется там, где не ждут; пропадает оттуда, где ищут; Друа-Домардэн потерял его нить бытия; что не значит еще, что Картойфель его на видках не имеет.

Свидание с дочерью, встреча с профессором; и провалась: Велес, Тертый, Мирра!

Он вышел; машина стояла; в машину он сел; офицер же — за ним; а те двое, в тулупах, — за спинами: лица скрывали.

Их тотчас забыл.

Унеслись: ясным вечером.

О, —

— синета отдаленных домов — голубая! А красные домики издали

<sup>1</sup> Собственно: «Сй, сй!» То есть: «Так, так!»

<sup>2</sup> «Чорт» — по-немецки.

точно в сияющем паре, молочном, чуть-чуть фиолетовом, —  
— розовую  
желтизною смеются: —

— цвет персиков!

Крыша с большим отстоянием от окон; цвет — хлебного кваса; заборик; цвет — хлебного кваса; и — Наполеон его видел; а рядом — доминище: семь этажей вздыбил улицы угол; он выкинул сорок балконов; он — ими ослабился.

Щель междустенная: узкий и небом синеющий вырез, линейкой воздушною глупо поставленный; и — протупела стена безоконная (окна уборных в ней — слепы): дом, шесть этажей; цвет — печенье: крупа «Геркулес»; между окнами — все треугольники, выбитые из квадратов: вид — глупый; вид — новый; недавно ведь еще букетец цветистых домченков, топорщился.

Их разобрали; и с этого места продыдлились три глухих дыры. И все приседает кругом.

.....  
Не о том вовсе думает; надо бы думать; хотел офицера, робкого мальчика, атаковать:

— «Куда, что, кто, зачем?»

Да запело, — сияюще, идиотически, что —:

— Минували страдания, прошли испытанья;  
Я снова с тобою, мой друг!

## ИОАХИМ ТЕРПЕЛИВИЛЬ

И вот Гурчиксона шары, синий, красный, — аптечные, — где Тигроватко живет.

Здесь машина застопорила.

— «Как так?»

— «Именно».

Вежливый, блещущий мальчик, став косноязычным, конфузливый, дверцу открыл, приглашая сойти:

— «Сюда: вам».

И — решительно прыгнул:

— «Приказано».

Щелкнувши, под козырек бросив руку и высадив, дернул в машину; и — выдернулся вместе с нею.

— «Пожалуйста!» — перетолкнулся: те двое, которые за спину влез-

ли и молча сидели (о них он забыл же), прижали к подъезду: косою, с бородею рыжей, рябой мужичок; и горилга безглазая в рыжем тулупе — другое: чудовище.

Как, этим двум, вначит, — сдан?

Тот же сыщик (в «Пелль-Мелле» торчал) при подъезде; в подъезд, завырнул с мужиками; опять «они» — тут!

И застукали ботинки по этажам; этаж — первый, второй; кто-то сходит, закутанный в шубу.

Душуприй?

Нет, — чех, но — похожий: сходил квартирант, Иоахим Терпеливиль под собственной, медной дщечкою, где «Иоахим Терпеливиль» стояло; другая: «Л. Л. Тигроватко»; сюда, — что ли? А мужичок, прилипающий к локтю:

— «С вас...»

— «А?»

— «На чайшко бы!»

Тупо достал кошелек, чтобы рубль: нет рублей; только — трешница:

— «Может, Картойфель? Раз, — выручал; может, — и выручит?»

Дверь распахнула: не горничная; унтер шубу сорвал, шапку вырвал; съезжают, — повидимому; мужики не ушли, а вошли и стояли; зачем-то поставленный ящик; в нем — пакля; и — толстая рядом веревка; и — желтый, холстинный мешок, позабытый, как видно; лежит на полу; на него наступил.

Почему так не прибрано? Кушанья припахн.

И Тигроватко не вышла; открылось: знакомое выцветом, серо-прожухлое золото (цвет — леопардовый) мебели, напоминающее неприятный весьма эпизод, здесь начавшийся.

Дочери — нет: нет — профессор!

Вот —

— тинь-тень-тант —

— рвуки шпор.

И — в пороге коленкой — о ящик.

— «Пора, брат: давно бы так!»

— «Что — «бы так»?»

Шагнул, оказавшись среди абажуров, драпри и фарфориков.

Цвет — леопардовый; фон — желтопепельный: бурные пятна: в посередине ковра — столик, ломберный, перенесенный сюда на короткое время (стоять ему глупо тут); стул: тоже глупо стоять.

И — тинь-тень: бой часов!



## ФАРАОН, РАМЗЕС, — ПОД КОЛПАКОМ!

Прямо с пуфика, распространив запах псины, — сплошные очки: спинну гнут, стрекоча по бумаге пером; лицо — бабье; бросает, не глядя: — «Прошу!»

Носом — в стул: глупо туп.

Тишина: слышен где-то проход таракана; из комнаты, — той, из которой —...!

— «Ся люй, аттансьо́н!»<sup>1</sup>

Жюли?

Нет: аберрация!

Может быть, трешницу, все-таки, — дать мужичку? Так, — на случай; чай не вредят: здесь особенно; шалые мысли о взятках; и более, чем даже шалые: трешницы — жаль, коли — шутки. Картофеля: тойфеля!

Вот и машина: скрежещет под домом; и — визу увидел: под локтем лежит: как — ему?

Звонок, топоты, шарк мужиков: голос, но —

— не Картофеля: —

— голос: Велеса.

— «Он снова с тобою, мой друг» — в ухо точно: не он, а другой в него вдунул:

— «Тащите туда!»

И, заохавши, поволокли; видно ящик.

Велес-Непещевич, —

— подтянутый, точно чиновник Присутствия, официально, не видя, толкаясь локтем, —

— шарчит с таким видом, с каким он когда-то в пустом переулке шарчил, Домардена не видя, не слыша, не зная, как будто Друза-Домарден уж не воспринимаем для зренья —

— с портфелем: в соседнюю комнату!

Видно: Друза-Домарден и Велес-Непещевич — в различных эпохах, не видя друг друга, живут: Домарден — очертание мумии под колпаком из стекла, фараона, Рамзеса Второго, которого лорд Рододордер увидел в Булакском музее; Велес-Непещевич, — москвич!

<sup>1</sup> «Ся люй, аттансиби» — он, внимание!

Не заметил?

Есть что-то паскудное в том, что ты скинут со счетов. Друза-Домарден, — за Велесом: в портьеру:

— «Вадим, экутэ донк!»<sup>1</sup>

Чиновник в очках ему путь пересек, проюркнувши с бумагами: мимо; и, все же, — за ними портьеру разбил головой, оказавшись в гранатах, пестриных, как мушкою, в горях ковров, желтопепельных, бархатных, точно пылеющих дымом; — и здесь: во всем красном: сидит де-Лебрейль, во всем черном, дорожном, сухая, как кобра, змея с желтой сумочкой, с пледом (в ремнях); и Мертетев: в походном пальто; и с такою ж дорожною сумочкой.

— «Ву, Жуль?»<sup>2</sup>

— «Ву, Тёрти?»

Оба — не видят, не слышат, не знают: носы опустили в носки; видит — шейная складка Велеса; квадратную спину он выставил, пальцем — в бумагу, которую держит чиновник в очках; Домардену он знак отстранительный делает:

— «Прошу вас выждать».

ДРУГА!

Он едва дотащился до стула; задохся и сел; видно обухом ошеломленные, соображать не умеют; раз — обух: его отшибавший от мысли о смерти профессора; два — обух: дочь; третий обух профессора — нет в роковую минуту!

Очки — из дверей: в руках — виза:

— «Вам виза!»

И — обух, четвертый: дзюг-таки: сертификация, легализация и — взгляд сквозь пальцы на прошлое; по настоянию Англии лорд Ровоам Абрагам, Рододордер — таки: дело сделали; да: пертурбация всех положений; возможность — ку! — длить нить!

И —

— пес на кость, —

— х визе лапой дрожащей: запалаты!

«Очки» же — в пространство пустое, минуя Друза-Домардена:

— «Друза-Домарден!»

— «Я...» — настаивал.

Но за плечами — знакомый, его самого, — голос;

<sup>1</sup> Вадим, послушайте!

<sup>2</sup> О, Жюль?

— «Вла: мѣ вуалі!»<sup>1</sup>

И минув «Друза», отведя его руку, чрез голову, — визу про-  
странству пустому: очки отдают.

Повернулся и видел: —

— с цилиндром опущенным, сжатым в руке  
изогнувшейся, с бронзовою бороною, как в отблесках  
пламени рыжего, мягко прѣснулся в двери — Друа-До-  
мардэн, — позой, сжатой, как крепким корсетом, он пе-  
реступил, став в пороге, вперяся в древнее выцветом,  
серопрожужлое золото стен.

И чиновник в очках, неся пап-у с чернильницей мимо Друа-  
Домардэна, — того, кто без челюсти, без парика, без о.ков, — к  
тому, кто — в парике, в челюстях и в очках:

— «Распишитесь!»

— «А... как же — я, я?» — приставало.

Оно потерялось, коли — не подлог: личность, — сперли, как —  
сперли — парик: он — его ж; разве эту каемочку не подшивала Жюли?

Самозванец, сперев Домардэна, под носом того, кто таким точно  
способом спер документы «Друа-Домардэна» — прошел под портьеру.

Э, что документы: за деньги спирают и души!

## ЗА ДЕНЬГИ СПИРАЮТ И ДУШИ

— «А вы, господин фон-Мандро, потрудитесь ответить, зачем  
вам чердак поджигала Копыто?»

— «Я... не...»

— «А — я-с — знаю: понадобилось скрыть следы?.. Эту кни-  
жечку вот» — и очки протянули к Мандро записную, забытую там  
эту книжечку — «в ту незадачную ночь в бумагах профессора по-  
хоронили».

Закрыв свою папку, чиновник пошел от того, кто уже стал оно;  
и «оно» —

— с бычьим ревом — в переднюю, где мужики не пустили;  
«оно», телефонную трубку сорвав, попыталось пове-  
дать хоть барышне, телефонистке, его не могущей  
спасти, —

— что «оно» —

— в западне!

<sup>1</sup> Вот: я — вот!

Дескать, Бобчинский — есть: где-то в мире!  
Хрип трубки: —

— прр — тр! —

— Сумасшедшее под сумасшедшее ухо:  
с отчетливостью: —

— интендант Тинтен-  
дант!

В боковую дверь выскочил синий, худой, — «тот», который стоял  
в коридоре «Пелль-Мелля»; в его руке — лом; он бодается лбом;  
Домардэн — в коридор мимо пятен «боаового» цвета во что-то  
синявое, серое, тусклое; но, спотыкнувшись о ящик, — в него; две  
махалися пятки: над паклею: —

— уши заткнуть: будет больно!

Подхвачен железными, лапами; петлю на шее почувствовал; вырыв  
дыхания, воспламенение мозгов; и холстина, которая нос шекотала!

Напяливание мешка — длилось долго; мешали особенно пятки,  
которые били: в носы; но нащупав веревку сквозь ткани, — дотя-  
гивали: с пылким сапом, не зная, что из безвоздушного мира,  
когда недодох перешел все пределы, открылись восторги. «Ве-  
ли к недоступному счастью того, кто надежды не знал!» Сердце,  
сердце!.. —

— Кусочек базара: профессор по ящику хлопает:

— «Мы понесем!»

Вскрики мысли:

— «Какого я друга имею!»

И —

— ноль; —

— минус ноль!

Разрастанье, подобное, что ли, круженью с выпрыгиваньем (хло-  
роформ так же действует); и ощущение ударов двух пятк о пол:  
скоки — к новым возможностям!

## СКОКИ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

А де-Лебрейль и Мертетев стояли в передней, не глядя, сопя;  
пробежал Сослепецкий, дрожащий и синий, — мыть руки; Велес, не  
решавшийся вовсе пойти, — все же: был; и — вернулся:

— «Еще: п;сть додержается».

Языком подоткнув свою щеку, стоял, — пуча щечную шишку.  
Едва перебрасывались:

— «Пора, в ящик».  
— «Рогожу неси!»  
— «Гвозди».  
— «А — где игла?»  
Как? —

— Туп-туп —

— из дыры коридора на них: —

— о, о!

Перетарашенный (видно, ослабили ручные веревки) мешок, как громадная, желтая рожа, без глаз и без носа, без рук и без ног; видно: рвали, царапаясь, пальцы, за ткань ухватившиеся; и ходили от этого складки, слагая морщины, слагая поганно ослабленный рот: до ушей (без ушей); и он — дергался.

Немо хохочущий, желтый мешок мимо них совершенно сознательно дергал: в подъездную дверь, — ту, которую, — вот-таки казус, — в последний момент с перепугу не заперли, так что мешок, ее выдавив, дергал уже по площадке, как зрячий, имея намеренье скоком, ступенями, прямо в подъезд прочесать; из щеки холстяной появились пальцы — пять, — и за перила сквозь ткань ухватились; намеренье — явное: перечесав все ступени, чесать балаганною пляской в толпе: под аптекою!

Тут де-Лебрейль обнаружила мужество: точно циркистка, взвив в воздухе юбки, на плечи мешка, панталончиками бирюзовыми горло сжимая, руками вцепляясь в плечи, качаясь над темным прошелом перил: с риском пасть меж перилами в пропасть; мешок — ослабел, так что дикая башня, иль тело на теле, обрушилась: перед перилами!

Бросились: уволокли.

И — пора!

Иахим Терпеливиль, лицом, как Душуприй, и чех, как и он, — возвращался: под доску, под собственную: —

— «Иахим Терпели-

вил!»

Через полчаса де-Лебрейль, Тертый, оба — с дорожными сумками, с тем, кто был в шубе Друа-Домардэна, садились в машину; а два мужичка в ноги вдвинули ящик, зашитый в рогожу.

Они подъезжали к «Пелль-Меллю»; Лебрейль выходила в контору, чтоб дать заявление: спешной телефонограммой Друа-Домардэн вызван в Луцк; даже видели, как за стеклом, в шубу кутаясь, выпятив бороду и два очка, с нетерпением он ожидал секретаршу, которую выписали (а подстроили те, кому нужно).

В газетах прочли: «Луцк. Такого-то. Около Торчина пулей шальнойю убит публицист Домардэн». Но известие это прошло незамеченным.

## ДЖЕМАЛ-ОСНАКИ КОМАНДОВАЛ

Козиев ли?

Цепь солдат; штыки, накрест патронные ленты; походная кухня дымит: на дворе Неперепрева; выставлен через забор пулемет: на забор дома Тителевой, где из форточки красное дразнится зная; и весь Гартагалов оцеплен полицией; прямо в забор дома Тителевой, точно пробками щелкают городачи револьверами; руки дрожат; надзиратель квартальный, испуганный, серенький, рукой махнул: не козирует: будут казаки; Жебрий и Бриков кишат обывателями, проживающими в переулках соседних.

Стоит любопытное стадо; глазами расхлопалось: на Гартагалов, куда не пускают, где бой: с домом Тителевой; здесь Бегмотен, барон, с Проживулина, первого, здесь Ворпакчи, — озираючись. шопотом: Дашеву, Саше:

— «Терпенье народное — лопнуло!»

Здесь Ахшерованьев, Илкавина; здесь Питирим Вирничихин и Фрол Вивачихин, эс-эры, готовы прорвать цепь солдат, чтобы слиться с рабочими; здесь же Матрена Маврикиевна Мерзодерова, здесь Пфир-зихдворш, здесь Плюлюев, Легалиев, Ймех, Буктукин, Желдицкая, панна; француз, гувернер, Пьер Жавуль, объясняет Жержееву, Жор-жику:

— «Се сон лэ бóш!»<sup>1</sup>

И сочувствует им знаток крапленных карт, Прищенкиш; отстав- ной офицер, Перципович, — сочувствует.

Оля же Иколева с Колей Каклевым у Велекеклевой, Лени (в Клеоклева доме живет) собираются тоже пойти: интересное зре- лище; но Хиерейко им:

— «Знаете, — пули!»

Что произошло?

Бастовавшие, сломав заборы домов Фентефевых, Психопержи- кой, прогнав Фентефевых, Психопержику, Савву Совакина и Гнидоедова, хлынули через заборные стены под Тителев флигель.

«Это — «боши»; бошами французы называли немцев.

к которому было подъехали городовые с машинами; и баррикады устроили, мигом поленьями вход заложивши и встретивши залпом полицию; из ледника выволакивать стали какие-то ящики; и через сломы забора утаскивали: на завод.

Появились солдаты; и весь укрепленный район (дома Тителевой, Фентефеврева, Психопержицкой, с заводом) они обложили; всю ночь перестрелка была.

Поговаривали, что орудие выслано, чтобы... картечью тарахнуть; и Тителевский особняк разнести, коли сопротивление продолжится.

И за забором, в той части, которая в Козиев смотрит, десятка створная вооруженных рабочих и интеллигентов, дружинников, ночь просидела, чтоб коли понадобится —

— тарарахнуть: —

— Ликоленко,

Ланя Клобихова, Кай Колуквирций, Лювомник, Кактацкий, Достойнис, Маман, Малалайкен, Шевахом; —

— Устин Ушниканим:  
командовал!

Точно такая ж десятка сидела — перед Гартагаловым; здесь — Огурцыков, Бабарь, Осип Пестень, Корней Жутчучук, Уртукуер, Онисим Онисьев, Терентий Трещец, Галдаган Николай Куломайтос; —

— командовал: —

— Джемал-Оснаки!

А третья десятка, — для связи, — в которой пзробче народ, между флигелем и ледником; и она — про запас: —

— Крысов, Личкин, Лидилин, Орловиков, Сима Севчосенков, Лев Андалулин, Пусков, Ангелоков, Павлин Шлингешланге, Ефрем Пендерюлев.

Мардарий Муфлончик — над всеми начальник; Терентий же Тителев, как в воду канул.

Всю ночь выносили тюки, несли стражу, постреливали; распевали: «Вставай, подымайся», «Интернационал»; Шлингешланге шутливые песенки складывал:

Едет в стольной город Львов,  
Княжить — князь великий, Львов.  
С ним — Терещенко, кадет,  
Карапузик восьмь лет!

Утро: дым.

## РУКИ ВВЕРХ!

Баба Агния, брат Никанор, брат Илан, Владиславик, Лизаша — закупорились: пули свишут; и покает пробками: тут, тут, там, там, как отрезаны: выхода нет; на растоптанном снеге в окне перебер курток кожаных.

Пок, пок —

— тут, тут!

При Лизаше, которая бредит, дежурят по очереди: Никанор, Серафима; профессор же в ярком, как тропик, халате, как мумия, остолбенело сидит у окна, без очков, с утомленным, осунувшимся, дико недоуменным лицом; он кровавым изъятием глаза впяется в стекла; повязка лежит на коленях; шрам — синелил. в.

Как бурьянники, — космы.

Он слушает шопот — за дверью:

— «У вас деньги есть?»

— «Ни гроша, — эдак-так: а — у вас?»

— «Тоже нет».

— «Положение: нищие!»

— «Не до того!»

Озирается, как провинившийся пес, — на малютку, которая лишь заглянула; у ней на руках Владиславик; в глазах ее выпуклых — жалоба, даже укор:

— «А?»

На «а» — опускает свой глазик, не выдержав взгляда; и жалко, сутулится: разуверенье, упадок, бессонница: глазик, как точечка, — тикитак, тикитак, — мимо нее:

— «Ничего-с!»

— «Как-нибудь!»

И —

— «пок» —

— пукает: пулей

Вполне укоризненным морщем глядит Никанор после давшего; точно он говорит:

— «Где моя кочерга?»

Серафима из жалости лишь подавляет свое отвращение... К... щетке; когда за спиной его шепчутся (это — Лизаша, безденежье их, и дурацкое их положение), — кажется, что речь — о нем.

Он хотел призвать милость на голову павшего, чтоб, примирив отца с дочерью, всем доказать: состраданьем испепеляется злоба; а

что сделал? Друга сразил, отнимая открытие, даже — жену; дрался с братом; малютке нанес оскорбление: щеткой.

Из принципа, собственным опытом вызванного, поступил, этот выявив опыт:

— «Взять в корне!»

Его — осудили; он — путанник, добрые чувства которого вихри посеяли, — высочил — под балаганные бубны: со щеткой в руке.

Между миром и ним все — вторично обрушено: он — как в ядре, из которого выстрелили — в звезды звонкие.

Видно —

— баллистикой быстрых болидов измерял он социальные связи людей, сформулировав данными аритмологии их, чтобы косности бытов расплавить; но — температура его ужасает; диаметр ее — двести семьдесят три или нуль абсолютный, при минусе; и климат звезд, измеряемый тысячами градусов, — не Реомюр и не Цельсий, в которых живет, дело ясное, брат, Никанор; и не «сто», кипяток (им кипит Серафима)! Пэпэш, психиатр, — правей всех: — «Гулэ ву?»

— «Высоко залетели, профессор».

Пал глубоко полосатый паяц в балаганный свой люк!

Тут — ударили в бубны!

Нет, —

-- залп!

Но не видел, как бросилась кучка рабочих под сломы забора, ог-стреливаясь, как солдаты, горюховики, побежали за ними.

Туп-туп-туп — под окном; это — к ним; вот квартальный махается шашкою; вот Серафима бросается, чтоб защитит, на колени, хватаясь за полы халата; за ней Никанор перепуганный ту-ту-ту-ту!

И сейчас же за ним:

— «Руки вверх!»

В дверях — дуло; и — шашка.

И брат, иронически локти под боки, ладони подбрасывает, взде-рнув плечи — на брата, Ивана:

-- «Беліберда, брат!»

Серафима, простерши ладони свои, -- без иронии:

— «Я — принимаю».

Он, не поднимая руки, не повертывая головы к наведенному дулу, кровавым изъятьем смотрит в окошко, не слыша удара чудовищ-

ного, от которого — в дребезги стекла; он ими осыпан; он не ося-зает мороза из рамы пустой.

Он не видит —

— как крыша взлетает под небо, как дым выбухает, бросаясь с нею, как рушится ржаво рыжавый косяк, вместе с жо-лобом, с кремовобледным вензчком!

Так все, что любило, страдало и мыслило, что восемь месяцев автор словесным сплетеньем являл, вместе с автором, -- взорвано: дым в небесах!

Что осело, что — пырсню отвеялось? Кто — уцелел, кто — разорван?

Читатель, —

— пока: —

— продолжение следует.

*Кучино: 1 июня 30 г.*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Вместо предисловия</i> . . . . .	5
-------------------------------------	---

### *Глава первая. Брат Никанор*

Особняк, бывший Хаппих-Иппахена . . . . .	13
Тителев . . . . .	16
Коробкин . . . . .	18
Элеокорочка . . . . .	22
Точно рыдаая опрокинутый . . . . .	23
Ветер сглатывает оврагами . . . . .	26
Те же статуэтки . . . . .	29
У Зинки, уфимки . . . . .	31
Выход единственный . . . . .	33
Митенька . . . . .	35
Шамханье . . . . .	36
Перелёзенец наш . . . . .	38
Дом с резонансами . . . . .	40
Что они делали . . . . .	43
Переюры . . . . .	44
Безымень . . . . .	47
Судьба толстопятая . . . . .	49
Чорт влёт дерн . . . . .	50
Катастрофа . . . . .	52
И бзыком, и мышком . . . . .	51
Сестра . . . . .	58
Он губами писал, как губернии . . . . .	60
Сквозной свет . . . . .	62
Номер семь . . . . .	61

## Глава вторая. Публицист из Парижа

Телятина, Меддомедов, Серборезова . . . . .	67
Цулурухнул . . . . .	68
Лили Клакенкляпс . . . . .	71
На фронт: в горизонт . . . . .	72
В виду этих слухов . . . . .	75
Гузик, пан Яя . . . . .	77
Черный квадрат . . . . .	78
О, дон Мамаво . . . . .	80
Кока: корнет . . . . .	83
Молкнет все . . . . .	84
Рожа скорчена . . . . .	85
Протез было мало . . . . .	87
Но предатель в Москве . . . . .	88
Генерал Буддуков . . . . .	90
Елеонство . . . . .	92
Тигроватко . . . . .	94
Гранаты, пестрые мушками . . . . .	96
Бородою просунулся в двери . . . . .	97
В золоте стен Домардэн . . . . .	99
Севрский фарфор леопардовых колеров . . . . .	101
Черная ручка с кровавым цветком . . . . .	103
Мадам Тителева . . . . .	104
Как прыжком леопардовым — в дверь . . . . .	105
Правосудие — горло орудия . . . . .	107
Оранжеутангом отплясывал танго . . . . .	109

## Глава третья. «Король лир»

Брат, Иван . . . . .	113
И били: по телу . . . . .	114
Серафима: сестра . . . . .	116
Корделия с Лиром . . . . .	118
Вырезаясь из неба, под звездами . . . . .	119
Дело ясное . . . . .	121
Коробки ломались . . . . .	123
Карета, квадрат . . . . .	125
Поступь поступочная . . . . .	127
Пришел таракан . . . . .	129
Как Микель-Анджело . . . . .	132
Глазом, открытою раною, видел он . . . . .	134
Томочка-псик . . . . .	135
У Девкина девка . . . . .	139
Владиславнышка . . . . .	141
Урчи . . . . .	144
Шнша заголил над суденышком . . . . .	146
Кукиш, брат! . . . . .	148
Москва — серопелого цвета . . . . .	149
В расшарап . . . . .	151

## Глава четвертая. Испытующие

Безлобо, безглазо . . . . .	154
Тилбулга, Тотилтос . . . . .	157
Золобо! . . . . .	159
С лордом Моббзом он . . . . .	161
Эгот — не тот . . . . .	163
Я стражду, я жажду . . . . .	164
Рот был заклепанный . . . . .	167
Есть расклепанный рот . . . . .	168
И видети . . . . .	170
Желтый дом . . . . .	171
Перед Синепапичем . . . . .	172
Вечность — младенец играющий . . . . .	174
Теория чисел . . . . .	177
Нильс Абель . . . . .	178
Клейя . . . . .	181
Микель-Анджело . . . . .	183
Да, Леча ж Леоццев . . . . .	185
Трюх-Брюх . . . . .	186
Наденька Киерко, Томочка! . . . . .	188
Мадам Кубой . . . . .	190
В блеске звезд . . . . .	191

## Глава пятая. Тителев

Бородою тряс-т, как апостол . . . . .	193
На кровях, на костях . . . . .	195
Тертий, Тетерев . . . . .	198
Свиристенье выюров . . . . .	202
Белая ведьмочка . . . . .	203
Быстрые смыслы мигнули пространствами . . . . .	204
Суп с салыцем . . . . .	208
Как шутовка юродствует . . . . .	210
Вот-вот . . . . .	213
Под черным мотором . . . . .	215
И отварганивал он . . . . .	216
Конка горбатая . . . . .	218
Гигантша . . . . .	222
А все — Ливанора Леоновна . . . . .	223
Мардарий Муфлончик под пол провалился . . . . .	224
Пролетел в коридор . . . . .	227
С собой справился он . . . . .	229
Бежком побежала . . . . .	232
Серебряная Домна Львовна . . . . .	231
Саламандровый барс . . . . .	236
Как морда разбитого сфинкса . . . . .	239

## Глава шестая. «Пирень»

Цитаты . . . . .	243
В Пензе-то . . . . .	245
Хичияклич . . . . .	247

И Леонючка . . . . .	249
Негритянские полчища . . . . .	250
Братец, сын? . . . . .	252
Растаптываю жизнь . . . . .	253
И вьются, и вьются . . . . .	255
Точно из пара молочного . . . . .	257
Серебря вьюнки . . . . .	258
И трупы повывезли . . . . .	260
Миллионы . . . . .	263
«Кхх — пф — пф!» . . . . .	264
Роланд перед мавром . . . . .	266
Ящик, веревку, мешок и клещи . . . . .	267
Кикимора . . . . .	269
Велес-Непещевич ведет их . . . . .	270
Скаждал . . . . .	272
Григорий Распутин . . . . .	274
Под Пырсяню . . . . .	276

#### Глава седьмая. Сердца волнуют

Снег, как цвет миндалей . . . . .	279
Показал ей на сон бирюзовый . . . . .	281
Тер-Препованц . . . . .	284
Синина . . . . .	285
Как топазовый глаз . . . . .	286
Точно вор . . . . .	288
И гогого! . . . . .	289
«Ба, кого вижу я!» . . . . .	291
Примази цивилизации . . . . .	292
Подал знак . . . . .	295
Взвезавши фалдой сюртук . . . . .	297
Кто-то сидел наверху . . . . .	300
Вадирались усами профессор Иван . . . . .	302
Сошел в пыль . . . . .	305
И глаза отвела, чтоб не видеть . . . . .	307
В чем же истина-то? . . . . .	308
Вогнутые бесконечности . . . . .	310
Уписывал маниую кашу . . . . .	312
Сгоголовое чудовище Эл . . . . .	314
Спички-то . . . . .	315
Все к лучшему . . . . .	317
Гераклит . . . . .	320
Круто ломается ось . . . . .	321

#### Глава восьмая. Переход

Ожерелье из яхонтов . . . . .	323
Цеперко . . . . .	326
Точно фонарики . . . . .	329
Дон Педро . . . . .	331

А энтропия? . . . . .	332
Обов-Рагах рывал . . . . .	334
Ум, что жутище, силеночка, что комаренок . . . . .	336
У Николай Ильича Стороженко . . . . .	339
Он утащил «Прозерпину» . . . . .	341
Профессор Корофкин уселся орлом . . . . .	344
Лицо доня Педро . . . . .	345
Бой осы с пауком . . . . .	349
Синяя птица . . . . .	350
Рок: порог . . . . .	352
Разговором подергались . . . . .	354
Плоскогрудая девочка с кинксовом . . . . .	357
И мир, как разбойник . . . . .	359
Крылышки бабочки . . . . .	361
Глупая рыба — вседневная . . . . .	364

#### Глава девятая. Строк печальных не снимаю

На них растет шерсть . . . . .	368
Чтобы шелкали . . . . .	370
Смердит тело это . . . . .	371
В коричневом американском орехе . . . . .	373
С Наполеоном . . . . .	374
Они же не кинулись . . . . .	375
Как писсары блистательны . . . . .	376
Убит публицист Домардан . . . . .	378
Ждали случая стибрить . . . . .	379
Верчи железные . . . . .	381
Кляксыны или кровавый канкан . . . . .	384
Интендант Тинтенант . . . . .	385
Лизаша, Лизаша . . . . .	386
С огромной, как хобот рукою . . . . .	387
В корне взять . . . . .	389
Профессор . . . . .	391
Шебуршанье старух . . . . .	392
А потолки подскочили на метр . . . . .	393
И сигала сигара коричневая . . . . .	395
Английский агент Кокозкоя . . . . .	396
Танцмейстер на плахе . . . . .	397
Усом трясет и кусает . . . . .	398
Куда вы зовете? . . . . .	399
И, пристукнувши ботником, сквозь потолок . . . . .	400
Я улетаю, мой купидончики . . . . .	402
Бурдуруков тащил сквозь флякон Циклокон . . . . .	404

#### Глава десятая. В разрыв

Макар гнал теляка . . . . .	406
Из золотого стекла . . . . .	407
Мадам Тигроватко поставила ящик . . . . .	409



Тогда Никонор увидал . . . . .	410
«Оставил бы нас, Никанорushка!» . . . . .	411
Уволокла: паука . . . . .	413
Напакостивши . . . . .	414
«Я снова с тобою, мой, друг!» . . . . .	415
«Соломон» с куском сала . . . . .	416
Нежное . . . . .	418
Офицерик . . . . .	419
Укокошит его . . . . .	420
И Пабло Популорум . . . . .	422
Бой братьев . . . . .	423
Как тыква, пропучен . . . . .	424
Проволокли . . . . .	426
Гривалился сквозь землю . . . . .	427
Тойфель. Картойфель . . . . .	429
Иоахим Терпеливиль . . . . .	430
Фараон, Рамзес,— под колпаком! . . . . .	432
Друа! . . . . .	433
За деньги спирают и души . . . . .	434
Скоки к новым возм. жностям . . . . .	435
Джемал-Оснэки командовал . . . . .	437
Руки вверх! . . . . .	439

[illegible]

UNIVERSITY  
OF OTAGO  
LIBRARY

Bugaev, Boris N.

UNIVERSITY OF OTAGO LIBRARY



3 0020 09921639 4